

Дон Генин

Становление

Филадельфия - 1994

**Книгу можно заказать
по адресу :
2101 Winchester Ave. #C-11,
Philadelphia, PA 19115**

**Дон Генин
СТАНОВЛЕНИЕ**

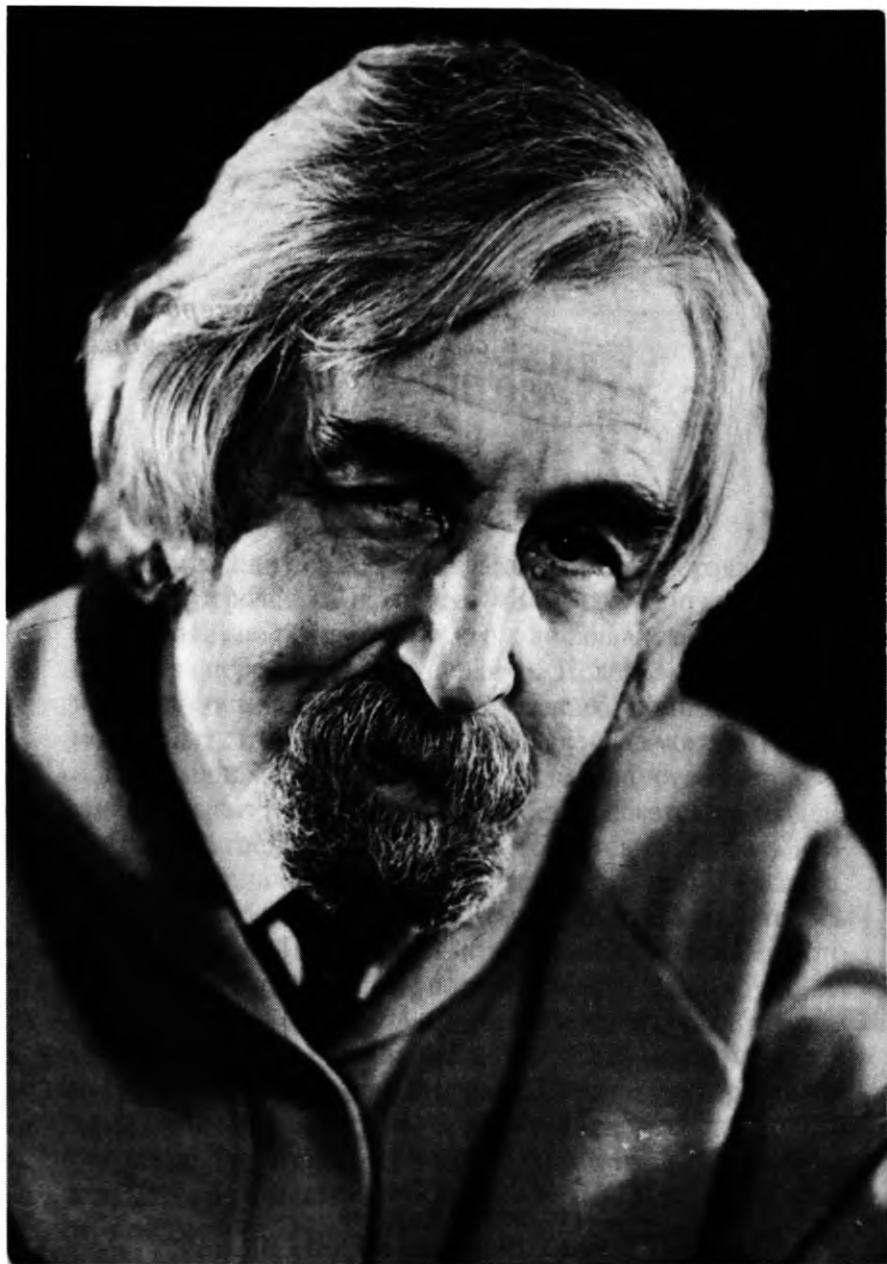
**Don Genin
RIPENING**

**Copyright © 1994 by Don Genin
*All rights reserved***

**Редактор Раиса Ступникер
Edited by: Raissa Stupniker**

Library of Congress Catalog Card No. 94 - 69401

**Издательство „Побережье“
Published by: The Coast**



ДОН ИЛЬИЧ ГОПИН

*Дорогим детям, дочери Анне
и сыну Илье, и внукам моим
посвящаю.*

Автор благодарит дорогих друзей,
Светлану и Юрия Шевченко и Елену Щинову,
за неоценимую помощь в подготовке издания, помощь,
без которой эти записки не увидели бы света.

ОТ АВТОРА

В этой книге я хочу рассказать о далеких годах моего детства, отрочества и юности. Замысел книги возник у меня давно, но осуществить его я не решался. Я и сейчас берусь за перо с нелегким сердцем. Нелегким потому, что не могу освободиться от неотвязного сомнения: кому может быть интересна моя жизнь, жизнь самого что ни на есть обыкновенного человека. Чем она отличается от жизней тысяч таких же, как я, „простых советских“ людей. Совсем другое дело, когда о себе берется рассказать кто-нибудь из великих. Вот сделали же это Толстой, Аксаков, Горький, и книгами их зачитывались. Всем хотелось узнать, каким был их путь к величию. Да и не просто узнать, а, быть может, позаимствовать что-нибудь из поучительного опыта. А я? Чему могу научить я?

И все же я решил рискнуть. Есть один момент в моем замысле, который может быть и интересен, и даже полезен читателю. Ибо книга эта не только описание, не только хроника одной жизни. Она имеет четкую направленность и ясную цель. Моя книга есть и с с л е д о в а н и е. Исследование явления беспрецедентного, непостижимого и трагического. Я имею в виду происхождение особой человеческой породы, метко прозванной г о м о с о в е т и к у с. Именно эта порода составляла большинство населения Великой

Страны Советов.

Грустно признаться, но я принадлежал к этому большинству. Не менее грустно признаться и в том, что настало время, когда я отрекся от идей, в которые раньше искренне верил, которыми жил, и с болью осознал: большая и лучшая часть моей жизни прожита скверно, прожита так, что вспоминать о прошлом „мучительно стыдно“. Стыдно и страшно задавать себе все тот же вопрос: как могло это быть? Почему стал я слепым и глухим, перестал видеть очевидное, слышать голос разума, голос совести, утратил мужество? И разве я один? Что или кто повинен в этом? Я не уверен, что моя книга даст прямой ответ на все эти вопросы. Но я надеюсь, что она поможет понять, почему „красный“ от самой колыбели, в духе марксизма-ленинизма возвращенный человек, честно пройдя путь советского гражданина, напрочь отринул все и всяческие „измы“. И не просто отринул, а проникся к ним лютой, физиологической ненавистью.

Мой рассказ-исследование и об этом. Очень хочется верить: не один я пришел к этой ненависти и боли, а значит, все пережитое мною так или иначе пережито многими. Очень и очень многими. Для них я и пишу. Для этих многих.

Книга моя содержит несколько глав, соответствующих периодам жизни, хронологии событий. Но по сути она разделена всего лишь на две части. Первую, посвященную обычному пути советского человека, становлению „гомо советикус“, и вторую, где описаны события, приведшие к прозрению и переоценке всех ценностей. Предлагаемое читателю издание является первой из названных частей. По причинам техническим вторая часть будет опубликована позднее. Надеюсь – скоро. Дал бы только Бог здоровья автору и всем тем, кто содействует ему в нелегком труде.

ГЛАВА 1. РАННЕЕ ДЕТСТВО

Жизнеописание великого своего бытия Лев Николаевич начинает с младенческих дней. Можно лишь поражаться его сверхъестественной памяти и непостижимому мастерству. Такое, конечно же, дано не всем. Что касается моего мастерства, то даже упоминать о нем совестно. Да и память моя не идет в сравнение с той, коей был наделен классик. Я помню себя лишь с трех-четырёхлетнего возраста, что может быть четко определено и даже вполне точно датировано. Время для такой безупречной расстановки дат было на редкость удобным. Не только годы, но и месяцы надёжно запечатлены на страницах истории. Белые, красные, деникинцы, немцы, петлюровцы, поляки. . . За всем этим – дни, месяцы, зимы, весны. Вихрем несутся годы: восемнадцатый, девятнадцатый, двадцатый. . . Я уже мыслю. Пребываю в невиданной, небывалой чехарде беспримерных событий. Мощный резец, бьющий по камню истории, не минует и меня.

Я ухитрился обрести твердые убеждения без отрыва от фаянсового горшочка, которым, правда, пользовался уже без посторонней помощи. Должен заметить, что мой горшечный период несколько затянулся по чисто техническим, точнее, сантехническим причинам.

Однажды я встретил заметку в журнале о том, что какой-то ученый выяснил следующее: большая часть

интересных мыслей приходит к человеку во время пребывания в туалете. Именно здесь было сделано немало крупных открытий. Я целиком присоединяюсь к мнению ученого. Во всяком случае, время, проведенное мною в этом помещении, я отнюдь не считаю потерянным. Даже совсем напротив.

Удобно устроившись, оставив позади неприятный момент соприкосновения с холодным фаянсовым телом, я предавался двум занятиям: размышлению и пению. Не одновременно, конечно. Немного размышлений, короткая пауза, затем пение. Периоды раздумий были короткими. Пел я долго. Что пел, об этом речь впереди. И почему пел – тоже потом. Но вернусь к моим убеждениям.

Как известно, все имеет начало, некую исходную, до которой еще не было ничего. Вакуум. Как в мире до наступления исторических шести дней. Такой же свободной, раскрытой для всего, была та часть моего существа, которой предстояло обзавестись убеждениями. Они не существовали еще даже в зародышевой форме.

Родители мои в то время снимали квартиру в самом бойком месте киевского Подола, на углу Межигорской улицы и Верхнего Вала. К счастью, в те далекие времена достижения гигиенической науки популяризовались слабо. Даже самые уважаемые жители Подола и его окрестностей не имели понятия о губительном действии шума на организм. Грохот, который сотрясал атмосферу с раннего утра до наступления темноты, теперь, при одном лишь воспоминании, вызывает у меня чувство ужаса.

Окна нашего дома находились прямо против железных рядов знаменитого Житнего рынка. С восходом солнца, словно вырвавшись из заточения, сюда устремлялись со звучным чмоканьем и залихватскими возгласами городские ломовики. Они ловко разворачивались у ларей, и „гремел бой“. На площадки навалом грузились ведра, лопаты, ящики с гвоздями, цепи, рессоры и прочий столь же звонкий товар. Вскоре отбившие подводы сменялись груженными. Теперь шла уже выгрузка. Шла так же успешно, судя по производимому дьявольскому

грохоту. Окованные железом ободья высекали из мостовой искры, цокали подковы неистово ржавших битюгов, зычно переругивались все участники нескончаемого процесса. Процесс был воистину „тяжело-звонким“, и сотрясалось все: дома, мостовые и, казалось, весь мир. У нашего угла, к тому же, разворачивался трамвай, пробивая себе путь отчаянным трезвоном. Никому тогда не приходило в голову, что этот кошмар может быть измерен и выражен в децибелах. Но мы с братом Вовкой считали, что нам досталось лучшее место на планете. Место в самой гуще жизни, в гуще общества, где густо шли дела, где клокотал бурный поток человеческой энергии в вечной погоне за прибылью и счастьем.

Не думаю, что было все это по душе моим родителям. Я же жил в столь беспокойном мире вполне счастливо, ни на что не ропща, и был решительно всем доволен. Он был прекрасен, этот звонкий, грохочущий мир. Здесь начиналось формирование моей личности.

Первым испытанием общественного сознания, так сказать пробным камнем, стали для меня контакты с солдатом, навещавшим нашу прислугу Лушу. Поразительная вещь человеческая память. Прошло уже семьдесят с лишком лет, но будь это возможно, предстань передо мной наша Луша, я узнал бы ее немедленно и без колебаний. Все принадлежности ее одежды: цветастый платок, рыжая, потертая на локтях и груди кофта, длинная бордовая юбка и стянутые шнурками высокие ботинки – я могу без труда воскресить в своей памяти. Помню я и солдата, который приходил к Луше регулярно по воскресеньям. О цели его визитов, конечно, я не имел ни малейшего понятия и, надо полагать, изрядно нарушал его планы. Я был убежден, что приходит он, в первую очередь, ко мне и что общение со мной доставляет ему огромное удовольствие. И он действительно своим поведением поддерживал мое невинное заблуждение, был со мной неизменно дружелюбен и мил. Его выдержке и самообладанию можно было позавидовать.

Приходя, по уже сложившемуся порядку, он извлекал из кармана ставший традиционным презент: несколько

жестяных, трехцветных солдатских кокард. Я собрал их изрядное количество, и они еще долго валялись в моем столе уже в те годы, когда я стал понимать, что кокарды белогвардейские, а солдат – деникинец.

Приветливый, улыбчивый, с мягкими, как у мадагаскарского лемура, движениями, он неизменно радостно приветствовал меня. Я взбирался к нему на колено и лихо скакал, теребя его колючие усы. Луша сидела рядом с умильной улыбкой, как сидит кошка, наблюдающая игру котят. И ему и ей, видимо, льстила такая интимная дружба с „барчуком“. Так солдат называл меня, обращаясь только на „вы“, что в ту пору меня еще не смущало.

Внешний мир пока никак не был мною дифференцирован. Ни по цвету, ни по содержанию. Ни красных, ни белых. Ничем не нарушенное равенство и всеобщее братство. Я допускал лишь одно единственное разделение: есть люди хорошие и плохие. Хорошие – это все, кого я знал. Плохих я представлял себе только понаслышке и по сказкам, которые мне читала мать.

Мое классовое сознание еще молчало.

НЕМЦЫ

Привирать не буду. Немцев я не помню. Деникинцев помню, а немцев – нет. Так будет честно. Маниловка есть, а Заманиловки никакой нет.

Правда, как-то желая развлечь и удивить общество, я похвастал, что пришлось мне с ними познакомиться, с немцами. Кончилось дело конфузом. Был я разоблачен и жестоко осмеян.

Рассказ же мой абсолютно достоверен. Я слышал его, и не один раз, от отца. Рассказ был об обыске, который однажды произвели у нас немцы.

Отец описывал это так. Глубокой ночью внезапно раздался негромкий звонок. Ночные звонки в доме врача были в то время делом обычным. Отец отпер дверь. В дом вошел немецкий офицер, за ним двое солдат.

– Прошу прощения, герр доктор, обыск, – сказал офицер по-немецки, а затем добавил по-русски: – я делаю один обыск!

– Говорите по-немецки, – сказал отец, пропуская офицера вперед. Немец расплылся в улыбке. Он стал извиняться, жалуясь на тяжелые времена и свою ужасную службу. Затем, в сопровождении солдат, он стал обходить комнаты. Зашел в кухню, заглянул в ванную и туалет. Наконец наткнулся на дверь в нашу детскую.

– Was ist hier?*) – ткнул он пальцем в дверь. – Kinderzimmer,**) – ответил отец. Офицер вытянулся и весь напрягся. Резким движением он обернулся к солдатам и замахал руками, словно подавал сигнал бедствия.

– Still, still. Kinder schlafen!***)

Солдаты, как по команде, встали на цыпочки. Офицер велел им не двигаться, и они застыли, стоя на носках. Офицер осторожно приоткрыл дверь. Из детской донеслось дружное сопение двух носов. Он долго прислушивался, затем удовлетворенно кивнул и бесшумно прикрыл дверь.

– Какова цель обыска? – спросил отец.

Офицер приложил палец к губам и указал на дверь детской: – Наркотики. Мы ищем у врачей наркотики, – прошептал он и двинулся к выходу.

Это была явная чушь. Он не взял в руки ни одного предмета, за исключением стула, стоявшего у него на пути. Чему были мы обязаны этим визитом, осталось неясным по сей день. Уходили немцы на цыпочках. Все трое. И офицер, и его солдаты. Я потом не раз слышал в семье эту историю. Твердо помню, что в ней неизменно фигурировало обращение офицера к отцу „герр доктор“. Всегда также упоминался вопрос о причинах обыска и ответ: поиск наркотиков у врачей. Но я никак не мог понять, как они, немцы, нашли нас. Отец и мать действительно были врачами, имели частную практику, и у дверей нашего подъезда висели соответствующие

*) – Что здесь? (нем.)

**) – Детская (нем.)

***) – Тихо, тихо, дети спят! (нем.)

таблички. Но не могли же немцы просто шататься по улицам и выискивать такие таблички. Они даже и прочесть бы их не сумели на нашем языке! Но факт. Пришли к герру доктору и ушли, никому никакой обиды не причинив.

Вот такие были немцы тогда, в восемнадцатом. Непостижимо! Немцы!

Ах, забыл о моем конфузе! Ну, да это ясно. Ведь рассказ я вел от первого лица, вроде сам все видел и слышал. Даже немца описал с его усами и каской. Не догадался я только опустить в своем рассказе разоблачительное "Kinder schlafen".

Многokrатно прослушав эту историю, я воспринимал ее уже как видимую, осязаемую реальность. Казалось, встретить я того офицера, узнал бы в нем ночного гостя. И атмосфера ночной истории ощущалась мною как пережитая. Но она ничего не изменила в моем сознании. Ничего угрожающего, оскорбительного я в происшедшем не усматривал. Немцы как немцы, люди как люди. Вежливые, доброжелательные, как и наш деникинец Степан. Никаких недобрых чувств они во мне не будили.

Почему здесь немцы, зачем они пришли и распоряжаются в нашем городе, как у себя дома, плохо это или хорошо? Ни один из этих вопросов меня еще не волновал.

КРАСНЫЕ

С немцами было кончено. В город вошли красные. Знаю твердо, что об этом событии при мне никто и ничего не рассказывал. Все, что я запомнил и помню до сих пор, я видел сам. Собственными глазами.

Помню, как стояли мы у окна, прикрытом от пуль прислоненным к нему полосатым матрасом. По обе его стороны оставались изрядные щели, и мы вели через них наблюдение за внешним, до умопомрачения увлекательным миром.

День был мрачным, небо насупленным и неприветливо холодным. Моросил дождь. Блестели булыжники

мостовой. Улица была непривычно пустынна и просматривалась насквозь. Эту особую пустоту нашей улицы я видел потом не раз. Пустоту съжившегося в тревоге города, пустоту ожидания, рождавшую одновременно страх и необоримое любопытство. Стояла неподвижная тишина. Звуки исчезли. Все, кроме воробьиного щебета.

Мы с Вовкой пристроились по одну сторону матраса, отец с матерью по другую. Вокруг люстры и по углам привычно кружились и жужжали мухи. Стояли мы долго и без толку. Зуд нетерпения скользил по моим ногам, поднимаясь по спине.

И вдруг там за окном все пришло в движение. Тротуары с непостижимой быстротой стали заполняться людьми. Они выскакивали из подъездов и подворотень, как куклы из-за ширмы в ярмарочном балагане. Невесть откуда взявшиеся мальчишки густо облепляли фонари. Люди выстраивались у самой бровки, молча всматриваясь во что-то, чего видеть я не мог. Но вот увидел, наконец, и я.

По Нижнему Валу, сворачивая на нашу Межигорскую, цокая копытами, петоропливой рысью двигалась темная масса всадников. Я не говорю „войско“. Именно масса. И только. Все было так не похоже на то, что мне виделось за этим грозным, мужественно гордым словом.

Маленькие, темные лошадки, с заляпанными грязью ногами и боками. Невзрачные темные всадники в одежде разных цветов и покроев. И головы у них были темные, взмокшие от дождя, покрытые то фуражкой, то ушанкой или бараньей папай, а то и вовсе повязанные шарфом или платком. Были головы, обмотанные грязными, окровавленными бинтами, на которые я не мог смотреть без содрогания. На голове одного из бойцов красовалась дамская скунсовая муфта, совершенно такая же, какую носила моя мать. Муфта была непомерно широка и держалась лишь благодаря ушам, торчавшим в стороны, как ручки глиняного кувшина.

Да, вид у этого войска был неважнецкий. Но это все же было войско. Впереди, как полагается, ехал командир

в кожанке, перетянутой ремнями во всех, казалось, возможных направлениях. У его бедра мотался одетый в дерево маузер, а на груди в такт движению раскачивался бинокль. За ним скакал совсем еще юный паренек, из последних сил удерживавший рвавшееся из рук взмокшее знамя. За спинами бойцов мерно подпрыгивали винтовки. Были бойцы, по всем признакам, истощены до крайности. Ехали молча, поглядывая исподлобья на толпы народа и закуполенные зрителями окна.

– Вот они какие, эти красные! Скучные и грязные, – думал я, неотрывно следя за движением колонны.

– Ну-с, господин Генин, что вы скажете на этих вояк? Голодранцы! Одно слово – голодранцы! – услышал я за спиной неожиданно раздавшийся, но хорошо мне знакомый хриплый голос нашего соседа Могилянського. Он был частым гостем у нас, этот тучный, багроволицый, пучеглазый человек. Времени у него было в избытке. Его магазин готового платья на Константиновской улице был закрыт, а на свою мельницу где-то под Киевом он наведываться боялся в столь неустойчивые времена. Целый день он бродил по дому, изводил нравоучениями близких и, разругавшись со всеми, отправлялся к соседям успокаивать расхолодившиеся нервы.

– Так что вы скажете, Илья Борисович, на нашу гвардию? – продолжал он провоцировать отца.

– Я вам, господин Могилянский, хочу напомнить, что эта гвардия, как вы ее назвали, разбила и деникинцев, и немцев. Разгромила и выгнала: вот вам и голодранцы. Отец произнес все это очень спокойным, тихим голосом. Он вообще был человеком тихим и застенчивым.

– Это еще большой вопрос, кто кого выгонит, – рычал, не сдаваясь, Могилянский, – рано считаете цыплят, еще и просчитаетесь!

– Какой же тут вопрос? Выгнали, и спорить не о чем, – так же тихо возразил отец. – А на гвардию они действительно не похожи, если судить по одежке.

Ни отец, ни тем более мать с нами, детьми, не обсуждали проблем политических. Мы были дети, только лишь дети. „Ваше дело – играть, – говорила мать, видя,

как внимательно мы прислушиваемся к разговору взрослых, – занимайтесь своими игрушками!” И мы занимались. Рассматривали картинки в энциклопедии Брокгауза, тома Лермонтова и Пушкина в издании Павленкова, играли в „магазин“ и лото, носились по комнатам и коридорам на трехколесном велосипеде, а по вечерам развлекались у коптилки, сжигая в ее жалком пламени все, что попадало под руку.

До описанной перепалки с соседом я не помню ни одного отцовского слова ни о белых, ни о красных. Не было речи ни о войне, ни о чем-либо имевшем к ней отношение. Обсуждались только дела домашние. Надо полагать, отец считал нас еще не созревшими для серьезного разговора, а вести его на „детском“ уровне не умел. Но какие-то слова, какие-то взрослые разговоры, очевидно, западали в память, и в вопросе о „голодранцах“ для меня не было никакой альтернативы. Они были свои, наши, эти голодранцы. Я был с ними всей душой. Их приход наполнял мое существо волнующей радостью.

Почему? Откуда пришло это чувство? Не ведаю. Не могу ни понять, ни, тем более, объяснить. Остается лишь одно: я родился „красным“. Этот цвет был моим, свойственным моей природе, моему складу. Это мой врожденный цвет.

Последние строки были написаны много лет тому назад, когда слова „красный“ и „белый“ имели совсем иной смысл. Все „красное“ было тогда для меня олицетворением доброты и справедливости. Все „белое“ – символом скверны рухнувшего старого мира. Я долго считал, что „краснота“ и демократичность приходят не путем воспитания. Это черты характера, характера, который воспринимает людей равными, которому чужда любая форма деспотизма. С таким характером можно было быть только „красным“, и мой отец был им, и я тоже.

Но все это в прошлом. Далеком и светлом для меня прошлом. Теперь быть „красным“ я уже не хочу. Этому цвету для меня пришел на смену бурый и даже попросту коричневый. Теперь красный цвет уже не знаменует ни добро, ни справедливость, а только жестокость и

человеконенавистничество. Но повторяю: это теперь, не тогда, в годы моей юности.

Между тем, отряд нескончаемым потоком заполнил улицу. И вдруг бойцы запели. Это было так неожиданно и странно. Как могли еще петь эти столь изнуренные, обессиленные люди! Но они пели. Сначала нестройно, неслаженно, так, что голос запевалы звучал одиноко и нетвердо. Но уже вскоре голоса окрепли, налились силой, образовав один мощный поток. Они пели „Интернационал“, и по сей день этот величественный гимн слышится мне порой в том неповторимом звучании.

Я, конечно, понимаю, что мой восторг не был обусловлен искусством исполнителей. Но что от этого меняется. Ничего, ровным счетом. Лишнее свидетельство того, сколь субъективны наши оценки, когда речь идет об искусстве. Я только помню, что задышался от восторга, сердце мое трепетало у самого горла, на глазах выступили слезы. Я убежден, что если человек в таком состоянии не ищет другого человека, чтобы и его приобщить к этому чувству, то это несчастный и даже плохой человек. По всей видимости, я таковым не был и, вырвав голову из щели, я бросился к отцу.

– Папочка, папочка, – кричал я, пытаюсь оторвать его от окна, – папочка, как они поют! Ты слышишь? – Отец повернул ко мне свое лицо, и я заглянул в его глаза. Ни теперь, когда я вспоминаю этот день, ни тем более тогда, я не смог бы выразить словами то, что увидел в них. Я только прижался к его руке, и так мы простояли несколько памятных для меня мгновений. Простояли молча.

За окном уже не пели. Загрохотали по мостовой тачанки, пушки, затарахтели обозные повозки, на которых, перебросив за борт ноги, сидели раненые. Наконец, показались походные кухни. Народ стал расходиться, толпа быстро редела.

– Ну-ка, воробышки, давайте-ка на помощь, – весело воскликнул отец, стаскивая с окна матрас. – Надеюсь, больше нам это уже не понадобится! Комната мгновенно заполнилась тусклым, сероватым светом.

– Дай Бог! – с сомнением отозвалась мать. – Ты всегда

у меня был оптимистом.

– Вовсе не всегда, Любочка, – с оттенком обиды возразил отец, – когда пришли немцы, я ничего подобного не говорил.

Матрасы были уложены на кровати, застелены, и комнаты приобрели непривычно нарядный вид.

А вскоре у двери раздался резкий звонок. „Кто бы это,“ – недоуменно процедила мать. Мы все бросились в переднюю. Отец широко распахнул дверь, словно предчувствовал, что понадобится вся ее пропускная мощь. В прихожую вошло сразу несколько человек с винтовками на плечах и в знакомой уже нам „голодранской“ одежде.

– Мы к вам, граждане, в гости, – обратился к нам невысокий, широкоплечий человек, накрест перетянутый пулеметными лентами. Винтовку он держал в руке и теперь приставил ее к ноге. – Приютите наших ребят, обогрейте. Если есть чем покормить, будем благодарны. Он улыбнулся широко, но настороженно.

Я видел, как растерянно стояла перед ним мать, зябко подтягивая к шее платок. Ее растерянность была мне понятна. Время было голодное, да и комнат, уютно обставленных дорогой мебелью и всякой фарфоро-бронзовой утварью, было жаль. Кто их знает, как себя поведут эти бесшабашные парни. Уж напачкают и накурят безусловно. Мать молчала, раздумывала, и молчание становилось все более тягостным. Человек с пулеметными лентами перестал улыбаться. Лицо его замкнулось и, казалось, похудело.

И вдруг раздался голос Луши. Она вышла из кухни и стояла в дверном проеме, сложив на груди голые до локтей руки.

– Заходите, солдатики, заходите! Сколько же вас будет всего-то?

На лице гостя снова появилась улыбка.

– Всего-то, красавица, будет дюжина. Так-то. Только мы, кралечка, не солдатики, а красные воины. Ты уж не серчай, голубушка, но кончились солдатики. Были, да все вышли. Красные мы. Так-то.

– Пусть так-то будет по-твоему, красный вояка, – не

растерялась Луша. Чувство юмора было ей не чуждо. – Веди своих красных дружков. Заходите, заходите, хлопцы!

Все стало на свои места.

– Прошу, товарищи, милости просим, – подал, наконец, голос отец. А ты, хозяйка, распорядись, – обратился он к матери.

– Да, да! – еще не освободившись от тревожных мыслей, встрепенулась мать. – Раздевайтесь, вот вешалка. Раздевайтесь и проходите в комнату.

– Винтовочки – в уголок, у нас они ни к чему, – включилась Луша. – Безопасно потому что. Так-то, – добавила она, обнажая в улыбке ослепительно белый ряд зубов.

– Ну и заеда! – рассмеялся боец с пулеметными лентами. – Попадется тебе муженек, вроде меня, наплачешься! Так-то. – Невольно закончив этим неотвязным словечком свою реплику, он закрыл рот торопливым движением руки и звучно расхохотался.

Теперь в прихожую вошли и те, что толпились на площадке. Они смущенно топтались у вешалки, косились на трюмо. Приблизиться к нему вплотную не решались. Никто не отваживался переступить и порог столовой.

– Входите, входите, пожалуйста, – наконец осмелев, радостно приглашал я бойцов. – У нас хорошо и очень тепло. Луша печку березовыми дровами натопила, чтобы не было сырости. Настоящими березовыми!

Несколько рук ласково коснулось моей головы, и я замер от внезапно нахлынувшего теплого чувства. Они были близки мне, эти совсем чужие, но вдруг ставшие своими люди.

Наконец, все вошли в комнату и расселись вокруг предельно раздвинутого обеденного стола. Стояла неловкая тишина. Бойцы перешептывались. Говорить громко стеснялись. Перемигиваясь, они восхищенно таращили глаза на незнакомые им предметы обстановки. Особое внимание привлекала наша лампа, состоявшая из бронзовой девицы, на одежду которой было потрачено минимальное количество ткани, и огромного зеленого абажура. Разглядывали с неменьшим увлечением и нашу печь, выложенную зеркально-белым кафелем и украшен-

ную амурчиками, прилепившимися ко всем выступам, могущим удержать их пухленькие тела.

А на кухне шла лихорадочная работа. Чугуны пыхтели, как паровозы, стучали ножи, часто меняя тембр неустойчивого голоса, пел самовар. А я мучительно думал о том, что сейчас моим новым друзьям, конечно же, подадут ненавистную ячневую кашу.

Этой кашей наша семья кормилась, казалось, уже с незапамятных времен. Как-то матери удалось, и это рассматривалось как редкая удача, выменять целый мешок такой крупы. Она несомненно спасла нас от неминуемого голода. Но уж и поели мы этой каши! Ели на завтрак, ели на обед, ее же подавали на ужин. Если случался гость, то и его угощали той же кашей, которую он поглощал с нескрываемым наслаждением. Кашу ели, как говорилось в доме, „без ничего“ до того счастливого дня, когда Луша ухитрилась сменить папину бритву на вполне достойный кусок сала. Отец теперь брился дедушкиной, а мы получали на обед варево, приправленное шкварками и издающее запах, с которым даже в сравнение не идет запах парижского супа, восхищавшего наивного Хлестакова.

Шкварки были явлением преходящим. Каша „без ничего“ – субстанцией устойчивой и нетленной. Мы с Вовкой были до того подавлены этой кашей, что, несмотря на голод, она не возбуждала в наших желудках ни малейшего сокоотделения. Нам с Вовкой наливали ее до края в глубокие тарелки, и мы изнывали над ними, сотрясаясь в рыданиях. Но на снисхождение рассчитывать не приходилось, и мы с отвращением заталкивали в рот проклятое варево. Мы глотали его и жалели друг друга. Тот, кого первого посещало это благородное чувство, самоотверженно перекладывал кашу из чужой тарелки в свою. Оба после этого умилялись, но бедственное положение благодетеля немилосердно теребило совесть. Каша перемещалась теперь в обратном направлении, и этот процесс сопровождался новым, обильным слезоизлиянием. Мы были преданы друг другу до самозабвения. Я и мой брат Вовка. Гражданин Генин Лев Ильич, как он именовался накануне своей трагической гибели. Но об

этом в свое время.

Пытка кашей поставила нас на грань отчаяния. Но однажды отчаяние это породило дерзкую, спасительную идею, которая была немедленно внедрена в практику. Чтобы проследить ход наших мыслей, приведших к великому открытию, вынужден сделать небольшое отступление.

Квартира наша в то время была заселена крысами не менее густо, чем жильцами. Толпы этих мерзких тварей слонялись по дому во всякое время суток. Они забирались в шкафы, комоды, сундуки, упражняя свой жевательный аппарат на предметах, лишенных какой-либо питательности, по крайней мере, с нашей примитивной человеческой точки зрения. Мы находились в состоянии нескончаемой войны с ними. Под рукой всегда держали разнообразные „ударные“ инструменты, рассчитанные на поражение цели с ближних и дальних дистанций. Повсюду были расставлены крысоловки разных принципов действия, рассыпаны ядовитые приманки, а тазы, ведра и ванна наполнены водой, поверхность которой покрывалась густым слоем гречневой шелухи. Все механизмы работали на предельном КПД, но численность врагов не убывала. Не снизила ее и пара мордатых котов, приобретение которых сопровождалось самыми радужными надеждами. Коты действовали отменно. Целый день таскали они по дому крысиные трупы, но кроме того, что сами они жирели, никаких иных последствий мы не отмечали.

Великое открытие состояло в том, чтобы поставить лютых наших врагов на службу человеческому гению. Мы свертывали из бумаги фунтики, заполняли их кашей и опускали в крысиные норы, которых повсюду было множество. Каждый фунтик принимался жителями подполья с видимым удовлетворением. Визг, возня и беготня немедленно извещали о том, что презент оценен по достоинству. Мы с легким сердцем возвращались к столу и с нарочито скорбными лицами ковыряли ложками дно опустевших тарелок. И вот это варево теперь будет подано дорогим гостям. Немыслимо! Но кое-что мы все же соображали. Понимали, что ничего другого в доме нет

и что даже этой каше были бы рады многие. . .

Но вот стол уже накрыт, и Луша со щеками, пылающими жаром, как плита, которую она только-только покинула, вносит первую перемену.

Что же здесь происходит? Что за чудеса? Мы с Вовкой не верили своим глазам. На столе, выложенные на кузнецовское блюдо и обложенные кружочками лука, лежали селедки! Настоящие селедки, благоухавшие так, как могут благоухать одни лишь райские цветы. К этому чуду нам однажды довелось приложиться. Не есть. Сказать так было бы бессовестным преувеличением, а именно приложиться.

Вот это да! Селедки, настоящие селедки будут есть наши гости!

Чистота и благородство наших помыслов были непостижимы. Ни малейшей зависти, ни малейшего желания снова испытать однажды изведенное наслаждение. Предложи нам тогда кто-нибудь кусочек этого яства, мы отвернулись бы от него, как благочестивый еврей от свиной грудинки. Это только для них! Для них и ни для кого более!

К нашему изумлению, селедки произвели на гостей куда меньшее впечатление, чем чугуны с богомерзкой ячкой. Селедки они ели размеренно, обсасывая и обгладывая, впрочем, хвосты и головы. Но каша, от которой столбом поднимался пар, вызвала шумное и восторженное оживление. Ложки забарабанили так, что стук их сливался в одно непрерывное та-та-та, словно на столе был установлен пулемет.

На нас никто не обращал внимания. Теперь я понимаю, что им, изголодавшимся, продрогшим и промокшим до белья, было не до нас. Ничего, кроме этих селедок и каши, они не замечали. Было тепло, тихо и спокойно, было все то, чего им не хватало долгие, долгие дни, недели, месяцы.

И тут, весьма некстати, я почувствовал настоящую потребность в уединении. Я выскочил из комнаты, и через мгновение уже восседал на своем суденышке, как чайка на бакене.

Должен сказать со всей откровенностью, что туалета я боялся. Боялся по двум причинам: во-первых, меня пугала темнота, во-вторых – крысы. Нет, встреча с ними в честном бою меня не страшила, но в том положении, которое я здесь занимал, встреча эта не сулила ничего хорошего. В конечном счете, выход был мною найден. Темноту я ослаблял, оставляя дверь приоткрытой. Крыс – подавлял пением. Бог, а выражаясь научно, отцовские гены, одарили меня абсолютным слухом и звонким, верным голоском. И покончив с хлопотами по благоустройству, я принимался петь. Поскольку в облюбованной позиции я пребывал немало времени, соответственно велик был и репертуар. Он включал самые выдающиеся произведения фольклора и наимоднейшие шлягеры этих невзыскательных, что касается вокального искусства, незабываемых лет. Я пел „Хаз-Булата“ и „Разлуку“, грустную повесть о жареном цыплёнке и не менее печальную историю о бледном Карапете. Ну и, конечно, пел я революционные песни.

Здесь я сталкиваюсь с неразрешимой загадкой. Откуда пришли ко мне эти песни? О „Разлуке“, „Хаз-Булате“ и „Карапете“ пели все. Пела прислуга, бродячие музыканты, просто нищие и многие другие. Революционные песни не были в почёте ни у одной из названных категорий. Даже мысль о том, что слепец, или нищий калека, или девушка-прислуга стали бы петь „Смело товарищи в ногу“ или „Варшавянку“, представляется дикой. Тем не менее – и это совершенно для меня непостижимо – я знал не только мелодии, но и слова этих песен. От первого до последнего. С воодушевлением исполнял я, сидя на горшке, и „Варшавянку“, и „Смело товарищи в ногу“, и даже „Вы жертвою пали“.

В репертуаре, который я составил в тот памятный день, более всего поражает меня его идейная направленность. Конечно, я не мог запомнить всех сопутствующих соображений, но они несомненно были. Иначе нельзя объяснить, почему я исключил из программы Хаз-Булата, Карапета и жареных цыплят. Ничего этого не было. Был дан концерт что ни на есть самой

революционной песни, включая „Вы жертвою пали“. На это уже моих редакторских способностей не хватило. Тем не менее это был концерт высокого идейного накала, и предназначался он не крысам. Я пел для *них* и только для *них*! Я еще не запомнил их лиц; они были для меня одной, не облеченной в плоть, символической фигурой. Я пел увлеченно, с небывалым подъемом. Сейчас, через уйму далеко не легких лет, при очень сильном желании я могу вернуть себя к состоянию какого-то первобытного, восторженного душевного взлета. Но воссоздавая его, я обращаюсь к ушедшему, далекому прошлому. Взлет этот, увы, совершенно немыслим в настоящем.

Когда я вернулся в столовую, на столе стоял лишь самовар. Гости пили чай из своих кружек. Наши фарфоровые чашечки, которые были им предложены (они стояли тут же в вольном строю), были им ни к чему. В них только наливай да наливай: один глоток – одна чашка. Забавка, а не питье. Все были красны, и пот стекал с их лбов, словно были они не за столом, а в броске с полной выкладкой.

Я тихонько пробрался к углу, где стояли винтовки, и с благоговением поглаживал до блеска затертые, заполированные ложа.

Тут-то на меня, наконец, обратили внимание.

– Не ты ли, милок, пел давеча? – положив мне на плечо руку, спросил длиннолицый, усатый боец, нос которого был так изуродован оспой, что напоминал выведенный кукурузный початок.

– Знатно, знатно поешь! Вот бы тебя к нам в роту запевалой! Что скажете, хлопцы, ить чисто соловей!

– Верно, Синюхин, соловей и есть! Гож и в запевалы, кабы росточка еще чуток, – смеялись бойцы. Они окружили меня, заглядывали в глаза, похлопывали по плечам.

Я понимал, что они шутят, но радость моя от этого не убывала. Я был наполнен ею, она давила меня изнутри, теснила извне, и было мне невыносимо хорошо.

– Так как, хлопче, пойдешь к нам в роту? Будем вместе беляков и буржуев добивать! – не унимался парень

с кукурузным носом. – Ну-ка, примерься к винтовочке!

Он протянул мне одну, а я схватил ремень и сделал попытку надеть его на плечо. Винтовка была чертовски тяжелой.

– Не балуй, Синюхин, не игрушка, так-то, – подошел к нам боец с пулеметными лентами. – А ты, милоч, подрасти еще. Может, к тому времени и беляков не будет, и воевать не придется. Так-то. Не веселое дело война, пропади она пропадом. Он вдруг глубоко запустил руку в карман и долго рылся в нем, что-то перебирая. Наконец искомое было найдено, и он протянул его мне. – Вот, лучше держи эту штуку. Он разжал большой, шершавый кулак. – На память от всех нас да от меня, пулеметчика Басыгина. Заслужил ты, парень. Здорово поешь! Так-то. На его бурой, иссеченной черными линиями ладони лежала звездочка. Красная звездочка. Эмаль на одном ее луче была выбита, но меня это не огорчило. Я схватил звездочку и бросился вон из комнаты.

– Вова, мамочка, папа, посмотрите, посмотрите что у меня, посмотрите, что мне дали! – кричал я, мечась по дому. – Настоящая красноармейская звездочка! Посмотрите!

Эту звездочку я долго хранил в том же столе, что и деникинские кокарды. Но хранил в другом ящике. Отдельно. Почему? Тоже не знаю. Что-то, чему я не могу подобрать названия, протестовало во мне. Протестовало и подсказывало: лежать им отдельно. Звездочке и кокардам. Так и лежали они. Долго лежали.

Мое место в мире было определено прочно и надолго, но он не был един, этот мир. Он был разделен. Раздвоен. Раздвоен на две неравные части. Большую и малую. Мы находились на большой. Они – на малой. Их вообще было мало, а нас много.

Мы – и тут для меня все было предельно ясно – это я, папа, мама, Луша, Синюхин, Басыгин и их товарищи, и солдат Степан, и вообще все хорошие, добрые люди. А вот кто *они* – было далеко не так просто определить. Конечно, это беляки и буржуи, хотя оба понятия рисовались мне более чем туманно. Кто они, беляки? Почему их так прозвали? Может быть, за белую форму и цвет

лошадей? Эта версия казалась мне правдоподобной, и я временно принял ее. Но кого причислить к буржуям? Нашу печку называли буржуйкой, но какая здесь связь? Ответа я не находил. Лишь одно было очевидно: они плохие. А что значит плохие? Я встречал только хороших. Плохие мне как-то не попадались.

Я спросил об этом отца. С беляками все оказалось довольно просто. Это враги всех хороших людей: царские солдаты и офицеры, полицейские и сам царь. Их я не раз видел на картинках в „Ниве“ и газетах. С буржуями дело оказалось не простым. Отец сказал, что они богачи.

– Богатые. – уточнил я. Отец замялся. – Те, у кого много всего. Много бубликов, селедок, котлет и конфет. – нажимал я.

– Нет, задумчиво, но твердо ответил отец. – Вот кончится война, будем спокойно жить и работать, будет у нас вдоволь и булок, и котлет, и селедок. Но богачами мы не станем. Богачи, сынок, это те, что сами не работают, а заставляют работать на себя других. Те, у кого свои дома, магазины, фабрики.

– Как у Могилянского. – живо сообразил я. – У него же есть и дом, и мельница, и магазин! Значит, он буржуй. И он очень толстый. Правда, небуржуи не бывают толстыми? Вот ты же не толстый! И Синюхин и Басыгин! Они такие худые, худые! Папа, а почему они не арестовали Могилянского, если он буржуй?

– Что вы там болтаете. – возмутилась мать. Зачем ты затеял с ребенком такой разговор. Ты хочешь развернуть в нашем доме классовую борьбу? Воспитатель называется! – набросилась она на отца.

– Ты, Доша, не приставай к отцу с глупыми вопросами. Мал еще. Подрастешь – сам разберешься. А Могилянский, конечно, ворчун, но он очень добрый господин. Если бы не он, то нам нечего было бы подать к столу. Он и селедки дал, и лук, и хлеб. Я ему очень признательна.

Я вопросительно взглянул на отца.

– Спасибо ему, конечно, – пробубнил он, – еще бы

ему не дать! Откупился! Иметь бы ему весь отряд на постое в его восьми комнатах. Чего уж скупиться на пару ржавых селедок. У него их целый бочонок стоит, гниет.

– Ну, довольно, – резко бросила мать. – Иди лучше поиграй с Вовкой. – А ты кончай со своей политикой! Он еще хлебнет ее вдоволь!

Отец пожал плечами и покинул комнату. Вопрос о буржуях предстояло мне решать самостоятельно. Но как все же с Могилянским? Так это он дал селедки! Вот они откуда! И папа сказал, что их у него много. А он ведь нам их никогда не давал! Жадина он! Гнилых селедок нам пожалел! Ну и пусть сам ест свои селедки. Буржуй! Настоящий буржуй! Ни я, ни папа, ни мама, ни Басыгин так бы не сделали. Они всем дали бы по селедке. Но у них нет. Они не буржуи, поэтому и нет. Вот бы хорошо, если бы были!



Город был в руках у красных, но изменения, происшедшие в жизни нашей семьи, были не слишком значительны, хотя многое все же изменилось. Прежде родители большую часть суток проводили дома. Теперь мать работала в госпитале. Она уходила еще до рассвета, целовала нас, сонных, на прощание и появлялась лишь поздно вечером. Отец был мобилизован на какие-то работы. Кажется, речь шла о постройке моста. Где и какого – я, конечно, запомнить не мог. Зато очень хорошо помню, как, приходя домой продрогший, грязный и измученный, отец выкладывал на стол заработанный им паек. Паяк носил символический характер, играл роль награды и никак не соизмерялся по своей стоимости с произведенным трудом. Зато отцовские пайки были неожиданны и поразительно разнообразны. Иногда прозаичны и будничны: полбуханки хлеба, несколько подмокших, грязноватых кусочков сахара; иногда экзотичны: пара лимонов или горсть изюма. А однажды достались отцу трикотажные американские кальсоны, изготовленные, по меньшей мере, на Голиафа.

– Кто угадает, что я принес? – спрашивал обычно отец, прежде чем представить на обозрение очередной сюрприз. Мы, конечно, изо всех сил старались разгадать загадку, но я не помню ни одного случая, когда бы старания наши привели к успеху.

– Сахар! Селедки! Мыло! – выкрикивали мы, стараясь опередить друг друга. Отец терпеливо ждал, пока истощатся наши пыл и фантазия. Наконец, он расчищал место на столе и выкладывал то горсть соли, увязанную в носовой платок, то пачку махорки, или, что было уже за пределами любой нашей фантазии, спичечный коробок, в котором сиротливо каталась пара камней для зажигалки.

Удивителен и неугасим радужный свет детства. Допускаю, что дело тут в особенностях моего характера, своеобразии восприятия, но ничего горестного, печального или тяжелого не сохранила моя память.

Не прав Лермонтов, устами Веры Лиговской заявивший: „Радости забываются, а печали никогда“. По-моему, все как раз наоборот. Моя память, по крайней мере, сохраняет одни лишь радости. Даже печали отдаленного прошлого озарены светом умиротворенности. Время вымывает из печальных событий боль, как вымывает вода соли из породы.

Мы прожили детство в сырой, холодной, изгаженной и изгрызанной крысами квартире. Мы редко бывали сыты, а если бывали, то благодаря еде, даже и тогда вызывавшей у нас отвращение. Мы постоянно страдали от холода, ходили с сопливыми носами, заходясь кашлем, завернутые в какие-то старые дедушкины шарфы и бабушкины кофты. Особенно запомнились мне так называемые напульсники. Этим изящным словом прикрывалась грубая суть. Напульсниками назывались манжеты от предельно изношенных перчаток. Толку от этой широко бытующей принадлежности было немного. Мы постоянно почесывали обмороженные пальцы. Обмороженными были наши уши и носы. Их нам мазали каким-то жиром, и мы всегда блестели, как надраенные мелом бабушкины подсвечники. Какой применялся для

этой цели жир – не помню и придумать не могу. Какие тогда были жиры и почему их так легкомысленно растрачивали – тоже не скажу. Но какой-то жир все же был. Мазали нас, это точно.

Сколь неустроена, убога была наша жизнь, можно судить по тому, что густой и очень злой роговой гребешок применялся по несколько раз в день и с большим успехом. Шутки! В интеллигентной семье завшивленные дети! Но как могло быть иначе, если мыло было в доме такой же редкостью, как гром зимой. Зато широко в ходу был керосин, который втирали в наши постоянно зудевшие головы. Как был неистребим запах нафталина в нашем платяном шкафу, так, казалось, мы навсегда были обречены поставлять в атмосферу мерзкий запах керосина.

Да, при объективном описании всех обстоятельств нашей тогдашней жизни, ничего отрадного в ней не усматривалось.

Но, Боже мой, как мне было хорошо! Все было хорошо! Все без исключения! И отцовские пайки, и обжигающие бока буржуйки, вокруг которой собиралась вся семья с протянутыми окоченевшими руками, и крысы, с которыми мы так азартно, увлеченно воевали, и наши светильники-коптилки, на которых мы упражнялись в пиротехнике. Все было прекрасно. Незабываемо прекрасно!

Я сижу в теплой комнате рядом с холодильником, набитым всякой едой, попиваю сладкий чай с лимоном и грущу об этом далеком, страшном и чудесном времени, времени моего детства. Было тогда что-то, чего мне не хватает сейчас. Не только детства. Не только его.

ВОВКА

Все, что было мною описано, мы пережили с Вовкой вместе. Мы вообще все и всегда переживали вместе, а я о нем только всего и сказал, что были мы преданы друг другу. Это когда я о каше ненавистной рассказывал. Но выразить наши чувства одним лишь словом преданность – значит не выразить ничего или даже того меньше.

Мы с Вовкой являли редкостный феномен. Мы срослись, как сиамские близнецы. Но в отличие от них, срослись не телами, а душами, и никакие хирургические методы разъединить бы нас не смогли. И это при том, что был Вовка старше меня почти на полтора года.

Правда, когда мы повзрослели, выяснилось, что мы с ним очень разные. Во всем. И внешне, и по складу ума. Но все это я понял только через много лет. В описываемое же время я этого не ощущал, так как все между нами было разделено поровну, а что не было, мы делили сами. Если кто-то угощал меня конфетой, яблоком или пирожком, я тут же задавал неизменный вопрос: „А Вовке?“ Если обстоятельства не позволяли задать его, я угощение брал, но никогда, ни единого раза не воспользовался им, не разделив с братом. Да мне бы просто не полезло в глотку это яблоко или пирожок.

То же самое, когда звали меня товарищи на прогулку или затевали игру. Все тот же вопрос: „А Вовка?“ И если брат не мог или не хотел быть со мной, я отвергал приглашение не задумываясь и, что главное, без малейшего сожаления. Никакие не разделенные с ним радости не могли радовать меня.

Хочу думать, что Вовка чувствовал и поступал так же, но утверждать это безоговорочно я бы не решился. Вовки моего нет уже несколько десятков лет, но сомнение это отзывается глухой болью и поныне.

Позднее, уже в школьные годы, выяснилось окончательно, что никакие мы не близнецы. Выражаясь современным языком, Вовка был физиком, а я – лириком. Он любил математику, а я – сочинять и рассказывать. Я любил Гомера и Плутарха, а Вовка – Жюль Верна и всякую технику. Я всегда, как теперь говорят, „тусовался“ со всякой ребятней, а Вовка держался от нее в стороне. Да и вообще был он суховат, сдержан и молчалив. И ловчить не умел. Был прямолинеен, тверд и бескомпромиссен. Я же был податлив, доверчив и уступчив. В общем, разными были. Так что даже в годы школьные разошлись мы по разным углам.

Но довелось нам уже в годы студенческие оказаться

в одном углу. И стала для нас этим общим углом прославленная Лукьяновская тюрьма. Как все это случилось, об этом речь впереди. Одно лишь скажу: статья уголовного кодекса была у нас общая. Статья 54-10 – контрреволюционная агитация. Но пришли мы к ней каждый своим путем. Я из-за своей общительности и доверчивости. Брат – из-за своей прямолинейности и бескомпромиссности. Это если уже очень тонко все анализировать, потому что вообще-то сидели тогда по самым разным статьям миллионы, и характеры их были ни при чем. Теперь-то это уже ясно всем.

Что до меня, то тут все не так просто. Я еще об этом расскажу, но Вовка уж верно что пострадал из-за нрава своего. Погиб брат в Магаданских краях. А мне повезло. Пережил я эти страшные времена, но кровь брата моего и по сей день стучится в мое сердце.

ПОЛЯКИ

В раннюю пору жизни бег времени неуловим. Даже крупные, потрясающие мир события не становятся приметными вехами на его пути. И мне трудно сказать, как долго просуществовал „красный“ период. Но события были грозные, безжалостно ломавшие жизнь страны, народа. Они повергали в трепет всех, заставляли болезненно сжиматься сердца. Мое же сердце билось ровно. Как солдат, до первого ранения не знающий страха, не ведал страха и я. Все происходящее вокруг не будило во мне никаких чувств, кроме всепоглощающего, острого, небывающего любопытства.

Между тем, все основания для тревоги были налицо. Город снова оказался „ничейным“, красные покинули его. Теперь оставалось только ждать... Конечно, все знали, что по пятам красных шли поляки. Но поляков еще не было, а до их прихода можно было ожидать чего угодно...

– Наконец, слава Богу, будет-таки порядок, господин Генин! – потирая на ходу руки и часто моргая тяжелыми,

как у Филина, веками, разглагольствовал Могилянский. – Выгнали ваших голодранцев, выгнали с треском! Будем теперь снова жить, как люди.

– Я бы не спешил радоваться, – мрачно возразил отец.

Мне было его жаль, и я ненавидел Могилянского, но чем ему отомстить, как уязвить, не знал.

А люди томились от неизвестности. Распространялись жуткие слухи о погромах, якобы уже имевших место в пригородах и близкой к нам Куреневке.

В конце концов страх выгнал людей из родных гнезд. Из нашего дома ушли все, кто мог передвигаться на собственных конечностях.

Помню, как отец с матерью, нагруженные узлами и корзинами, тащили нас с Вовкой вверх по крутой Александровской улице, что у подножья Владимирской горки. Мы держались за руки, а свободные наши руки поочередно хватали то отец, то мать.

Я не понимал тогда, какие безрадостные, отчаянные мысли гнали их из родного дома. Все представлялось мне только новым, не лишенным интереса приключением.

Бежали мы на Крещатик, где жил мамин двоюродный брат Мотя, владелец парфюмерного магазина, со своей огненно-рыжей женой Гелей и такими же, как мать, пламенноголовыми детьми: Монею и Лией. До их дома мы доплелись только к ночи. Это был дом номер 41, что против Фундуклеевской улицы.

Дядя Мотя, как теперь я знал наверняка, был буржуем, поскольку имел свой магазин. С рыжей тетей Гелей тоже все как будто было ясно. Магазин, конечно, принадлежал и ей. Этим все сказано. А их дети? Как с ними? Это был нелегкий вопрос, но поразило меня в этом доме другое: вместо нормальной прислуги, вроде нашей Луши, здесь хозяйничал лакей! Настоящий лакей, которого все называли просто Сергеем! Сергей подавал самовар, убирал комнаты, чистил дядины ботинки и слушался тетю Гелю так, как слушался пес Неро своего хозяина, дворника Федора. Мне было неловко смотреть на Сергея, угрюмого, всегда насупленного, остроносого человека, совершенно бесшумно исполнявшего свои многочислен-

ные обязанности. Было стыдно за него, и я совестился смотреть ему в глаза. Благо он к этому не стремился.

– Вот они, буржуи! – рассуждал я. – Пользуются трудом Сергея и живут себе припеваючи! Мои родные дядя и тетя! Их детей я в расчет не принимал, как не брал в расчет и труд Луши, которым мы пользовались. Луша – женщина, хозяйка, член нашей семьи. А Сергей – мужчина! Это совсем другое дело, совсем другое. А дети? Неужели мой кузен Моня и кузина Лия тоже буржуи? Такие молодые и уже буржуи. Классовая принадлежность моих родственников весьма и весьма тревожила меня.

Кузен Моня был сухеньким пареньком лет шестнадцати, с носом плоским и острым, как киль на грудной кости курицы. Этот примечательный нос был так ярко окрашен множеством веснушек, что казался бы на лице посторонним телом, не будь таких же веснушек в его окрестностях. Моня носил мощную шевелюру, напоминавшую клоунский парик.

Лия, если и походила на брата, то лишь волосами великолепного бронзового цвета, вспыхивавшими при свете солнца или лампы чудесным красноватым пламенем. Она была ошеломляюще, поразительно хороша. Думаю, что было ей в ту пору лет 18 или даже все 20.

Я, конечно, не мог в полной мере оценить тогда ее опаляющую красоту. Кузина вызывала во мне какую-то грустную, непреходящую тревогу, болезненное беспокойство. Особенно остро воспринимал я взгляд ее узких и длинных, как на египетских фресках, глаз. Они были малахитово-зелеными, и их ослепляющее сияние как бы вырывалось из густой тени, создаваемой массой черных ресниц и пушистых бровей. Кожа у Лии была подобна розовому мрамору необыкновенной чистоты и гладкости, какая встречается у одних только рыжеволосых. Ко всему прочему, Лия обладала тонким, стройным телом и волнующе округлой, высокой грудью.

Конечно, это не совсем детское восприятие возникло не тогда. В ту пору Лииных прелестей я еще должным образом оценить не мог. Тревогу во мне вызывало все ее

существо в целом, все обаяние красоты как таковой, без малейшего „плотского“ налета и вожделения. Никого лучше и красивее Лии я не знал. И этому чуду, этому божеству я должен был найти место в моей классификации! Это было выше моих сил, и я, пожалуй, впервые в жизни пошел на компромисс, грубо поправ свою совесть. Не может Лия быть буржуйкой! Это чудовищно! Такая красавица и буржуйка! Нет, нет, это невозможно, недопустимо! Лия, Лия!

Мы прожили в доме дяди Моти уже несколько дней. И каких дней! Дней, перенесших нас с нищей Межигорской на фешенебельный Крещатик, где встретили неизвестный доселе мир. Мир без противной ячки, без крыс, без „буржук“ и коптилок. Здесь ели домашний, даже нередко белый хлеб, ели мясо и картофель в жирном соусе, здесь во всю мощь гудели березовые поленья в топках белых кафельных печей, горели лампы под затейливыми абажурами. . . Короче, здесь жили „буржуйски“. И как это было чудесно!

Теплыми, добрыми были и люди в этом „буржуйском“ доме. Дядя Мотя играл с нами в „магазин“, который снабдил кучей совершенно изумительных товаров: флакончиков с духами, кусками одуряюще пахнущего мыла и пачками новехоньких цветастых этикеток. Тетя Геля все норовила сунуть нам то пирожок, то коржик, не переставая по-дружески бранить мать за то, что мы такие худые, и за неумение наладить приличную жизнь.

Нет, нет, если они и буржуи, то значит не все буржуи плохие. Что касается Сергея, то это, конечно, нехорошо, но легко поправимо. Им нужно только вместо него взять девушку, вроде Луши, и больше никогда не пользоваться чужим трудом.

Придав своим мыслям такое направление, я жил, ни о чем больше не беспокоясь, в полном мире с моими добрыми родственниками и со своей покладистой совестью.

Как ни хорошо было все, но вскоре мы с Вовкой заскучали. Конечно, возвращаться в наш крысино-ячне-

вый рай мы не жаждали, но занять себя не умели, и безделье стало нас тяготить. Все вещи были чужими, брать их без спроса мы не смели, а надоедать бесконечными „а можно нам взять?“ – было неудобно. Да и что брать? Все возможное уже бывало взято и не раз.

Видя, как бесцельно мы слоняемся по дому, страшась накапливаемой в нас таким образом потенциальной энергии, нам разрешили пользоваться книгами в дядином шкафу. Большая их часть не представляла ни малейшего интереса. Но основательно порывшись, мы наткнулись на настоящий клад. Особый восторг вызвали две навсегда запомнившихся мне драгоценности: „Божественная комедия“, иллюстрированная Гюставом Доре и „Охота в Африке“ Городецкого, того самого Городецкого, что был создателем причудливого, с химерами, дома на Банковой улице.

Созерцание изображений тропических животных доставляло нам неопишное наслаждение. Целый день мы перелистывали большие страницы этих роскошных изданий и в какой-то момент решили, что нам следует скопировать хотя бы часть из них.

Почему-то в доме не нашлось обычных карандашей, и Моня выделил нам из своих запасов два толстенных, красно-синих бухгалтерских карандаша. Из этих двух цветов мы, конечно же, выбрали наш любимый красный. Раздобыв бумагу, – а в доме было множество разных бухгалтерских книг и каких-то отрывных блокнотов – мы с Вовкой рьяно взялись за дело. Рисовали целые дни, с утра до позднего вечера. Все прочие забавы были забыты. Великое множество красных антилоп, львов, бегемотов и прочей тропической живности было перенесено на листки, коими мы усеяли полы и всю мебель в комнате. Наше увлечение не знало границ. Но оно было остановлено неумолимым ходом событий.

Снова все у окон: отец, мать, дядя с тетей, Моня, Лия и, конечно, мы с Вовкой. Никто не ждал стрельбы, никто ничего не опасался. И никто не стрелял. Все были спокойны, словно собрались лишь подышать свежим воздухом. Так, по крайней мере, мне казалось тогда.

Небо было голубым и ярким, а земля залита солнечным, теплым светом. Волнующе-весенне пахли цветущие тополя. Мостовые опустели. Зато на тротуарах собрались толпы народа. Люди стояли повсюду, словно пришли они сюда со всего города. Они заполнили балконы, торчали в окнах, сидели на крышах. Мы тоже перебрались на балкон.

Прямо перед нашим домом высилась торцовая часть дома, что на углу Фундуклеевской улицы. На нем был изображен гигантский ворон с плиткой шоколада в клюве – реклама фирмы Жорж Борман. Под брюхом ворона было особеннолюдно. Целые ватаги мальчишек совершали челночные движения между ног неподвижно стоящих людей. Мальчишек беззлобно отталкивали, когда они причиняли чрезмерное беспокойство. Всем было не до них. Все ждали. Напряженно, но спокойно.

Наконец послышался цокот копыт. Звонкий, стройный, ритмичный. Толпа взорвалась громким хором выкриков, неразборчивых возгласов. Мы наблюдали происходящее с высоты третьего этажа, и оно поразило меня. Улица преобразилась. В передних рядах стояла сплошь разодетая публика. В едином пестром строю слились яркие шляпы дам, черные котелки мужчин, одетых в хорошо отглаженные, изящные костюмы. Повсюду было множество цветов. Их несли женщины, их бросали на мостовую, их вручали всадникам с радостными улыбками. Звучала, даже господствовала польская речь, будто все происходило не на Крещатике, в нашем Киеве, а на Маршалковской в Варшаве. Принимая цветы, офицеры картинно склонялись со своих высоких лошадей, благодаря дам кокетливыми улыбками. Иным удавалось даже поцеловать обтянутую перчаткой дамскую руку.

Зрелище было праздничным, волнующе великолепным. Красавцы-уланы, ловко сидящие на холеных лошадях, казалось, явились сюда с единственной целью – подарить нам это прекрасное зрелище. За спинами офицеров, вздуваемые ветром, трепетали яркие плащи, придававшие своим владельцам особенно лихой и мужественный вид. А кони! Что это были за чудо-кони! Их шеи были круто

изогнуты, как у игрушечных лошадок, хвосты и гривы коротко обрублены, а тела вычищены и вылощены до блеска. Ничего красивее этой процессии я в жизни не видел.

Невольно я сопоставлял вступление в город красных, с их хилыми лошаденками, обтрепанной одеждой, угрюмыми, костлявыми лицами, и этих веселых усатых красавцев на резвых конях, какие бывают лишь на арене цирка. Я не хотел сравнивать, но делал это, не мог не делать, как ни удерживал себя, и сравнение это причиняло мне боль. Как жаль было мне тех, в бинтах и муфтах, изнуренных, насквозь промокших, бессильно шатавшихся в седлах! „Голодранцы“, – вспомнил я, и теперь только осознал обидность этого прозвища. Обидность и точность, раскрывшиеся мне во всей их огорчительной полноте.

– Ничего, – утешал я себя, – они все-таки выгнали тогда и белых, и немцев. Ничего, ничего, они еще себя покажут. Зададут перцу и этим щеголям! Выгонят и их как миленьких! А вдруг не выгонят. – заползла страшная мысль, обдав меня холодом. – Нет, нет, так не будет! Все равно выгонят! И не буду я больше смотреть на них! Пусть едут себе и улыбаются. Пока. И я уже было решил уйти с балкона, но остановил меня Вовкин возглас:

– Папа, посмотри на этого офицера! Он же недавно проезжал тут! Вот он, на серой лошади! Я и лошадь его узнал! Это он, он!

Все недоверчиво переводили взгляд с брата на офицера, который уже миновал наш дом. Только плащ его развевался над лошадиным крупом.

– Мне кажется, что я тоже видела его. Малыш прав, – задумчиво растягивая слова, произнесла Лия.

Стыдно признаться, но я не сумел сделать из Вовкиного открытия никаких выводов. Зато отец сделал их немедленно.

– Так, так, дорогие мои, все ясно, – обратился он ко всем нам, – не успели еще прибыть, а уже обманули. Неважное начало. Хотят показать свою силу! Вон, мол, сколько нас, таких красавцев! Вот и едут по кругу. Поднимаются по Бибииковскому, сворачивают на

Владимирскую, а потом снова к Думской площади, и, пожалуйста, они перед нами. Ловко придумано!

– Да, да! – радостно вскричал я. – Обманщики они, обманщики! Пусть себе радуются, обманщики, а красные их все равно выгонят!

– Пока выгонят, они еще себя покажут, – подал свой голос Моня. – Кое-кому здесь не поздоровится.

Я так и не уловил подтекста в Мониных словах. Было непонятно, доволен ли он тем, что кое-кому покажут, или это было предупреждение, беспокойство за всех нас.

– Кому покажут? Кому не поздоровится? – вскричал я, дергая его за рукав.

– Известно кому, красным, конечно!

– А красные ушли, – возразил я, – они теперь уже далеко. Пусть сначала догонят!

– Те, что ушли, далеко. А мало красных здесь? Мало, думаешь?

– А как они их найдут? Как узнают, кто красный? У них на лбу ведь не написано, что они красные.

Я сказал это и вдруг осекся. Какая-то не схваченная, еще не доведенная до ясности мысль метнулась к сердцу и тревожно сжала его.

– А наши рисунки! Красные, все красные! Все до единого! По ним наверняка узнают, кто мы такие; зайдут к нам, как тот офицер, немец, увидят красные рисунки и всех посадят в тюрьму или, еще хуже, просто убьют!

Вихрем закружились перед моими глазами ужасные сцены. Меня охватила паника: надо что-то делать и поскорее! И я тут же принял решение: надо спрятать или уничтожить все рисунки, чтобы никто их не увидел. Лучше всего уничтожить.

Я схватил Вовку за руку и вытащил в прихожую. Здесь, приложив рот к самому его уху, я высказал ему все. Убеждать его мне не пришлось. Наше мнение было единым: рисунки, как их ни жаль, подлежат уничтожению. Валявшиеся по всему дому бумажки были собраны, сложены и перевязаны суровой ниткой в тугой пакет. Затем, никем не замеченные, мы выскользнули из дома по черной лестнице, пересекли мощеную часть

двора и вскарабкались на крутой холм, густо поросший кустами колючего боярышника и еще более свирепой акации. Сюда уже никто не проберется. В самом укромном и колючем местечке с помощью ржавого тесака, взятого по такому случаю из нашего тайника, мы захоронили пакет. Для верности вместе с ним были уложены и карандаши. Хорошенько утопав землю, присыпав ее хворостом и всяким хламом, мы скрытно вернулись в дом. Страшная угроза перестала тяготеть над нами, и настроение заметно поднялось.

А по Крещатику все двигались и двигались польские войска.

Я вглядываюсь теперь, через полстолетия, в милое личико своего внука, вспоминаю детство и думаю: ему, примерно, столько же лет, сколько было мне тогда, в двадцатом. Он, мой малыш, даже несколько старше. Но насколько несоизмеримы наши представления о мире! Я был „домашним“ ребенком, но во мне уже жили все страхи, все тревоги человека, окруженного стихией разбушевавшейся вражды, войны и голода, артиллерийской канонады и погромов, противоборства непонятных сил. Нет, мой внучонок не стал бы зарывать своих рисунков. Сама мысль о страхе перед людьми, о боязни за близких не могла бы родиться в его беззаботной головенке. И слава Богу! Так бы и впредь, всю его жизнь.

Зло рождается не только под грохотом бомб и снарядов. И добро существует само по себе, независимо от зла, сколько бы ни злопыхательствовал кумир моей юности Артур Шопенгауэр. Существует в нас и вокруг нас. И оно сильнее зла. Это мое твердое убеждение.

Город, казалось, отдыхал после долгой изнурительной маеты. На улицах сталолюдно. Открылись магазины, распахнулись дверки лавчонок, наполнились привычными звуками базарные площади. Утихли слухи о бандах, погромах, налетах.

Мы вернулись в наш дом на Межигорской, благодарно и нежно распрощавшись с обитателями дома на Крещатике. Нас радостно встретила Луша, и немедленно, словно выглядывал из окна, явился толстяк Могилянский. Он

уже второй день жил у себя и всячески выпячивал свое бесстрашие: мне, мол, плевать на всяких погромщиков и бандитов. Нас не испугаешь, и нечего скитаться Бог знает где, когда есть свой дом.

Мы зажили прежней жизнью. Не совсем прежней. Мать теперь целые дни проводила дома, а отец уже не приносил сногшибательных пайков. Исчезла из нашего рациона и ненавистная каша. Луша готовила настоящие обеды: варила суп, картошку, а иной раз и мясо. Все это было дьявольски вкусно. Как ни странно, но я совершенно не помню, что именно готовилось, какие блюда мастерила Луша из картошки и мяса. Совершенно не помню! Зато навеки сохранила память слово, которое и ныне щекочет мое гастрономическое чувство. Слово это – подпалки. Кто не ел подпалок, тот достоин самой глубокой жалости. Подпалками мы называли пресные ржаные лепешки, выпекавшиеся у любого доступного огня. Мы пекли их на буржуйке. Боюсь быть неточным, но кажется, что плоские куски теста клали прямо в огонь, на поленья. Впрочем, не исключено, что ставили туда сковородки или жестяные подложки. Важно лишь одно: из печи извлекались темные лепешки, расцвеченные обугленными бугорками, с хрустящей корочкой, извергавшие на изломе густые клубы пара и убийственно-одуряющий запах.

Вряд ли кто-нибудь решится допустить, что за всю последующую жизнь мне не пришлось отведать никаких деликатесов, никаких плодов высокого кулинарного искусства. Но я беру на себя смелость утверждать: подпалок, на котором томится кусок сливочного масла, есть самое высокое достижение, самое совершенное произведение мировой кулинарии. Мне посчастливилось видеть подпалки, даже есть их, более того, есть с маслом; был такой незабываемый эпизод в моей ничем не примечательной биографии.

Я не берусь описывать жизнь нашего города во время недолгого „польского“ периода. Возьми я на себя такую задачу, конфликт с исторической наукой был бы неизбежен.

Что мог я видеть из окна нашей подольской квартиры?

Какая информация могла быть получена в этих условиях? Да никакая. А если она и поступала, то сохранить ее в памяти мне бы, конечно, не удалось.

Окно есть окно. Пространство, жестко ограниченное рамой, износившимся, покрытым плешивой древней краской деревом. Кое-что, конечно, зорким глазом можно бы и увидеть, но этого совершенно недостаточно для истории. И все же нашлась капелька и для нее. Всего лишь капелька, но капелька историческая. Именно историческая.

— Что вы теперь скажете, господин Генин? Это таки власть! Теперь, надеюсь, вы уже спорить не будете, это все-таки власть! А вы видели армию? Видели этих офицеров? А лошади? Сразу видно: Европа! Культура! Не ваши вшивые голодранцы. А кто кого выгнал? Кажется, уже ясно.

Нетрудно догадаться, кому принадлежал этот поток реплик с восклицательными и ядовитыми вопросительными знаками.

Могилянский мерил шагами комнату, по обыкновению потирая руки с такой энергией, словно осушал их жестким полотенцем. Его круглая голова, сидевшая прямо на плечах, вращалась во все стороны, как у резвящейся на ветвях синицы.

Отец стоял у окна и, видимо, не желая вступать в спор, изображал сосредоточенное внимание. Могилянский не унимался, всячески пытаясь раззадорить его, как это делают боксеры в начале схватки. Но отец не поддавался, и это выводило толстяка из терпения.

— Что же вы молчите? Власть это или не власть, повашему? Или вам больше по душе комбеды, совдепы и домкомы?

И вдруг отец отошел от окна. Он приблизился вплотную к опешившему от неожиданности Могилянскому и зловещим, гневным, но тихим голосом проскандировал:

— Идите к окну и полюбуйте на вашу власть. Вы там увидите вашу Европу и культуру, вы, любитель порядка...

Мы бросились к окну. Я, конечно, не сумел сразу

понять и тем более оценить того, что увидел. Но Могилянскому все стало ясно с первого взгляда. Лицо его внезапно налилось кровью, а глаза, казалось, вот-вот выпрыгнут наружу, как у вареного окуня.

Я увидел прижавшегося спиной к двери запертого киоска высокого, белобородого старика. Казалось, он хотел продавить доски своим телом, так сильно упирались в землю согнутые в коленях ноги. Его белая борода была всклокочена и разметена.

Старика окружала группа улан с разнузданно-озорными лицами. Тех самых, что так ловко гарцевали по Крещатику. Они приплясывали, выкрикивали что-то, чего я понять не мог, и все теснее сдвигались вокруг застывшего от ужаса старика. Один из них, видимо, главный затейник, что-то заталкивал ему в рот. Все могло бы сойти за веселую шутку, но отчаяние на лице несчастного не оставляло сомнений в том, что здесь не шутили. Даже меня, не понимавшего сути происходящего, охватил ужас.

– Папочка, папочка, что они ему делают? Что они ему суют в рот? Папочка, папочка, скажи им, скажи, пусть не трогают дедушку! Скажи им, папочка, скажи! Скорее! – кричал я, заливаясь слезами. Я хватал отцовские руки, дергал за полы пиджака и все кричал, кричал: скажи им, папочка, скажи скорей!

Отец ударом кулака распахнул окно.

– Облыште старого, панове! – выкрикнул он незнакомым мне властным, громким голосом. – То бардзо не добре, панове, то ж е стара людына! Майте сором, панове!

Солдаты замерли на миг и повернулись, взглядами разыскивая говорившего.

– То есть жид, пап, жид, не людына!

– Облыште, кажу вам, панове! Я буду скаржитись пану начальнику! Чуєте.

Трудно сказать, что остановило солдат. Может быть, угроза? Мало ли как посмотрит начальство на их забавы в чужом городе! А может быть, они просто по-человечески одумались, взглянули на себя со стороны? Только

интерес к недавнему развлечению явно пропал. Предводитель бросил к ногам старика таинственный для меня предмет, и все они, обнявшись, стали удаляться, горлая какую-то залихватскую песню.

Отец, конечно, мог теперь взять солидный реванш. Могилянский стоял ни жив ни мертв. Но отец не произнес ни слова. Он был мертвенно бледен. Я видел, как он часто дышал, как дрожали его руки. Не легко далась ему эта победа. Не над солдатами. Над собой. Беспечно рискуя, он подвергал опасности не только себя, но и всех нас, включая Могилянского. Но он сумел побороть в себе все это и победил. И я благодарен ему за эту победу.

Что я тогда понимал? Мало, если не сказать больше. Не понимал я, что совали старику в рот сало, а если бы и знал о сале, то не осмыслил бы всего, что стояло за этим унижающим, варварским насилием. Не понимал я, конечно, и того значения, которое придавали совершившемуся и отец, и Могилянский. Не понял я и самого главного. Не осознавал я своей роли в происшедшем. Теперь я знаю, что только я, один я, своими слезами и криками „скажи им, папочка, скажи“ вынудил отца сделать этот рискованный шаг. И быть может, он так же был благодарен мне, как был благодарен ему я.

Теперь я понимаю все. Через всю свою сознательную жизнь я пронес память об этом дне, дне, в который мне был дан нелегкий урок мужества и человеческого достоинства. Я всегда вспоминал отца, когда мне приходилось оказываться в подобной ситуации. Вспоминал всегда. Поступал так не всегда. И боль от этого сознания живет во мне. Она непреходяща, эта боль.



И еще один момент у окна сохранила моя память: уход, впрочем, не уход, а бегство польских войск. Бегство поспешное, позорное, если соотнести его с таким недавним торжественным их вступлением на наш Крещатик.

Снова за окном двигались всадники в чудных угловатых

фуражечках, а с ними офицеры в хорошо пригнанных мундирах. Но были они теперь не такими, как те, что целовали дамские ручки, принимая цветы. Шеи их лошадей не были так круто изогнуты, они были прямы и, казалось, с натугой несли понурые, длинные головы. Ни на цирковых, ни на игрушечных они теперь не походили. Офицеры выглядели помятыми, не трепетали за их спинами заливчатские плащи. Теперь не было ни цветов, ни улыбок, ни нарядных дам, ни приветственных возгласов. Никто не говорил по-польски. И мальчишки не висели гроздьями на фонарях. Не было и веселого солнца в ярком небе, хотя это никак уже не зависело от настроения людей. Но его не было, солнца.

А самым впечатляющим, крепко засевшим в моей памяти, я бы даже сказал символическим, был завершивший шествие эпизод.

Уже протарахтели мимо нас пушки, телеги с какими-то ящиками и тюками, походные кухни. Двигались на рысях, и грохот поэтому стоял изрядный. На короткий момент улица опустела, затихла. И вдруг снова послышалось тарактение. По улице мчалась одинокая повозка, грохоча так, как грохочут мальчишки, совершая групповой выезд с железными обручами, — спорт, популярность которого в те годы не имела себе равной.

Мне не сразу удалось уловить причину и этих ошеломляющих звуков, и необычности поведения самого экипажа. И вдруг я понял: телега была о трех колесах! Одна ось своим концом елозила прямо по булыжной мостовой. Растерянный возница, пожилой бородатый солдат, ежесекундно оборачиваясь, поглядывал на место, где не так давно находилось колесо. В нем, надо полагать, насмерть боролись два чувства: чувство самосохранения и служебного, профессионального долга. Но, видимо, побеждало первое, и он все хлестал и хлестал взмокшую, измученную лошаденку.

Так, с непрерывно взвивавшимся, хлопающим кнутом, он вскоре скрылся с моих глаз.

ОПЯТЬ КРАСНЫЕ

Может быть, все произошло ночью, а может быть, подвела меня память, но прихода красных войск, прогнавших поляков, я не запомнил. Во всяком случае, в последующие дни я уже знал, что в городе установилась советская власть и что в нем снова царят тишина и порядок, хотя нервы у всех были еще напряжены. Опасались банд, боялись громил, грабежей, поборов. И просто боялись. По традиции. Привычным, неизбывным, как старческий ревматизм, страхом.

В домах были организованы своего рода дружины, и отец часто дежурил по ночам у ворот в обнимку с винтовкой. Но банды и громилы так и не появились. Вообще ничего угрожающего нашему благополучию не происходило. Разве что ночью раздавались крики и хлопали выстрелы. Но это бывало редко, и большой тревоги не вызывало.

Чувствовалось, что новую власть приняли всерьез, хотя и без большого восторга. Теперь стены и дверные запоры вселяли уверенность и спокойствие. На улицах снова сталолюдно. Открылись лавчонки, магазины, ларьки, ожили базары. Появилось множество разносчиков. Они бродили по улицам, стояли у домов, прислонясь к стенам, сидели на оградах скверов и на бровке тротуаров, уютно устраивались на ступеньках подъездов.

Торговали мужчины и женщины, старые и молодые, торговали подростки и мелкая детвора. Чем только они не торговали! На лотках или просто дощечках, укрепленных на груди перекинутым через шею ремнем, лежали папиросы, врассыпную и в упаковке, продавались конфеты, кустарного изготовления ирисы и дробсики (так называлось драже), спички и бублики, яблоки и блины, кремни для зажигалок и примусные иголки.

Торговля шла довольно бойко. Классическая операция по обращению товара в деньги и денег в товар подхлестывалась неизвестной до сих пор классикам экономической науки чудовищной, стремительно-неуловимой инфляцией. Утром – сотни рублей, днем –

тысячи, следующим утром – десятки тысяч, а к вечеру уже сотни... Дальше пошли уже в обращение миллионы или „лимоны“, как они тогда именовались. Деньги обесценивались за то время, которое протекало от момента их получения до водворения в карман.

Родственница моего отца, женщина еще не старая, но болезненная и высохшая, как вяленая тарань, тоже пустилась в торговлю. Лишившись мужа, погибшего в войну, не зная ничего, кроме домашнего хозяйства, она усмотрела в новом занятии единственное свое спасение.

Отец соорудил ей лоток принятого образца, и она пополнила многолюдное сообщество таких же нищих искателей счастья.

Торговала она самодельными папиросами, махоркой и нюхательным табаком. Не знаю, как шла торговля у других. Но наша тетя Фаня находилась постоянно в состоянии безнадежного банкротства. Приходя к нам, она с громким плачем извлекала из укромного места груды бумажных денег и с отчаянием швыряла ее на пол: выручка за весь день к вечеру не стоила и одной самой поганой папиросы.

Денежная эпопея была одной из любопытнейших гримас на лице этого уникального периода современной истории. Ни одна сфера общественного производства не знала такой лихорадочной и плодотворной деятельности. Видимо, создавать и печатать все новые и новые картинки было проще, чем изготавливать отдельные купюры. Да и времени было в обрез; деньги обесценивались еще на печатном станке. Так и поступали они в обращение листами. Как в наши дни газеты, так эти листы широко использовались для домашних надобностей. Ими застилалась полки, столы, табуреты, они служили для интимных нужд и обертки покупок. Наконец, на них писали. Даже сшивали тетради. Очень даже неплохие тетради, в которых я, уже безбоязненно, рисовал красных собак, лошадей и крыс. Красно-синие бухгалтерские карандаши нам почему-то попадались чаще обычных, черных.

Мне, конечно, было жаль тетю Фаню. Но жалость моя

была неосмысленной. Человек плачет, значит что-то с ним неладно, и нельзя ему не посочувствовать, но сути постигшей ее беды я не понимал. И когда тетя Фаня, успокоенная ласковыми словами, чашкой чая с сахарином и порцией картофельных оладий, закрывала за собой дверь, мы с Вовкой, забыв обо всем на свете, принимались за сортировку и изучение оставленного ею богатства.

Кроме торгового бума, денежных листов и уже забытого электрического света, этот период для меня отмечен еще примечательными особенностями моды.

Исчезли нарядные женщины с их затейливыми шляпами, не стало щеголей в котелках с тростью в руке или под мышкой. Одежда теперь, кроме первозданной библейской функции – прикрывать наготу, выполняла другую, не менее важную: опростить, опролетаризировать ее владельца.

Зато пестрыми, броскими, как оперение американских попугаев ара, стали костюмы военных. Сравнение с попугаем относится, в первую очередь, к нижней части наряда: брюкам, вернее, к галифе, как они именовались тогда.

Не представляю себе, где добывались в то нищее время ткани, шедшие на изготовление этих шедевров. Такого пронзительного, будоражащего красного цвета не увидишь и в наши дни.

Не уступал цвету по силе своего воздействия и покрой этих изделий. Опытный глаз мог здесь уловить даже эволюцию, поскольку встречались и начальные, и последующие переходные формы.

Исходной моделью были, конечно, солдатские шаровары, имевшие по бокам, у карманов, легкую выпуклость. Именно в этой выпуклости был усмотрен особый шарм, и постепенно под нажимом моды она разрослась до гигантских размеров, заострилась, обвисла и приобрела сходство с козьим выменем. Над такими ухарскими шароварами, как правило, можно было увидеть черную кожанку, накрест перетянутую ремнями. На одном боку – кобура, на другом – сабля. Лихость

наряда подчеркивала фуражка с крошечным, изогнутым и прижатым ко лбу козырьком. До бескозырки оставался один шаг. Но он сделан не был. Фуражка осталась сама собой. Иногда, когда тому способствовало время года, фуражку сменяла лохматая папаха с таким же, как и галифе, ослепительно-красным верхом.

Молодцы в таком наряде передвигались твердым, печатающим шагом, браво позванивая шпорами и привлекая к себе столь же уважительное внимание, как автомобиль или рокотающий в небе самолет. Кстати, и тот и другой еще воспринимались большинством как чудо.

Конечно, таким дурачкам, какими были мы с Вовкой, все это нравилось, все вызывало у нас интерес и любопытство. И очень нескоро мы стали понимать, что было то время не интересным и любопытным, а страшным. Недаром вошло оно в историю под названием „военного коммунизма“, названием, которое долго еще вызывало дрожь у всех порядочных людей.

В ДОМ ВХОДЯТ НОВЫЕ ЛЮДИ

Нет нашей Луши. Ушла. Собрала в узелок свои вещички, поплакала, попричитала, со всеми расцеловалась и ушла. Прощание было трогательным и грустным. Мы все любили нашу Лушу, и она любила всех нас.

Она возвращалась в свою деревню, где жили ее мать и брат-инвалид. На войне он потерял ногу и теперь настаивал на Лушином приезде. Хотела ли Луша возвращаться в родной дом? Я был уверен, что туда влекут Лушу злые силы, вопреки ее воле. Ей жилось у нас хорошо. Наш дом был теплым домом. И не только потому, что топились печи. В нем было тепло и тогда, когда топить было нечем, а разбитые окна затыкались тряпьем и забивались фанерой.

В нашем доме все были равны, все думали и заботились не только о себе, но и о других. Привилегии получал лишь нуждавшийся. Больной ел и пил то, чего не получали здоровые. Утомленный получал заслуженный

покой, которого не имели другие. И так всё. И так все. Никаких исключений. Никакой иерархии. Мать, отец, прислуга, дети – все равны. Закон был один для всех. Закон справедливости. Отсюда и то ровное, благодатное тепло, в котором пребывал каждый и Луша в том числе.

Как я жалел Лушу! Мысленно я переносил себя в ее деревню. О том, что такое деревня, я знал только по картинкам. Лушин дом виделся мне ветхой развалюхой, какая была изображена в сказке о золотой рыбке. И мать Луши я воссоздал из образа старухи у разбитого корыта и бабы-яги. На брата я тоже израсходовал немало черной краски. Почему-то он рисовался мне бородатым и стриженным „под горшок“, вечно кашляющим, смешно прыгающим на своей деревяшке. Он постоянно ворчит и чуть что замахивается костылем. Бедная Луша! Такая добрая и красивая! Как она будет там жить? Ведь у нас так хорошо! И все ее любили: мама, папа, мы с Вовкой и дядя Степан. Но все, как известно со времен царя Соломона, проходит. И тоска по Луше тоже. Тем более, что ее вскоре заглушили новые события.

Опустел Лушин уголок в кухне. Но еще и месяца не прошло, как однажды бросил нас к двери яростный, оглушительный звонок.

Самым распространенным в то время был никелированный звонок с узорчатым диском и надписью: „Прошу повернуть“. Стоявший за дверью весьма усердно выполнял эту просьбу. Только распахнутая дверь смогла оторвать его от беспокойного занятия.

Дверь открыла мать, явно готовая к тому, чтобы высказать свое мнение о поведении неизвестного. Но она не сказала ни слова.

За дверью стояла закутанная до глаз в огромный рваный платок непонятная человеческая фигура. Платок прикрывал ее голову и в какой-то мере заменял если не платье, то по крайней мере кофту. Непокрытыми оставались лишь ноги до колен. Несколько мгновений прошло в полной тишине. Но вот фигура стала издавать звуки:

– Тетечка, вам не треба полы помыть, чи воды натаскать, чи хату помазать, чи дрова порубать? –

высоким, девичьим голоском запричитала она. – Я усе можу, геть чисто усе! И борща або кашу зготовить, якщо е з чого. Ей-Богу, тетечка!

Она сдвинула платок, открыв невысокий, но какой-то удивительно ясный лоб над большими и тоже очень ясными голубыми глазами. Они глядели выжидательно и тревожно.

Мать рассматривала ее и что-то соображала.

– Заходи, деточка, – наконец сказала она, – заходи, поговорим.

– Так треба вам щось? Я усе чисто можу... – зачастила она, продолжая стоять за порогом. Мать прервала ее, притянула за руку и закрыла дверь. Мы все направились в кухню, где гостя после некоторого сопротивления была усажена на табурет.

– Звать тебя как, милочка? – начала знакомство мать.

– Галя, Галя я, Будченко, – постепенно смелея, заговорила девушка. И уже не дожидаясь вопроса, затараторила: – Я з села втикла, бо вже не можна було, вже...

– Что не можно? – перебила ее мать.

– Ничого не можна, житы не можна, бо не було вже шо исты. Усе чисто поилы: и собак, и котив, и горобцив, усе чистесенько.

– Кто же у вас в селе остался? Родители, братья, сестры?

– Матка е, батька ще на вийни вбылы, сестра втикла, а брата зылы...

Девушка теперь совсем освоилась. Она сбросила платок и была вся на виду. Тельце ее высохло, насколько было возможно. Резко выступали скулы, придавая лицу монголоидные черты, а шея была не толще руки, и, казалось, сквозь кожу просматривались позвонки. Робость окончательно покинула ее: она совершенно неожиданно и неуместно широко обнажала в улыбке мышиные зубки, а в особо, с ее точки зрения, курьезных случаях подавляла смех, закрывая рукавом лицо. То, что „брата зылы“, она, видимо, относила именно к таким случаям, и это было жутко.

– Как это съели! - содрогнулась мать.

– От так и зылы. Вин лежав на печи зовсим кволий, такой вже кволий, зовсим, зовсим никуда. От його зняли з печи и зылы... – она звонко расхохоталась и спрятала лицо в грязном рукаве.

Расспрашивать о подробностях никто не решился, и процедура знакомства на том была закончена. Лушино место заняла Галя. Это было совершенно удивительное существо. Нас с Вовкой поражало в ней все, и мы с изумлением вели за Галей почти круглосуточное наблюдение. Общение с ней доставляло нам массу удовольствия. Без большого труда удавалось смешить, веселить и удивлять ее. Мы, таким образом, получили возможность считать себя весьма остроумными, веселыми и мудрыми, что очень нам льстило. Галя смеялась без умолку. Выражение удивления, восхищения и восторга не сходило с ее лица. Было очевидно, что, кроме своей деревни, своей хаты и самой примитивной утвари, она не сталкивалась ни с чем, не видела ничего, а слышала еще меньше.

Обои на стенах, щипцы для сахара, кухонная терка, оборудование уборной поражали ее так, как поражали полинезийцев книги и карандаши Миклухо-Маклая. Клозет так потряс ее воображение, что привыкнуть к нему она не могла длительное время. Не то она страдала исключительной брезгливостью (общий унитаз), не то, напротив, считала свое тело недостойным такой высокой чести, но факт, что при надобности она выбегала во двор, и мать потратила немало сил, чтобы отучить ее от этого. В чисто эстетическом отношении ей многого не доставало, и вся стена у ее постели была увешана этикетками от конфет, пива и брокеровского одеколona. Поскольку все эти предметы в нашем доме бывали редко, Галя тратила на их раздобывание немало энергии. Но без них она жить не могла. Красота, пусть в дикарском понимании, была ей необходима, как кислород. Но в целом Галя нам нравилась. Больше всего – своим неизменно веселым, добрым нравом. Ее смех и песни звучали от зари до зари, как пение луговых птиц.

Все это пришло к ней, конечно, не сразу. Первое

время ее энергия была целиком направлена на восстановление истощенного тела. Ела она все без исключения, подбирая самые жалкие отстатки. Она вылизывала после нас посуду, утилизировала крошки, до кровотечения из десен и рискуя разрушить зубы, разгрызала и высасывала кости.

Голод в те дни был уже далеко позади, и питались мы по тем временам вполне пристойно. Даже мясо перестало быть редкостью. Не слишком его бывало много, но и большого дива оно собой не представляло.

В жизни не приходилось мне встречать живое существо, столь эффективно использующее продукты внешней среды. С непостижимой быстротой все без исключения поглощаемые Галей вещества преобразовывались в ее тело. Эти количественные изменения вдруг, как и следует по законам диалектики, перешли в качественные, и вскоре мы увидели нашу Галю в новом свете.

– Где вы разыскивали такую красотку? – спросил как-то один из наших гостей.

– О чем вы говорите? – не поняв вопроса, переспросил отец. И тут же спохватился.

– Ах, вы о нашей Гале? Вы так ее расцениваете? – он был искренне удивлен.

Но Галю так и следовало расценивать. Она пополнела, округлились ее лицо и бедра, заполнилась, как тому положено, кофточка на ее груди. Ярко окрасились щеки и губы. Она была, если не красива, то несомненно привлекательна. По крайней мере, с мужской точки зрения. Не хочу развивать этой темы. Не мой профиль. Но справедливости ради скажу, что в мои 5 или 6 лет такая точка зрения была мне не чужда. Галя беспокоила меня, вызывала какое-то болезненное томление. Оно тревожило меня, но куда его направить, что с собой делать, я не знал. Это так, к слову, как говорится. А вообще-то и ни к чему. Галя не сыграла в моей жизни значительной роли. Но я помню ее и не только как прислугу. У нас в семье не было такой должности. Она была членом семьи. И называли ее только на „вы“, как всех

находящихся в услужении, постоянно или временно, без исключения. Отношения определялись только личными качествами. Полное равенство. Как в Великом документе: „Все рождаются равными...“

Галя, как я уже упомянул, не сыграла видной роли в моей жизни, это выпало на долю другой, совершенно иной по своей природе личности, фрейлейн Екатерины Ивановны. Отношение мое к ней неимоверно сложно. Этаким непостижимо противоречивый конгломерат разнородных, иногда взаимоисключающих чувств. Не раз я пытался разобраться в них, привести в какой-то удобный для себя порядок. Но это никогда не удавалось мне. И прежде, и теперь.

Как попала она к нам, где ее встретила и почему взяла в дом моя мать – не знаю. Не помню. Но где-то все-таки нашла. Думаю, однако, что инициатива здесь принадлежала не матери. Она, Екатерина Ивановна, наткнулась на нее, наткнулась в трудный для себя час, и мать уже не оставила ее в беде. А беда была.

Ей было, как и Гале, около 18 лет. Может быть, чуть больше. Она не была так истощена, как наша Галя, и вряд ли в ее семье покушались на родственников как на пищевой продукт. Но выглядела она не лучшим образом. Екатерина Ивановна носила дурацкую фамилию Подрядчик, хотя была не русской, а латышкой, по крайней мере, по документам. Как это получилось, сказать трудно. Фамилия русская, сама латышка, но родного языка не знала. Жила в Риге, но говорила по-немецки. Мать ее была немкой или родом из Германии, но сама Екатерина Ивановна там не жила. Говорила она на ломаном русском, подмешивая немецкие и латышские слова. Ее немецкий был далеко не безупречен, что я понял позже, когда стал изучать этот язык.

Если сравнивать Екатерину Ивановну с Галей (сравнение совершенно произвольное, по чисто территориальному признаку), то по всем статьям перевес был на стороне Гали. Екатерина Ивановна была мала ростом и худа не от истощения, а по своей природе. За все долгие годы, что жила она у нас, ее вес не увеличился ни на

один грамм. И это, несмотря на страстное желание пополнить и соответственно предпринимаемые титанические усилия. Вопрос о питании в семье уже не стоял, и она поглощала все, что, по принятому мнению, должно было довести ее до желаемой кондиции. Главной целью ее жизни было замужество, и полноту она рассматривала в качестве самого действенного для этой цели оружия, суждение, с моей точки зрения, вполне основательное. Характер Екатерина Ивановна имела железный и своим организмом управляла твердо и безжалостно. Если для его блага требовалась особо изощренная, жестокая диета, если она узнавала о пользе утренних и вечерних холодных обтираний или о каких-то целительных, но нестерпимо тошнотворных лекарствах, то все это выполнялось и принималось ею неукоснительно. Чем бы ей это ни грозило. Натура ее была сурова, как крещенский мороз.

Однажды кто-то сказал, что вся ее беда – в недостатке железа. Сама ли она додумалась или это тоже было ей подсказано, только с того дня все жидкие блюда она предварительно настаивала на мелких гвоздях. Вскоре зубы ее почернели, что было единственным четким следствием такой диеты. Но Екатерину Ивановну это не остановило. Только зубы она стала чистить по нескольку раз в день, а гвозди еще долго составляли важную часть ее рациона. К счастью, большого вреда они ей не причинили. Зато холодные обтирания, рекомендованные ей врачом, едва не свели ее в могилу. Врач сказал „холодные“, но он не знал нрава Екатерины Ивановны, иначе не стал бы давать столь беспечно свои советы. Она поняла это по-своему. Компромиссы были не в ее характере. Холодное – хорошо, но чем холоднее, тем лучше. Дважды в день она приносила таз, наполненный снегом, и плескалась в нем, как утка, если дело было зимой. Летом она ходила с ведрами за два квартала, где был колодец с водой, не многим уступавшей снегу по своей температуре. Ею она обтирала свое желтое, в пупырышках тело и поливала из кружки костлявую спину. Смотреть на нее в это время было невозможно. К счастью, после жестокой простуды, свалившей ее на

целый месяц, она уgomонилась. Да и то лишь по твердому требованию матери. Что касается прочих достоинств Екатерины Ивановны, то одно было бесспорно: красота, даже заурядная привлекательность к ним не относились. Лицо ее было изрядно побито оспой, нос велик и напоминал пирамиду из набора пособий по геометрии. Он начинался у лба острым гребнем и, равномерно расширяясь, спускался ко рту. На совершенно ровной, словно отрезанной ножом, нижней грани, располагались столь же геометрически правильные треугольники ноздрей. Вершины их были так остры, что, казалось, рассекали кончик носа. Ноздри с острым верхним углом я уже тогда связывал с характером зловредным и опасным, чему действительно впоследствии встречал немало подтверждений. Но возникновением этой физиономической теории я, несомненно, обязан Екатерине Ивановне.

Меня не раз поражало, как мгновенно, лишь при взгляде на новое лицо, уже определялось мое к нему отношение. При этом решающую роль играли самые ничтожные, самые, казалось бы, незначительные детали. Какая-нибудь морщинка у глаз или носа, изгиб ноздри, толщина кончика носа создают для меня неуловимую картину, за которой уже видится характер, а отсюда и определенное отношение к носителю этих черт. Порой я думаю, что все это вздор. Но я не раз убеждался в том, что наблюдения, которые невольно ведутся мною с самого раннего детства, не лишены достоверности.

Справедливости ради должен упомянуть и о том, что во внешности Екатерины Ивановны было хорошо. Даже на редкость хорошо. Такими были ее волосы. Они сверкали и переливались всеми цветами, какие свойственны только что извлеченному из кожуры семени конского каштана. От красновато-золотистого до рыжевато-коричневого. Длиннущая, в руку толщиной коса, уложенная высокой башней, могла бы служить ни с чем не сравнимым по своей яркости украшением. Но, по крайней мере в моих глазах, это качество Екатерины Ивановны никак не искупало ее недостатков. Она была злюка, в полном соответствии с формой ее ноздрей. И глаза ее были

злыми. Маленькие, острые глаза забияки, глаза хищника, уже решившегося на прыжок. Не знаю, кто и как воспитал ее в столь последовательно выдержанном солдафонском духе. В облике женщины, пусть даже не слишком женственной, в наш дом вошел фельдфебель самого необузданного нрава. Звали ее у нас, конечно, не полным именем. При знакомстве она назвала себя по-немецки Кейте. Но так звать ее было неловко, и закрепилось за ней, в конечном счете, ласковое „Катеринушка“. Так звала ее мать. Отец путем сложных лингвистических эволюций сократил имя до предела. Будучи настроен благодушно, он шутливо называл ее Кац. В иных случаях – полным именем, и тогда это звучало, как призыв к порядку. Нам с Вовкой велено было величать ее фрейлейн Кейте. Так мы и звали ее до нашего повзросления и перехода на полное имя.

Родители держали в доме Екатерину Ивановну не ради ее чудо-косы. Она занимала место гувернантки, фребелички (выпускницы курсов, готовивших по системе известного немецкого педагога Фридриха Фребеля), как тогда называли эту должность, хотя я уверен, что это слово мало кто понимал. Поскольку Екатерина Ивановна изъяснялась только по-немецки, польза от нее была очевидна. Вскоре и мы с Вовкой стали лопотать на ее прибалтийском жаргоне. Говорить между собой по-русски нам запрещалось настрого, обстоятельство, сыгравшее печальную роль в наших братских отношениях. Мы говорили с ней по-немецки, строй языка был нами усвоен основательно, и мне это в дальнейшем очень пригодилось. Любопытно, что когда я уже наново изучил язык по хорошим книгам, прибалтийский выговор мною утерян не был. Немцы, с которыми мне приходилось общаться, тотчас признавали во мне выходца из Прибалтики.

Наши отношения с фрейлейн Кейте вполне соответствовали ее нраву. Мы были новобранцами, она – служакой-фельдфебелем. Муштра была безжалостна и нелюбезна. Воспитание строилось на одном неспиаемом принципе: приказание и немедленное, точное его

выполнение. Выполнение непререкаемое, неукоснительное, не знающее ни отклонений, ни смягчения. Бить она нас не смела, но было очевидно, что стоит ей такая сдержанность немало. Зато языку своему она давала полную волю. Благо, ругала она нас по-немецки, что на окружающих не производило никакого впечатления. Весь день мы выполняли ее команды. „Личного“ времени не было. От момента утреннего пробуждения до вечернего сна мы получали и исполняли приказы.

– Aufstehen! Schnell! *) – утром. И мы соскакивали с постели.

– Waschen! **) – и мы бежали в ванную. Все процедуры проделывались под неусыпным контролем. Недостаточная интенсивность в применении зубной щетки или мыла влекла за собой повторение всего комплекса. И мылись и чистились мы яростно. Принцип неотвратимости наказания из юриспруденции перекочевал в наш дом и действовал без осечки.

Не знаю, правы ли были родители, но воспитательная система Екатерины Ивановны ими, по крайней мере внешне, поддерживалась. А если иной раз мать пыталась вступить за нас, то получала сокрушительный отпор. Раз приказ отдан, его следует выполнить. Полностью и без всяких отклонений. Бывало, мы уже в постели, а ботинки остались не вычищенными. Фрейлейн тут как тут.

– Aufstehen! Stiefel putzen! Schnell! ***) И она срывала с нас одеяла.

– Катеринушка, дети спят, пусть уж до утра... – молила мать с заискивающей улыбкой. Но Катеринушка на нее – ноль внимания.

– Stiefel putzen, marsh! ****) – повторяла она еще решительнее. Глаза ее из карих делались черными, а брови смыкались на переносице.

*) – Встать! Быстро! (нем.)

**) – Умываться! (нем.)

***) – Встать! Почистить ботинки! Быстро! (нем.)

****) – Чистить ботинки! Марш! (нем.)

И мы подчинялись. Безропотно, покорно. Наша вина была очевидна, и протестовать не имело смысла. Как мы порой люто ненавидели ее! Какие изуверские способы мести рождались в наших мечтах! Но все шло своим чередом. Не год. Не два. Екатерина Ивановна не покидала нас, и мы потеряли ее уже во время войны.

И все эти долгие годы, хотя были мы уже взрослыми парнями, сохранялся в нас внушенный в детстве страх перед ее колючими ноздрями и такими же черными глазками. Она многому научила нас. Не только примитивному, искаженному немецкому языку. Она научила нас бездумному подчинению, искусству подавлять свои чувства. Она показала мне, будущему педагогу, как опасен и вреден, как губителен метод воспитания, основанный на страхе. Я многому научился у фрейлейн Кейте и часто ее вспоминал. Закончив полный курс по ее системе, я твердо усвоил все, чего не следует делать. Ее отвратительный метод лег в основу моих педагогических принципов, но в перевернутом виде. Она делала так, значит следует делать обратное. И я так делал. По крайней мере старался делать. Но бывали и срывы. Очень тяжело в этом признаться. Они бывали, когда дело касалось моих собственных детей. Только собственных. Она же уродовала чужих. Но буду справедлив. Будь у нее свои дети, чего, к счастью, не произошло, она также, даже с еще большим рвением, калечила бы их. У меня на этот счет нет ни малейшего сомнения. Такой уж это был человек.

Но как среди раскаленных песков пустыни вдруг проглянет свежая зелень оазиса, так и во мраке наших отношений с фрейлейн Кейте, бывали хоть и короткие, но светлые мгновения. В эти редкие мгновения между нами заключалось негласное перемирие. Наши отношения становились дружескими, даже нежными. Так бывало в единственном случае, когда фрейлейн заболела. Незабываемые дни. Болезнь подтачивала твердыню ее нрава. И он рыхлел, оседал, размягчался, разрушая всю твердокаменную конструкцию ее фельдфебельской натуры. В такие дни она оставалась в постели и охотно

позволяла домашним ухаживать за собой. Голос ее терял свою твердость. В нем начинали доминировать просительные, покаянные интонации, и это производило на нас с Вовкой тягостное впечатление. Слишком велик был контраст. Мы искренне жалели ее. Не только жалели, но и прощали. Видеть ее в таком беспомощном, не свойственном ей состоянии было невыносимо. Пусть бы все было как прежде. Пусть свирепствует, но пусть не подавляет нас своей покорностью, не будит в нас мучительного сознания не то вины, не то жалости. Видимо, не так легко сокрушить и извратить гуманные чувства, изгнать доброе начало, даже обладая ее дарованием. Не простое это дело.

Итак, лежа в постели, предельно упавшая духом и телом, фрейлейн уже не могла противостоять нашим желаниям. А они были ей известны. Здесь уже действовала традиция. С благоговейным выражением на рябом лице она извлекала из-под подушки черную лакированную шкатулку и предоставляла ее в полное наше распоряжение. Как Ковчег Завета, бережно, с дрожью в руках, принимали мы это неизменно волнующее нас хранилище, видимо, очень дорогих ее сердцу реликвий. Содержимое шкатулки состояло из предметов, связывающих фрейлейн с родительским, навсегда потерянным домом, словно горсть земли с далекой родины. По своему разнообразию предметы могли соперничать с содержимым карманов Тома Сойера. Чего тут только не было! Мы набрасывались на шкатулку с жадностью и нетерпением грабителей, дорвавшихся до сундуков богача. Сокровища одно за другим извлекались из шкатулки и раскладывались тут же на постели. Здесь были нитки разноцветного бисера, разрозненные предметы маникюрного набора, нательный крест на бархатном шнурке, золотой медальон с портретом женщины, такой же некрасивой, как фрейлейн Кейте, и с такой же башней на голове. Во множестве имелись самые разнообразные, весьма причудливые пуговицы, куча открыток с изображением дам в огромных шляпах и сильно декольтированных платьях. Еще больше было открыток, где в разных позах можно

было увидеть усатых молодцов, одетых во всевозможные униформы. Но все это еще не было сказкой, которая, как мы знали, была впереди. Сказка же состояла из набора фарфоровых яиц, размером с воробьиные, и среди них – венец творения и наших желаний – большого яйца. По размеру оно соответствовало голубиному, но по цвету, форме и изяществу отделки не имело себе, как нам казалось, ничего равного.

И тогда, и в воспоминаниях теперь я не перестаю восхищаться красотой этих безделушек. Окрашенные в белый, розовый, голубой и кремовый тона, инкрустированные серебряными и золотыми нитями, с затейливыми узорами, они представлялись нам подлинным чудом. Как мастерски были они сделаны, как ловко задуманы! Мы подолгу держали в руках каждое яйцо, упиваясь их прелестью, лаская пальцами и глазами.

Я понимаю, что это были, повидимому, недорогие безделки, атрибуты семейных пасхальных торжеств, предметы ширпотреба бюргерского быта. Но это ничего для меня не меняет. Они навсегда сохранились в моей памяти, как маленькие шедевры из чужого, далекого, нереального, очень красочного мира.

Болела фрейлейн Кейте обычно недолго. И с ее выздоровлением наступал конец идиллии. Как только на ее ногах „пантофели“ (шлепанцы) сменялись жесткой обувью, а ночная кофта – крахмальной блузкой, она, как науськанный хозяином фокстерьер, набрасывалась на нас. Шкатулка пряталась до следующей болезни, и уже ничто больше не напоминало о коротких, светлых днях. Теперь она вновь была „при исполнении“. Ждать снисхождения не приходилось. Уступок, жалости, сочувствия – тоже. Только так, видимо, фрейлейн Кейте понимала свои обязанности в доме. Так она, по ее понятию, оплачивала жилье, стол, одежду и все, что получала в нашей семье.

У НАС НОВАЯ ВЛАСТЬ

Итак, с установлением советской власти жизнь вошла в свою колею. Вошла – это точно. Но была ли она своей, колея? Та ли это колея, по которой жизнь катилась до Великого Поворота?

Кое в чем – та. А кое в чем уже другая. Новая. Часть тех, которые прежде, совсем еще недавно, были всем, действительно стали ничем. Но не все. И те, что недавно были ничем, далеко не все стали всем. Родились новые человеческие взаимоотношения. И язык, как самый чувствительный орган, отреагировал на них немедленно.

Первыми подверглись суровому испытанию общепринятые обращения. Слова „господин“ и „госпожа“ еще сохранились и употреблялись как прежде. Когда в дом заходил кто-нибудь из наших знакомых и я радостно докладывал: „Бородянский пришел“ – то немедленно получал строгий выговор:

– Что это за „Бородянский“. Пора знать, что воспитанные люди так не говорят, – возмущалась мать, – нужно говорить: – Пришел господин Бородянский.

Так что слово еще жило, но уже из последних сил. Даже материнское нравоучение, как я чувствовал, делалось без прежней уверенности. Тем более, что называть себя барыней она сама теперь не разрешала. Но следовать этому запрету было не так просто. По крайней мере, все, кто пользовался таким обращением, прислуга, дворник и рабочий люд, посещавший нас по разным домашним надобностям, получив такой запрет, решительно не знали, как же следует ее называть.

Постепенно, робко стали пробивать себе путь и утверждаться обращения „гражданин“ и „товарищ“.

„Барыня“ сдалась первой, но „бырышня“ стояла насмерть. И „господин“ сдавался туго. Не для каждого годилось новое обращение. Даже мое, не слишком изощренное в таких вопросах естество, протестовало, когда солидного, пожилого, бородатого человека с золотым пенсне на носу называли „товарищем“. И в этом я был далеко не одинок.

В результате был принят целый ряд компромиссных, замещающих отвергнутые обращения слов. Повсеместно вошли в обиход „месье“, „мадам“, „дама“ (в третьем лице), „мадемуазель“. Неприветливое, жестковатое „гражданка“ было отчасти заменено более приемлемым, ласкательным „гражданочка“.

В общем, такие словарные изменения были несомненными следствиями и спутниками крушения старого мира. Это было знамение, но знамение безобидное, своего рода легкая сыпь на общественном теле, этакая поверхностная аллергическая реакция.

Но были знамения и иного порядка, каковые уже легкой сыпью назвать никто бы не решился. Они тоже нашли свое отражение в словаре, поскольку речь идет о рождении неологизмов, самым заметным из которых было слово „Чека“. Слово грозное, в самом звучании которого слышалось что-то пугающее, напоминающее выстрел. ЧЕ-КА! Произносить это слово старались пореже, но если уже произносили, то всегда понижали голос. Невеселое было слово. Надо полагать, что какие-то мысли и чувства оно будило и у меня, но какие именно, сказать затрудняюсь. Все последующие годы через все мыслимые каналы информации: литературу, кино, радио, телевидение – в мою голову внедрялось твердое убеждение в благородстве, чистоте помыслов и справедливости действий тех, кого называли чекистами.

И это убеждение оказалось достаточно прочным. Оно еще долго сохранялось у меня, наряду с мучительными сомнениями. Но что касается того далекого прошлого – моя вера была незыблема. Не помогали мне справиться с сомнениями и факты. Они были немногочисленны и противоречивы. Но при всем том еще долго мешали мне прийти к окончательному решению, удерживая в безжалостном своем плену.

Я приведу их, эти факты, и пусть они говорят за себя.

Факт первый. Добрый друг нашего дома, дядя Боря, как называли его мы с Вовкой, и господин Верник для всех прочих, был расстрелян в Чека.

Его маленькая, уютная и ласковая, как котенок,

жена, вся в черном, рыдая на груди моей матери, причитала: "Боже мой, Боже мой, за фунт соли! За фунт соли! Неужели это возможно? За фунт соли!"

Да, это было не только возможно, но и свершилось. Дядю Борю расстреляли за фунт соли, при попытке сменить ее на ведро картошки и кусок масла. Его задержали, отвели в Чека и расстреляли в тот же день. Без следствия. Без суда. Закон о спекуляции был суров. Он был учителем, господин Верник. Учителем математики.

– Какой был золотой человек! – хватаясь за голову и раскачиваясь, повторяла мадам Верник. – Какой золотой человек! Голубь, настоящий голубь! Он же за всю жизнь никогда не повысил голоса! Какой был человек! Как все его любили! Все, все! За фунт соли!

Мне захотелось как-то успокоить, подбодрить, сказать ей что-нибудь хорошее. Он был действительно очень добрым человеком. Без конфет для нас, детей, ни разу не переступил нашего порога. Но сказать о конфетах было неловко. Не „по-взрослому“. Это я уже понимал. Вспомнилось, что слышал о нем в доме: дядя Боря был некурящим, и мать часто ставила его в пример отцу, не выпускавшему папиросы изо рта.

– Да, – сказал я, пытаюсь воспроизвести „взрослую“ интонацию, – он был очень хороший человек и никогда не курил. Ни одной папиросы!

Я твердо рассчитывал на одобрение, но мать горько улыбнулась.

– Какой ты у меня еще дурачок! Она провела рукой по моей голове. Я долго не мог понять, почему так низко был оценен мой добрый порыв.

Таким был первый факт. Второй и третий были совершенно аналогичны. Оба подробно обсуждались в семье, но самих пострадавших я знал мало; одного видел несколько раз в нашем доме, другого не видел никогда, хотя и знал понаслышке.

Обстоятельства их гибели ничем не отличались от тех, что так трагически сложились для дяди Бори. Что-то они тоже не то меняли, не то покупали или

продавали. Финал был один. Оба расстреляны в Чека. В день задержания. Тоже без следствия. И без суда.

Конечно, подобных рассказов я слышал немало. Но их во внимание я брать не хочу. Я не только не знал пострадавших, но и самих рассказчиков. А я привожу только достоверные факты. Таких в моем распоряжении — четыре.

Четвертый занимает особое место. Его я решил описать во всех подробностях.

Мы уже спали с Вовкой. Все происходило глубокой ночью. Разбудили меня громкие голоса, какие-то выкрики, смех, хлопанье дверьми и другие непонятные и необычные звуки.

Я вылез из-под одеяла и, путаясь в длинной ночной сорочке, пробрался в столовую. Здесь я увидел мать и отца, оживленно беседующих с совершенно незнакомым человеком. Меня долго не замечали, и я имел возможность рассмотреть неожиданного гостя. Он был невысок, плотен, имел солидное брюшко, вздымавшееся прямо под грудью, и удивительно тонкие ноги. Позднее я понял, что такими их делали солдатские обмотки, стягивавшие ноги, казалось, даже выше колен. Голова его была на редкость круглой, с огромной, сверкающей лысиной, а на широком, веселом лице господствовали мощные казацкие усы. Точь-в-точь как у Тараса Бульбы в нашей книге. Смотреть на него было очень приятно, такими веселыми были его глаза и весь он сам.

Все были увлечены беседой, но гость, наконец, заметил меня. Он вскочил и, оглушительно скрипя ботинками, набросился на меня, как бросается на свою жертву хищник, подмял, затем поднял высоко вверх и водрузил на плечо.

— Так это и есть мой племян? Го-го, какой мужик вымахал! Он пронесся со мной по комнате и застыл перед зеркалом.

— Ну и ну, это что же. Неужели младшенький? Когда только и успел. Постой, постой! Я когда у вас был? В пятнадцатом? Шестнадцатом? Да, да в шестнадцатом,

Илья тогда еще не вернулся из армии. Так я тогда его в колясочке катал! Словно это было вчера!

Наконец, он опустил меня на пол.

– А где же второй, твой первенец, Рахилька?

– Спит, спит, – понизив голос, сказала мать, – Доше тоже надо спать. Отправляйся в кровать, – приказала она. Познакомился с дядей Самарием – и марш на место. Но я не спешил, и дядя поддержал меня.

– Пусть, пусть посидит с нами, дядя не так часто приезжает, а я его сейчас угощу.

Он подошел к огромному чемодану, стоявшему рядом на табурете, порылся в нем и извлек большой бумажный сверток.

– Ну-ка, подойдет тебе такая штука, племянш? – дядя протянул мне пирожок, в который я немедленно вцепился зубами. Пирожок, конечно, основательно зачерствел, но главные его достоинства сохранились вполне. Под его коричневой, блестящей корочкой скрывалась сочная, истекавшая вишневой кровью начинка. Кисловатая, чуть терпкая, она источала дивный, незнакомый мне пряный аромат.

Между тем, дядя, выложив на стол пакет с пирожками, продолжал перекладывать содержимое чемодана. Все молча наблюдали за его действиями, и вдруг я увидел в его руке револьвер. Большой, черный, отливавший синевой, настоящий револьвер! Я застыл от изумления и восторга. Настоящий револьвер и, наверно, с пулями здесь в нашей комнате! Не у кого-то, не у военных, которых я мог видеть только издали, а здесь, рядом, у моего родного дяди, маминого брата! И конечно, он позволит мне подержать его в руках!

И он позволил. Ловко щелкая барабаном, он высыпал на ладонь желтенькие патроны и предоставил оружие в мое распоряжение.

Я задохнулся от волнения, и пот выступил из всех пор моего взбудораженного тела. Какое счастье выпало на мою долю! Настоящий револьвер у меня в руках! Я могу играть с ним сколько угодно! Ведь он же дядин! Моего родного дяди, что приходится братом моей маме!

Не в моем характере было нести одному непосильное бремя счастья. Я бросился к Вовке, растолкал его и прежде, чем он пришел в себя, сунул ему в руку револьвер. Если бы на него, сонного, вылили ведро холодной воды, эффект был бы неизмеримо ниже. А я смотрел и изнемогал от радости.

Из дядиногo рассказа нам стало известно, что он начальник чего-то, чего именно, этого я не понял, и работает на каком-то пороховом заводе. Теперь он приехал с Кавказа на Украину по важному служебному делу. Через два дня ему необходимо двинуться дальше, но прежде еще предстояло закончить дела и выполнить кучу поручений от кавказских знакомых, кое-кого повидать, передать письма, посылки и устные приветы. На почту в то время, конечно, никто не рассчитывал.

На следующий, вернее, тот же, но наступивший вслед за ночью день, дядя отправился по своим делам, и вернулся поздно вечером, усталый, но довольный и попрежнему веселый. Он о чем-то беседовал с отцом. Я долго не мог уснуть и лежал с открытыми глазами, прислушиваясь к неясным звукам, доносившимся из столовой. Беседа, уже с участием матери, продолжалась, звенела посуда, по всем признакам там пили чай. Наверно, к чаю были поданы хрусты, которые мать готовила после обеда. Хрусты были темноватые и без сахара. Мне было неловко за них перед дядей, как тогда перед красноармейцами из-за ячки.

Наконец за стеной стало тихо. Я повернулся лицом к стене и закрыл глаза.

Ночью за дядей пришли из Чека. Я, конечно, спал и обо всем узнал только утром.

Мои родители были в полном отчаянии. Ужас охватил и меня, когда я вспомнил все, связанное со стреляющим словом „Чека“. „Теперь дядя там, где был дядя Боря“, – холодея от страха, думал я. Образ мадам Верник возник перед моими глазами: – „Боже мой, за фунт соли! За фунт соли!“

Мать слонялась по квартире с распухшим лицом и все перекладывала из руки в руку мокрый, сжатый в

комков платок.

Отца в доме не было. Он пошел в Чека, и от этого мне стало спокойнее. Я верил в отца.

И снова я расскажу о событиях, свидетелем которых быть не мог, как и в истории с немцами. Но, как и эта последняя, дядина история была мною воспринята в самом совершенном по своей полноте и яркости изложении. Отцовском. Он был редкостным, неповторимым мастером рассказа, мой отец.

Прежде чем поведать о главном событии, я вынужден вернуться к некоторым второстепенным, но далеко не безразличным для полноты и целостности моего рассказа.

Незадолго до приезда дяди Самария к нам явился человек в потрепанном бобриковом пальто, весьма недурного покроя, со студенческой, много пережившей на своем веку фуражкой на лохматой голове. Он представился работником Губпросвета и предъявил ордер на одну из наших четырех комнат. Не дожидаясь возражений со стороны явно поскуцневших моих родителей, он мягко и как-то трогательно-любезно сказал:

– Пожалуйста, очень вас прошу, не огорчайтесь. Я нисколько не стесню вас и не стану претендовать на комнату. Мне нужно место для ночного отдыха. И только. Буду уходить утром и возвращаться к ночи да и то, к сожалению, не всегда. Уверю вас, мы отлично поладим. Живите себе, как жили. Вся его речь сопровождалась милой, располагающей улыбкой. Не поверить человеку с такими манерами было невозможно.

Ему поверили и не ошиблись. Все было так, как он обещал. Видели мы нашего нового жильца не часто, и нас с Вовкой это весьма огорчало. Семен Раскин, как звали его, был на редкость общительным и жизнерадостным человеком. Он пришелся по сердцу не только нам. К нему прониклись симпатией и прислуга, и бывавшие в доме знакомые, и даже наша твердокаменная фрейлейн. А сквозь сон я не раз слышал его голос, доносившийся из отцовского кабинета, где ему стелилась постель. Видимо, и с отцом он нашел общий язык, что было делом не легким. С новыми людьми отец сходил

трудно.

О своем визите в Чека отец рассказывал охотно и делал это с большим подъемом. Он нравился себе в роли, которую ему довелось там сыграть.

Прежде чем ему удалось попасть к следователю, он долго просидел в полутемном коридоре. По его словам, за это время он выкурил полный портсигар. Благо, о вреде курения тогда знали не больше, чем о губительном действии шума, и курить не воспрещалось.

Наконец, его вызвали и провели в кабинет к следователю, державшему в своих руках дядину жизнь. Им был уже немолодой, болезненный, небритый человек, с мутными от усталости глазами. По всем признакам, спать ему приходилось не часто, а есть и того реже. Он жестом указал на стул и долго, молча, рассматривал отца. Казалось, что держится он из последних сил, а на разговор их уже не доставало. Наконец, он собрался и заговорил так тихо, словно обращался сам к себе.

– Кем вы приходитесь арестованному? – спросил он и прикрыл глаза.

– Гражданин Вильнер – брат моей жены, шурин, следовательно, – ответил отец и уже собрался было продолжать, но следователь остановил его движением руки.

– Что вам известно о нем и его деле? Хорошо ли вы знаете своего шурина?

Отец с некоторым раздражением ответил, что близко знает арестованного и всю его семью, но никакого „дела“ за ним не знает и убежден, что его нет и быть не может. На что следователь ответил, хотя и иронической, но беззлобной усмешкой. Отца это сильно задело.

– Совершенно ничего смешного в сказанном мною нет! – вскричал отец. – Я знаю всех братьев и сестер Вильнера, знаю и родителей. Все они честные, трудовые люди.

Следователь собрал еще горстку сил и повысил голос:

– Знаете ли вы хотя бы, в чем обвиняется ваш шурин?

– Не имею ни малейшего понятия! – с жаром выпалил отец и встал, – но я твердо знаю, что перед советской властью у него нет и не может быть никакой вины! Я знаю...

– Не надо так горячиться, – перебил отца следователь, снова переходя на шепот, – дело ведь вот какое: Самарий Вильнер обвиняется в причастности к контрреволюционному подполью... – Но теперь его уже остановил отец.

– Какая чушь! Я не только не допускаю никакой причастности Самария к контрреволюции, но я категорически утверждаю...

Следователь не дал ему закончить. Он взял из папки какую-то бумагу и протянул отцу с той же вялой, невыразительной улыбкой.

Отец стал читать, почувствовав спиной, что в комнате появились новые лица. Но бумага ошарашила его, и прервать чтение он уже был не в силах. Страх морозной волной пробежал по всему его телу.

Бумага была письмом от некоего К. из Абастумана к некой Лине в Киеве, проживавшей на Тарасовской улице. Среди малозначащих и, к тому же, весьма неразборчивых строк, отцовское внимание привлек следующий, подчеркнутый красным абзац: „Ли, когда заявятся Т. или А., пусть заберут чемодан и баул, которые я оставил на антресолях. Куда их доставить, они знают, мы обо всем договорились. Мой пистолет отдашь тоже. Он в спальне под обоями над дверью, в моем тайничке“. Дальше уже ничего важного не было. Речь шла о домашних делах и об их, К. с Ли, последней встрече. Теперь отца бросило уже в жар. Пистолет под обоями! Таинственные Т. и А., какие-то чемоданы, подлежащие сокрытию! Ужас! Но какое мог к этому иметь отношение Самарий? Бред! Какое-то дьявольское наваждение! Что же теперь? Но надо успокоиться. Все это чепуха, и Самарий здесь ни при чем!

– Что вы теперь скажете, товарищ, – глядя исподлобья, процедил следователь. – Дело, как видите, серьезное. Шапками его не закидаешь!

Отец молчал. Он еще не собрался с мыслями и не

отделался от парализующего действия страха. Наступила минута тягостного молчания. Следователь не торопил отца, и это было очень кстати. Спасительная мысль была уже на подступах. И вдруг...

– Скажите, товарищ, – отец вскочил и навис над столом, – это письмо единственное, что нашли у Вильнера, или были еще другие?

– Нет, не единственное, – призадумался следователь, – были и другие. Он уже понял, к чему ведет отец.

– Ага, значит, были и другие. – Отец совершенно овладел собой и перешел в наступление: – Тогда позвольте мне ознакомиться с ними. Они, конечно, у вас тут, в той же папке. Это был меткий удар, отец понял это по выражению лица противника.

– К сожалению, не могу позволить, – смущенно произнес следователь, – нет у меня других. В них ничего интересного не обнаружили и к делу приобщать не стали. Семейные дела, всякая дребедень.

– Чудовищно, невероятно! – взорвался отец, позабыв уже где и с кем позволяет себе такие вольности. – Да ведь то, что там, как вы говорите, нет ничего интересного, одна лишь дребедень, – это и есть самое интересное. Как же можно? Разве так ведется серьезное следствие? Вы хотя бы взяли адреса, по которым направлялись эти „неинтересные“ письма. Я уверен в том, что шурин вез множество писем от совершенно посторонних, малоизвестных ему лиц. Разве мог он знать их содержание? С таким же успехом можно посадить за решетку любого почтальона!

Следователь почесал свой затылок. Логика отца привела его в некоторое замешательство. Он, по всем признакам, был простым рабочим парнем, далеким от всяких криминалистических премудростей. Но голова его и совесть были на своих местах.

– Да, промашка, конечно, есть. Опыта у нас мало, но это мелочи. А главное все-таки остается, никуда не денешься.

Лицо его посуровело, морщины на щеках и вокруг рта углубились и, казалось, состарили его. В нем явно

боролись новые сомнения и прежняя уверенность.

– Вы, товарищ, человек самостоятельный и ученый, должны понимать, что шурин ваш не ребенок. В такое время не берутся за поручения от черт знает кого. Вы говорите, что такое письмо одно среди многих. Это так. А вы можете поручиться, что не так оно и задумано? Писем, мол, много, где тут разбираться что к чему. Правильно я говорю?

Надо отдать справедливость его аргументам. Они были не лишены смысла. Отец призадумался, а следовательно заметно взбодрился. Не слишком ему хотелось выглядеть простаком. Противник явно готов отступить, и надо добить его.

– Я еще не сказал главного, – нарочито бесстрастно добавил он. – При Вильнере был наган, и никакого документа на право иметь оружие. А может, это тот самый, из спальни. – Он улыбнулся, сам понимая, сколь нелепо его предположение. Теперь за отцом было последнее слово. Опровергнуть доводы следователя он не мог, и единственным его оружием оставались эмоции. А их накопилось уже более чем достаточно. Страх и отчаяние теперь овладели им. Ставка была не малой, и проигрывать он не имел права. Все силы, всю страсть, все клокотавшие в нем бурные чувства выплеснулись и обрушились на сидящего перед ним человека.

Он вскочил и, рубя воздух рукой, вскричал:

– Вы говорите, что нашли у Вильнера наган. Ну и что из этого? Вы же ничего не знаете о человеке! А я знаю! Знаю не один год, знаю, о чем он думает и чем дышит! Вы говорите наган, а я вам говорю, я утверждаю и даю голову на отсечение, что если бы вы нашли у него бомбы и динамит, то значит они нужны были ему для советской власти, а не против нее. Вы слышите, что я вам говорю. Не против, а только за! Никогда – против!

– Успокойтесь, Илья Борисович, и не бросайтесь так беспечно своей головой. Она у вас одна и совсем не такая плохая, чтобы бросаться ею, – раздался вдруг из-за отцовской спины спокойный, чуть насмешливый

и очень знакомый голос.

Отец обернулся. На стуле у стены, с самокруткой во рту, заложив ногу за ногу, сидел Семен Раскин. Наш жилец, работник Губпросвета.

– А тебе, Осипов, со стороны глядя, скажу: положили тебя на обе лопатки. Он подошел к отцу и опустил на его плечо руку. – Я этого товарища знаю, и если он говорит, что его шурин честный человек, то можешь ему поверить. Что письмо ни о чем не говорит, в этом он прав, а насчет нагана – не тревожься. Вот документ. Его принесла жена этого товарища, – он кивнул в сторону отца. – Твои парни еще не поднаторели в полицейском деле. Всякую муру взяли, а бумажник на самом видном месте просмотрели.

Через час дядя Самарий пришел домой. Он был по-прежнему весел, и его лысина сияла так же ярко.

Вот так закончился для него невольный визит в Чека. Таков мой четвертый факт. За фунт соли – к стенке! В путаной истории дяди Самария – разобрались. Все справедливо! За фунт соли! В этом была своя логика, и я принимал ее тогда и еще очень долго впоследствии. А Раскин-то каков, работник Губпросвета! Но он был хороший человек, Семен Раскин. Куда они подевались потом, такие люди? Ведь были же они! Были! Были и, как говорится, все вышли. Все. По крайней мере, я уже их не встречал, когда через много лет оказался в положении дяди Самария. А как я искал их! Как надеялся! Зря надеялся. И не один я. А они были и в немалом числе. Так или иначе, потеряли мы их и надолго. Хочу надеяться, не навсегда. Иначе, для чего и как жить?

ГЛАВА 2. ШКОЛЬНЫЕ ГОДЫ

НОВАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ...

Такое произошло любопытное совпадение: власть советская новую экономическую политику ввела – НЭП, как ее прозвали, а нас с Вовкой в школу, семилетку трудовую отправили в том же году. Между прочим, закончили мы тоже вместе. Мы – нашу семилетку, а НЭП – короткую свою жизнь. Уложились точно в промежуток между 1921-м и 1929-м.

О первом, невеселом моем школьном дне речь еще впереди. А что до НЭПа, то его приход навсегда соединен для меня с холодным весенним вечером и вот этим возгласом:

– Свистать всех наверх! Все сюда! Сейчас я вам что-то покажу! Илья, Илья, где же вы? – Старый друг нашей семьи, доктор Майзель, сквозняком врывается в дом. – Вот угадайте, что у меня здесь! – Он поднимает над головой плотно сжатый кулак. Мы растеряны. Что может там быть при совершенно без щелочки стиснутых пальцах? Но вот наш друг опускает руку на стол. На пухлой ладони с короткими пальчиками лежит монетка, маленькая серебряная монетка, и мы с недоумением

смотрим на нее.

– Что же вы молчите? Разве не видите, что это такое? – В голосе его звучит разочарование. – Первая монета Советов! Серебряная! Кончились бумажки, лимоны и лимончики! Тут настоящие деньги! Серебро – не бумажки для... – не при детях будь сказано. Теперь и слепому ясно, что пришла настоящая власть!

Мы рвали друг у друга монету из рук. Она была сияющей и блестящей, как и положено быть новой монете. У верхнего ее края помещалась звездочка, от которой во все стороны расходились лучи, а на обороте был не мохнатый привычный орел с двумя головами и хищными клювами, а герб Советов. С серпом и молотом, окруженными колосьями. Под ним стояли буквы. После каждой – точка. Р.С.Ф.С.Р. Что эти буквы обозначают, мы не понимали, и разъяснение, которое дал доктор Майзель, мало чем помогло.

Отец долго и внимательно рассматривал монетку.

– Да, – подняв голову, торжественно произнес он, – сделано отлично. Настоящие деньги. Не хуже Николкиных. Так и следует: власть настоящая и деньги соответствующие. Я и прежде не сомневался, но серебро есть серебро!

Почему монетка так взбудоражила взрослых, мы с Вовкой не понимали, но она нам понравилась. Было в ней что-то очень притягательное. Ведь мы знали только царские монеты, которые не считались деньгами. Просто игрушки, и ничего более. Деньгами были для нас бумажки. Мы, дети, еще не понимали, что новая монета была лишь спутником, своего рода мелким показателем больших событий. Она сопровождала буйно, как майская зелень, разраставшийся, все захлестывающий НЭП.

Само слово НЭП, в чистом виде, мне не запомнилось. Произносилось оно не часто. Зато его производные: нэпман, нэпманша, нэпачи – слышались на каждом шагу. Звучали они без подтекста. Просто новое слово, равное по смыслу такому, как купец, торговец, коммерсант. Но на современный лад. Разрыв во времени между обоими понятиями был не велик. И не было в новом слове ничего

ни зазорного, ни обидного.

Часто слышалось: „А-а, – Ковальчук? – Он теперь нэпман. Организовал колбасную и недурно зарабатывает“. – „Вы о Фастовском? Яше? Они с братом открыли бакалейную лавку, стали нэпманами. Между прочим, у них всегда очень хорошие, свежие продукты и хлеб чудесный. Не хуже, чем у Вейцмана“.

Вот и все. Нэпманы и нэпманы. А иногда называли их и вовсе потешно: „красные купцы“! Но тут, конечно, не без иронии. Красными они уж никак не были. Только отблескивали, отражали этот „славный“ цвет. Как капельки жира в борще. В кастрюле вроде бы красные, а наберешь в ложку – и красному конец. Бледные, как покойники. Борщ – одно, а они другое. Каждый сам по себе.

А вокруг бурлил, наступал, сокрушал, торжествовал новый быт. Новым было все для тех, кто знал старое. Мы, малышня, старого не знали. „Старыми“ для нас были голод, холод, изнурительное сидение в погребке, вши и керосин, буржуйка и коптилки.

Но мы все же слышали, что до этого, давно, давно, была сытая, теплая и спокойная жизнь. Мы знали, что в той жизни ели какие-то апельсины и лимоны, ветчину и сосиски, икру и лососину. Мать с умилением вспоминала, как Вовке еще в колыбели давали пососать кусочки этой рыбы, а он заглатывал их целиком. Я же, по ее рассказам, предпочитал семгу! Это же надо! Все названные деликатесы даже никак не рисовались в нашем воображении. Сплошная абстракция. Что-то очень хорошее, но не имевшее ни запаха, ни вкуса, ни облика. Прекрасное, но совершенно пустое место.

Теперь пустота постепенно заполнялась, приобретала и очертания, и содержание. С апельсинами нам так и не удалось познакомиться. Зато с такими чудесами, как сосиски, ветчина, семга и голландский сыр, мы сошлись вплотную.

В нашем доме никогда не культивировалось чревоугодие. Все в меру, в нормированном количестве. Но норма была подходящей, и было все. И не только у нас.

Конечно, далеко не все могли объедаться лососиной и ветчиной, хотя стоили они не так уж и дорого. Все измерялось фунтами, пудами и аршинами. Самой ходовой мерой была „четверть“, что означало четверть фунта, по-нынешнему – сто граммов. Четверть чайной, самой дешевой колбасы – семь с половиной копеек. Полушки ходили широко. Четверть ветчины – двадцать копеек. Фунт „бабского“ ржаного хлеба – четыре копейки. Пирожное – семь. Все помню. И валяется же в памяти такая дребедень! Особенно запомнились мне сыры, выставленные в павильончике с пестрыми витражами, стоявшем против Братского монастыря. Темно-красные, размером с младенческую головку, отполированные до блеска, они были обворожительны. А какой вкус! Терпковатые, острые, с легкой сладинкой, даже чуть горьковатые. Разве можно такое выразить словами?

Ах, каким чудом был этот НЭП!

А город! Город преобразился, стал неузнаваем. Желающих принять участие в стремительном взлете к благоденствию, приложиться к большому пирогу было множество. Как во времена великого Возрождения, освободившись от гнета Средневековья, люди обожествляли земные радости, так и теперь, стряхнув с себя кошмар военных лет, они рвались к наслаждениям, упивались жизнью. Рвались, как умели. В соответствии с возможностями и Богом данными способностями. Личной инициативе предоставлялась неограниченная свобода. Будь хозяином, творцом своей судьбы. Торгуй, строй, изобретай, создавай, бери все, что можешь взять! Обогащайся и наслаждайся, насколько хватит уменья и сил! Людей обурежала жажда деятельности, толкая нередко на безрассудство, преступление, как во времена золотых лихорадок. Жажда предпринимательства охватила даже таких, которые прежде, казалось, были далеки от какой-либо активной деятельности. Такого бума страна еще никогда не переживала. Сравнить с ним можно было лишь Соединенные Штаты в драйзеровские времена.

Нэповская поросль была густой, а жизненное

пространство города ограниченным. На строительство в крупных масштабах никто не решался. Может быть, строить было хлопотно и дорого? Но я полагаю, дело было в ином. В прочность советской власти верили, но ей самой – не слишком. Люди чувствовали: это не надолго. „Экспроприация экспроприаторов“ недавних дней еще была далека от забвения. Надо ловить момент и не растрачивать зря ни средств, ни времени, ни сил. В результате каждая ниша, каждая щель или дыра в стене становились торговыми площадями. Нередко крошечная комнатуха, не на много превышавшая размером собачью конуру, давала приют двум „красным“ бизнесменам. Один выставял ювелирные изделия, другой – сумки, ремни, кошельки. А рядом еще такое же предприятие, в такой же будке, слева – брюки, справа – часы. Продуктовые лавчонки встречались на каждом шагу: булочные, бубличные, колбасные, мясные, молочные, овощные... Конкуренция была здоровой и незлобивой. Покупателей хватало всем. Товаров тоже. Выбор неограниченный, гигантский. Вот крохотная витринка, словно застекленная щель. Тесно выложены, край к краю, брюки всех цветов и фасонов. Рябит в глазах. На каждой паре – цена. От двух рублей до шестнадцати и даже восемнадцати. Это уже „люкс“, коверкот. Так тогда именовался материал высшего, наимоднейшего класса. Синтетики еще не изобрели. Все натуральное. Солидное, добротное.

Торговали азартно, лихо. Покупателей буквально рвали за полы. Хозяева лавчонок готового платья на Александровской, словно дозорные на постах, стояли у порога и высматривали покупателей. Самыми желанными были крестьяне. Народ неизбалованный и темный.

Вот идет парень с котомкой за плечами. По его веснушчатой, курносой физиономии, по блуждающему взору видно, что в городе он не частый гость, все ему внове. Одет он в какую-то рвань, но котомка пуста. Значит распродался. Начинается гон. Не успел парень и дух перевести, как лавочник, словно палач, срывает со своей жертвы одежду. И вот парень уже облачен в новое.

Мохнатое, колючее грубошерстное пальто сидит на нем, как отцовский зипун на ребенке. Все длинно, на спине горб, как у индийского буйвола, плечи сползают чуть не до самых локтей. Но вокруг парень видит одни восторженные лица, восхищенные взгляды. Все наперебой хвалят его фигуру и, подмигивая, заводят разговор о невесте, которая теперь, при таком его виде, уже никуда не денется. Сыпятся поздравления.

По неписаному, но строго исполняемому мужчинами закону парень сует руки в карманы. Примеряется, пытается достать дно и вдруг настораживается, замирает. Глаза его стеклянеют. Добравшись до дна, он нащупывает в кармане монету, затем еще одну и какие-то бумажки. Теперь колебания отброшены. Он даже согласен прибавить рубль, на который лавочник уже махнул рукой. Парень неузнаваем. Движения его быстры. Он торопливо расплачивается, сопровождаемый улыбками, дружескими похлопываниями по спине и плечам. Его уход похож на бегство. Зайдя за угол, оглядывается и лихорадочно шарит в карманах. С тоской смотрит он на жалкие медяки, среди которых один пятак оказывается еще и орластым. Бумажки – и вовсе газетные клочки. Он густо сплевывает, минуту стоит в раздумье и понуро шагает дальше.

Однако не вся торговля сосредоточилась в нэпманских руках. Одно за другим возникают торговые товарищества и кооперативные общества. Из них мне запомнились общество „Ларек“, украсившее город желтыми, как цветы подсолнуха, вывесками; инвалидное общество и еще какое-то „Добробут“. Они также рьяно включились в бой за покупателя.

„Ларек“ выдавал каждому покупателю билетики, наподобие трамвайных. Билетика были разного цвета и достоинства. Купил на полтинник, бери билет на гривенник. Храни. Собрав билеты на определенную сумму, покупатель получал право взять на них товар. И мы их, конечно, собирали, сортировали и хранили. Но не помню, чтобы из этого занятия извлекали выгоду. Или на них ничего не давали, или не смогли собрать нужной

суммы, или пропускали предусмотренный для такой акции срок. Но на нас, мальчишек, приманка действовала безотказно. За пустячной покупкой мы отправлялись в дальний путь, хотя то же самое могли купить в трех шагах от дома.

Из всех товаров общества инвалидов самыми популярными были прохладительные напитки. Развернули инвалиды дело широко. И как еще развернули! Появись ларьки и магазины общества в посленэповские дни, трагедия Ходынского поля произошла бы вторично на наших глазах. Впрочем, то же было бы у любого из тогдашних торговых предприятий.

Воды продавались у стоек, оборудованных никелированными штативами со множеством бюреток. В каждой за зеркально чистым стеклом сироп. Прозрачный, как богемский хрусталь. Всех возможных цветов. На все мыслимые вкусы. Малиновый, клюквенный, лимонный, „свежее сено“, крем-брюле, крем-швейцарский, шоколадный и т.д. и т.д. Никакой химии, никаких фокусов, все природное. Малиновый из малины, а яичный из яиц. Вода подавалась в объемистых, сверкающих бокалах. Со льда. Искрящаяся, как шампанское. Овеществленное, облеченное в плоть блаженство! За три копейки! И „Инвалиды“ были вне конкуренции.

Зато „Ларек“ и „Добробут“ явно терпели поражение. И товары были у них не хуже, чем в нэпмановских лавчонках, а иные даже дешевле на одну-две копейки, и продавцы вежливые, и упаковка, пергамент, вполне приличная. Но устоять перед бойкими, ловкими и, главное, кровно заинтересованными в успехе частниками не могли. Уж больно много было порядка, культуры, официальной сухости. Пришел – чинно жди своей очереди. Стой себе и жди. Помалкивай. За одним прилавком – молочные, за другим – колбасные продукты, а бакалея – за третьим. Обходи всех. В лавке тишина, что в читальном зале.

Иной раз у покупателя не достало копейки или пятака. Продавец невозмутим, вежлив. Отложит покупку под прилавок. Принесет покупатель копейку или

пятак, пожалуйста, получай свое. Деньги любят счет. Всем известно.

Зато в лавчонках братьев Фастовских, или Ковальчука, или Мильгрома ни порядка, ни культуры. Сплошная вольница, как в Запорожской Сечи. Свобода. Полнейшая. На улице перед лавкой и то ее меньше, свободы. Заходи и пользуйся. И пользуются.

Вот заходим мы, мальчишки, в лавку Фастовских. Народ кучей стоит. Рты у всех – настежь. Болтают между собой, перебрасываются словечком с Братьями. Очереди нет. Есть очередность.

– Мадам Равикович, секундочку можете обождать? – обращается к важной особе, загримированной, как эстрадный мим, один из братьев. – У мадам Мичник, – вы же знаете, – сын уезжает в Харьков, ей надо поторопиться. Я ей только свешу колбаски и охотничьих сосисок фунтик. Пусть сынок кушает в дороге, на здоровье. Только один момент, и я к вашим услугам!

Дама милостиво улыбается. Братья мечутся у весов, как на пожаре. Иначе и невозможно. Товаров уйма. Здесь есть все. От хлеба до изюма. От керченских селедок до фисташек. В мешках стоят сахар, мука, крупы, орехи, миндаль в скорлупе, словно побитой оспой, а в жестянках – он же в сахаре и шоколаде. Здесь же можно выпить стакан сельтерской воды или янтарного кваса.

Мы пришли за подсолнечным маслом и мраморным мылом. Было такое мыло. Белое в синих прожилках. Но пережидать всех взрослых нам скучно, и мы компенсируем потерю драгоценного времени всеми доступными средствами. А доступно нам многое. Первым делом идем к баллону с водой. Наливаем малинового сиропа. Сколько позволяет совесть. Потом направляемся к мешку с изюмом. Пробуем с видом знатоков и убеждаемся, что изюм с косточками. Такой нас не устраивает. Я человек скромный. Выплываю косточки и помалкиваю. Но мой спутник, Ленька Капник, не таков. Он преисполнен негодования, к тому же он редкий нахал. Для него нет ничего святого.

– Братья Фастовские! – орет он на весь магазин. – Что

это у вас за изюм? Я чуть зубы себе не поломал! А куда вы дели ваш киш-миш?

Братья посмеиваются. Они давно привыкли к Ленькиным штучкам. Ленька, в знак протеста, наливает себе полстакана сиропа. Один из братьев кивком головы указывает на нас второму. Но тот отмахивается. С улыбкой, обращаясь к публике, он говорит во всеуслышанье:

– Что ты переживаешь? Боишься, что пойдешь по миру? Пусть дети полакомятся. Ты же знаешь, чьи это дети! Я запишу на мадам Генин и на мадам Капник по лишнему гривеннику, и все будут довольны.

Он оглядывает лица и ловит уважительные, поощрительные улыбки. И сам он – весь улыбка. Пусть видят. Фастовские не крохоборы. Покупателю все дозволено. Пусть каждый чувствует себя у „Братьев“ как дома. И даже лучше. Ешь, пей, бери, что хочешь. Мы люди свои. Сочтемся.

У кого-то не хватило гривенника, двух. Покупатель тушует, мнет. Братья невозмутимы. Напротив, довольны.

– Я вижу у вас не хватает денег, мадам? В чем же дело? Занесете в другой раз! А может быть, вам вообще сегодня неудобно расплачиваться? Ради Бога, не давайте ничего! Ни копейки! Может быть, вы хотели бы еще что-нибудь взять? Пожалуйста, хоть на сто рублей! Уверю вас, я это переживу и даже спать буду спокойно. Я же вижу, с кем имею дело!

И покупательница берет еще на полтинник или рубль и уходит счастливая. И братья знают: в другое место она уже не пойдет. Ни в „Ларек“, ни в культурный „Добробут“.

Кто может выдержать конкуренцию с таким предприятием?

Где-то я читал о двух соперничающих фирмах, изготовлявших посуду. В частности, подставки для яиц. Победу одержала та, у которой яйца в посудинке стояли не качаясь, как влитые. Так и должно быть. Никакого качания. И добиться этого можно, если дело ведется

лицами заинтересованными. Крепко заинтересованными. Кровно. Как „Братья“. Никаким „обществам“ и „товариществам“ перед ними не устоять, если по-честному.

И еще одно заведение запомнилось мне. Магазин Торлина на Думской площади. Лавчонкой, даже лавкой, его уже не назовешь. Предприятие с размахом, масштабом. И хозяин такой же. Не „красный“, а настоящий купец. Величавый, бородастый, животастый. Монумент.

Торговля гастрономическая и бакалейная. Большой, просторный зал. Хрустальные люстры. Зеркала. Шустрые, пригожие приказчики. Движения у них быстрые и точные. Улыбки не сходят с лиц, как у цирковых акробатов. Работают, словно играют. Виртуозно, лихо и легко. Неуловимо быстрыми взмахами сверкающих, длинных ножей нарезают дырявый, маслянистый сыр, розовую, как кошачий язычок, ветчину, бледную, истекающую жиром лососину. Артисты! Каждый лепесток хоть микрометром мерь. Один в один. Бросок на весы – точно! Как заказано. Еще миг – и все завернуто, упаковано, перевязано шпагатом. Пакет готов. Для полного комфорта остается лишь в петельку вставить палочку и, пожалуйста, кушайте на здоровье. Заходите, будем рады!

Мы идем к Торлину. Сегодня я сопровождаю мать. Мне нравится бывать здесь. Мы заходим и пересекаем зал. Идем не торопясь, оглядываемся. В глубине зала, у задней стойки, сам хозяин. Он видит мать и трогается с места. Идет навстречу. Опытным, профессиональным и мужским глазом он, конечно, успел уже оценить ее всесторонне. И туалет, и манеры, и ее самое. Женщину. Он приближается. Едва заметный кивок приказчику, и мать уже не стоит. Усажена на стул. Перед ней оба: САМ и приказчик. За ухом, под кудрями, у него карандаш. Он слегка склоняется. Не изгибается, а только склоняется. Держится с достоинством. На меня смотрит благосклонно, даже любезно. В том, что здесь происходит, большой роли мне не отводится. Но игнорировать меня тоже никто не решится. Как известно, нагадить может даже кошка.

– Что мадам изволит пожелать? – Это сам Торлин. Дьяконовским басом. Он чуть-чуть улыбается и поглаживает бороду. Мать называет интересующие ее продукты. Она решила сегодня сделать закупки на всю неделю, и перечень велик. Снова кивок, и приказчик исчезает. Через мгновение он перед нами. В руках у него деревянная лопаточка. Матери предлагается попробовать масло, сыр, еще что-то. Она пробует и одобряет. В таких вещах она знает толк.

– Я хотела бы взять пару фунтов окорока и пузырной ветчины, – говорит она. Но приказчик, поскучив, сбрасывает с лица улыбку и покачивает головой.

– Не советую, мадам, так много, не советую. Такой, какая нужна Вам, – он делает ударение на этом местном имени, кося глазами на хозяина, – такой сейчас нет. В среду мы получим товар из Полтавы. Вот это, мадам, будет то, что вам требуется. Наивысшего сорта! Оставайтесь весьма довольны. Если прикажете, пришлем. А масло советую взять сегодня. Только что получено. Вологодское, свежайшее!

Мне становится скучно. Я глазею по сторонам, рассматриваю покупателей, наблюдаю метушню приказчиков.

Но вот покупка сделана. Приказчик упаковывает, заворачивает, перевязывает. Веретеном ходит моток шпагата. САМ куда-то удаляется. Не надолго. Вот он уже идет обратно. На вытянутых руках над животом – поднос. На подносе рыбина. Большущая, с окаменелым взором.

– Не побрезгуйте, мадам, это мой презент уважаемой покупательнице нашей. – Мать явно смущена. Щеки ее розовеют. Но купец принимает ее смущение с привычным спокойствием. Последний кивок, и приказчик заворачивает трехфунтовую семгу. Снова вращается веретено. Заделана петелька, просунута палочка. – Извольте! Прикажете отправить домой? Ведь фунтиков пятнадцать будет, а то и более! Притомится ваш кавалер! – улыбается он снисходительно мне. – Прикажете? – Мать не возражает. Карандаш выпархивает из-за уха. В руке блокнотик. Счет оплачен. Теперь все. Поклоны, улыбки,

приглашения. Я вижу: мать довольна. Даже польщена. Она, конечно, „мадам“ и даже „барыня“ в чьих-то глазах. Но сама она так о себе не думает. Мама тоже из „черты“, тоже не из богачей, хотя и не из такой голоты, как отец. Торлин очень умело прошелся по ее самолюбию. Он знает, как это делается. И он еще знает, даже уверен: в другой магазин мадам уже не пойдет. Масштаб побольше, но тактика та же, что и у „Братьев“ на нашей улице. Что же, верная тактика!

– Мама, шепчу я, – он совсем не жадный! Нэпман, буржуй, а какую рыбищу дал, и без денег! – щедрость Торлина ошеломила меня. – Такую рыбину отдать и не взять ни копейки! Настоящую семгу! Вот так буржуй! И я вспоминаю Могилянського с его гнилыми селедками. Оказывается, не все они одинаковы, буржуи. Есть и такие, как Торлин. А на вид самый что ни на есть буржуй. Точно как на картинке. И пузо, как у бегемота, и бородачи! А рыбу все-таки дал, не пожалел!

Я на все лады передумываю происшедшее. И помню о нем долго. По сей день помню. Не рыбу, конечно, хотя и ее не забываю. Помню о том времени, когда любая покупка доставляла радость. Не мучительное и унижительное стояние в очередях сопровождало ей, не презрительный взгляд продавца, не постоянный страх, что тебе не хватит, не швыряние покупки, едва прикрытой бумажонкой размером в почтовую марку или вовсе ничем не прикрытой, а подлинное удовольствие. От всего. От самого товара, выбранного по вкусу. От упаковки со шпагатом и палочкой. От улыбок и приглашений продавца, от всей атмосферы, где в тебе видят человека, всегда желанного гостя. И потребности тогда не были растущими. Они просто удовлетворялись. Да и расти им было некуда. Об их способности к росту тогда тоже еще не знали.



Жилось нэпманам, конечно, недурно. Все теперь было к их услугам. От вывесок разных увеселительных

и питейных заведений рябило в глазах. Ярко светились по вечерам окна шикарных ресторанов и казино. Но больше всего было небольших столовых и пивных, понынешнему, забегаловок. На дверях вывешивались длинные меню. Не меню – роман. На вывесках пивных – обязательная кружка с сугробом пены и усатый рак. Такое сочетание было общепризнанно, и рачья скорлупа веселого оранжево-красного тона, словно цветы, устилала тротуары.

И все же в разгульной, сытой жизни нэпманов были и темные стороны. Было их, надо полагать, немало, но одна из них была у меня на виду. Ее я осознавал полностью, поскольку задевала она и нас. Нашу семью. Было слово, которое наряду со словом „Чека“ заставляло бледнеть нэпманские упитанные физиономии, трястись их жирненькие телеса. Слово это – фининспектор. Ах, как скверно оно звучало, как сразу же сбивало настроенное, как отравляло любое торжество, празднество, семейное застолье. Фининспектор! От него зависело все. Настоящее и будущее. Он решал: быть или не быть благоденствию. В его руках были блеск и нищета, успех и поражение в коммерческих делах. Он являлся полномочным представителем фортуны в неустойчивом нэпманском мире. Фининспектор был единственным началом, регулирующим темпы экономического прогресса.

Правда, со стороны ничего такого не замечалось. Разодетые пары раскатывали на рысках, совсем как в давние времена. Особенно эффектно были они зимой. Мужчины в крытых дорогим сукном шубах, на отворотах которых виднелись края меховой подбивки, лисьей, беличьей, хорьковой; женщины, в фетровых ботах и котиковых манто, сидели, развалиясь в санях, укрытые медвежьей полостью. Копыта рысаков и полозья распахивали снег, окрашенный конским навозом, удивительно напоминавшим халву и по цвету, и по консистенции. Громко вскрикивали кучера, облаченные в стянутые широкими кушаками синие зипуны, в шляпах уже забытого фасона: нечто среднее между цилиндром

и котелком. Смотреть на них было весело и немного завидно. Но я уверен, что на душе у этих резвящихся господ было беспокойно. О фининспекторе они не забывали. Он незримо присутствовал здесь. Стоял мрачным демоном за их спинами.

Моя уверенность идет от беспокойства того же рода, жившего и в нашем доме.

Мои родители не были нэпманами. Частная врачебная практика существовала независимо от Новой Политики. Иначе и быть не могло. Где могли служить врачи? Поликлиник тогда еще не существовало. Больниц – по пальцам перечесть. Но доходы частных кабинетов облагались налогом, причем немалым, и фининспектор был у нас частым гостем.

Так впервые я столкнулся с государственной властью как силой, ущемляющей право, ограничивающей свободу. Лично меня эта сила непосредственно не задевала. Только рикошетом. Но его я ощущал в полную силу. Когда моим сверстникам, нэпманским сынкам, покупали новые костюмчики, пальтишки, ботинки, мое сердце оставалось спокойным. Пижоном я не был ни тогда, ни потом. Но когда я видел у них такие вещи, как фотоаппарат, часики или велосипед, таиться не буду: зависть терзала мою душу, как орел – печень Прометея. Но я даже не смел заикнуться о своем желании. И не потому, что у родителей не достало бы средств на такую покупку. Причина была совсем иного свойства. Тень фининспектора преследовала всех, кто находился в сфере его гнетущей деятельности. Мы находились в этой сфере.

При установлении размеров дохода учитывалось все. Им, фининспекторам, было известно все, что происходило в доме. Что едят, что пьют, что купили или собираются купить. Они были ушлыми ребятами, эти фининспекторы. Им объясняют, что доходы резко упали, пациентов поубавилось, да и гонорары уже не те, что прежде. А инспектор все кивает, вроде сочувствует, соглашается. И вдруг: „А ведь шубку каракулевую прибрали, мадам, да сыночкам велосипедик за двадцать

червонцев! И воротничок у вас, доктор, бобровый с сединками тоже ведь недавно появился! Не помешали гонорары? Как же вас надо понять?" – и все в таком духе. Нет, его не проведешь! Такой себе тихенький, а видит насквозь!

Однако, если по совести, то урон, наносимый фининспектором, был главным образом моральным. Что до материального, то жаловаться было бы грешно. Жили мы, если не на широкую ногу, – такая жизнь была и не по нраву моим родителям, недавним провинциалам, – то более чем безбедно. Экономно, расчетливо, но весьма недурно. И стол был обильным, и наготу прикрывали по моде, и прислуга была, а при ней еще и прачка на гастролях. Ну и, конечно, фрейлейн. Всем платили, всех кормили и, исключая прачку, еще и одевали. Скупость была матери не свойственна, если расход, по ее мнению, был оправдан. Все это стоило денег и не малых. Но они были, деньги. Даже было еще кое-что и про черный день. Было.

Дела, однако, шли хорошо далеко не у всех, чему, полагаю, немало способствовали слуги финотдела. Иные лавчонки закрывались, иные поглощались более мощными, а были такие, что уходили в подполье. Торговали их хозяева втихую, у себя на дому. Знал я и таких. Конспирация была глубокая, и проникнуть в их тайные убежища было не просто. Вход в них обставлялся со строгостями масонской ложи. Все шепотом, с предварительным допросом по всем параметрам, проникательным и подозрительным оглядыванием. Но когда испытание заканчивалось успешно, доверие завоевано, вы становились желанным гостем. Всего-то товару в таком предприятии на два червонца. Но что-то хозяева извлекали из него. Жили, по крайней мере.

Но во всю свою силу предпринимательская инициатива развертывалась на ежегодных зимних ярмарках. В Киеве они назывались контрактowymi. И дом с толстыми колоннами, что на Красной площади, назывался Контрактовым. По наивности, я считал, что дом дал название ярмарке. Слово „контрактовый“ мне ни о чем не

говорило, да и не мог я его тогда понять. Зато прелесть, незабываемую, ни с чем не сравнимую прелесть контрактowych ярмарок, я прочувствовал всеми клетками своего организма.

Радостное предчувствие, приглушенное волнение поселялись в моей груди еще задолго до открытия ярмарки. Они клокотали во мне, когда я, ежедневно проходя мимо площади, видел, как на ней воздвигаются будущие лари, балаганы, аттракционы. Каждый день мы приходили сюда и, словно придиричвые подрядчики, отмечали, что еще осталось сделать, построить, покрасить, настелить к предстоящему, совсем уже близкому дню. Ожидание было томительным, но не тягостным. Была непоколебимая уверенность, что он неизбежно наступит, наш день. И он наступал.

Уже за два-три квартала от площади слышался многоголосый, своеобразный рев бушующего торжища: пищали надувные чертики, распевали глиняные птички-певички, гремела музыка, повсюду раздавались лающие голоса зазывал и продавцов патентованных изделий. Все это пробивалось сквозь неумолчный говор и смех многотысячной толпы. Вакханалия звуков оглушала, ошеломляла, но именно она создавала особый, приподнятый, ярмарочный настрой. Что за ярмарка без этого радующего сердце галдежа?

Больше всего народу привлекал длинный ряд ларей, украшенных орнаментами и затейливыми вывесками. На каждой стояла фамилия владельца. Запомнилась мне только одна: Нечаев. Все знали: изделий лучше нечаевских – не найти. Половину ярмарочной площади занимали лари, торговавшие двумя видами продукции: пряниками и халвой. Они задавали тон. Они привлекали наибольшее число покупателей.

Если иногда, вщей убедительности ради, в своем рассказе я допускал преувеличения, то в данном случае я весьма далек от этого. С полной ответственностью утверждаю, что подобного разнообразия пряничных изделий такого качества, таких красочных и в таком количестве я никогда больше не встречал. И уж, конеч-

но, никогда не встречу. То было искусство, искусство высокое, увы, пришедшее в упадок без надежды на возрождение. Как и многие другие древние промыслы.

Торговали в ларях девушки, все, как на подбор, белолицые, румяные, с тонкими шнурочками бровей и призывным выражением веселых карих глаз. Одеты они были в национальные костюмы, преимущественно украинские, с лентами и венками из искусственных цветов, украшавших мощные, уложенные кольцом косы. Были здесь и лари, представлявшие русские губернии, но их было меньше, смотрелись они не так эффектно. И продавщицам соперничать с полтавчаночками и житомирночками было не под силу. Не та хватка.

Впрочем, как я полагаю, убытков не терпел никто. Быть на ярмарке и не попробовать пряников мог посметь лишь аскет, отрешенный от жизни человек, или уже совершенно неимущий. Но такие встречались не чаще, чем жемчужные зерна в навозной куче. А народ валил валом. С утра и до вечера.

Почти такое же место по значению и привлекательности, как пряники, на „Контрактах“ занимала халва. И все сказанное о торговле пряниками относится к ней еще в большей степени. Насколько бывали удовлетворены покупатели халвы во времена контрактowych ярмарок, судить не берусь. Но и перечислить все виды, все сорта этого лакомства я бы тоже не рискнул. Тесными рядами высились разноцветные глыбы халвы на прилавках. Тут были все оттенки от кремового до густо-шоколадного, от бледно-пепельного до зеленовато-палевого. Иные для вящей привлекательности были украшены густым строем ядер грецкого ореха, торчавших подобно иглам ежовой шкурки. Зрелище невыносимое по своей притягательности. Торговали халвой уже не белолицые красавицы, а напротив, медноликие молодцы явно восточных кровей. У них были синеватые щеки, смоляные усы и такие же глаза с голубоватыми белками. Головы их покрывали круглые каракулевые шапки или турецкие фески. Говор полностью соответствовал внешности, но слышался он не часто. Парни были не из

болтливых.

Халва и пряники составляли фон, как бы грунт всего ярмарочного полотна. Но поверх грунта размещались и другие, не менее привлекательные вещи, даже более, поскольку в другое время, вне ярмарки, увидеть их было невозможно. Лично я отводил им первое место. Например вафли, которые тут же при вас выпекали разбитные, цыганоподобные греки. Пеклись вафли на особых жаровнях, из которых извлекались румяные вафельные в клеточку листы. Их немедленно свертывали в трубочку и заполняли кремом. Крем был воздушный, чуть розоватый, а вафли – горячими и хрустящими. Коротенькие стоили пять, подлиннее – десять и самые большие, размером в крупный кукурузный початок, – двадцать копеек. Обычно нам покупали пятикопеечные. Изредка – десяти, и никогда – двадцати. И до сих пор я вождедею к ним, недоступным тогда и недосыгаемым теперь. Ах, если бы мои родители понимали, чего они лишали нас! Но девизом семьи была умеренность, и мы ее чтили. Захотели бы, то, конечно, получили бы и эти початки. Но мы не хотели. Такое получили воспитание, и я не знаю, хорошо это или плохо. Думать над этим – думал, но решить – не решил по сей день.

А люди веселились напропалую. Крутили рулетки-конфетки или другие, где призами были не конфеты, а грошовая бижутерия или просто деньги; раскупали воздушные шары, которые в те далекие от научно-технической революции времена еще летали; обзаводились „тещиными языками“ *), выдувая их, шутя, прямо в физиономию; метали кольца, в надежде лишить владельца аттракциона его гордости – никелированного самовара; объедались халвой и пряниками; грели в карманах руки на фунтиках каленого фундука, что жарился тут же на угольных жаровнях. Что удивляет меня, человека второй половины века, при воспоминании о ярмарке, так это полное отсутствие пьяных. Их не было.

*) Склеенная из плотной бумаги, ярко раскрашенная и свернутая кольцом трубка.

Или было так мало, что и не встретишь. Веселье было искренним, от души, без допингов.

Но как бы ни резвился, ни тешил себя народ, весь собравшийся здесь многотысячный люд, его ни на минуту не покидала мысль о главном, самом выдающемся и привлекательном местечке, которым являлся Контрактовый дом. Что так властно манило людей в это мрачное здание, я никогда не мог понять. Между тем, проникнуть в него было не только трудно, но и не безопасно для жизни. Не раз я слышал взволнованные рассказы о жертвах, понесенных киевлянами у Контрактовых стен. Очередей в то время еще не изобрели. Народ двигался густой многоногой массой, пер изо всех сил. Бешеный напор брал свое начало еще далеко от входа. Попавший в такой поток перемещался произвольно, как полено в весенних льдах. Сила была здесь бесполезна. Требовались только крепкие кости да здоровое сердце. А они были не у всех. Самое удивительное состояло в том, что покупок в Доме делалось неизмеримо меньше, чем на площади. Но рвались все туда.

Не скажу уже, кто решился взять меня с собой в это рискованное путешествие. Конечно же, не родители. Помню, как я, цепenea от страха, плыл в человеческой гуще, прижатый носом к чьему-то жесткому, шершавому задy, ослепленный и задыхающийся. Сопротивляться я уже не мог и, семеня ногами, все двигался, двигался к неизвестной цели. Наконец, толпа ворвалась в зал. Вокруг стало светло, и я смог освободить нос для выполнения его функций. Меня нашли изрядно потрепанным, но живым, ко всеобщей радости. Теперь можно было осмотреться и решить, в какой мере оправданы перенесенные страдания.

Запечатлелись в моей памяти лишь три профиля контрактowej торговли. Скуластые, угрюмые татары из Казани стояли неподвижно, как постовые у денежного ящика, возле гигантских пирамид из ровных кирпичиков лилового мыла. Что татары были из Казани, я заключил по названию мыла. Оно называлось Казанским. Видеть, как его покупали, мне не пришлось. Покой постовых никто не нарушал, и я их очень жалел. Зачем везли они

в такую даль столько мыла, когда его полным полно в каждой лавчонке? Правда, не такого лилового и блестящего, но разве это так важно?

Самое обширное и светлое помещение было предоставлено гостям из среднеазиатских краев. Они были тоже скуластыми, чернобровыми, но в отличие от татар, носивших смушковые шапки, их лысые или бритые головы покрывали расшитые тюрбетейки.

Торговали они коврами и шелками с традиционным полосатым рисунком. И здесь бойкой торговли я не наблюдал, хотя ковры отличались необыкновенной красотой. Огромные, пышные, с мелким ярким узором, они выстилали полы, покрывали стены или плотными рядами стояли в свернутом виде. Ковры мне понравились, но стоило ли ради них рисковать жизнью? Все равно ведь мы их не купим!

Наконец, пробились мы в последний зал. Давка тут была близка к той, что потрясла нас у входа. Но там цели удалось достигнуть: в Дом мы проникли. Здесь у нас не получилось ничего. В зале продавались ювелирные изделия. Тот, кто привел меня, после длительной борьбы сумел все же пробиться вперед. Ему даже удалось поднять меня и усадить на плечо, и я через головы стоящих у прилавка на короткое мгновение успел заглянуть туда. Мелькнули, как вспышка магния, разложенные на черном бархате сверкающие побрякушки. Потом нас швыряло во все стороны, и, наконец, мы были отброшены куда-то назад. Тут выяснилось, что вернулся я на свет Божий без шапки. К счастью, саму голову удалось сохранить, и, повязав ее шарфом, мы бросились в последний бой – выход из этого страшного дома. Больше я в нем никогда не был да и желания не имел. Единственное, что я приобрел там, это возможность при случае небрежно бросить: „Контрактный? Бывал я там. Ничего особенного. Скучища!“ Для тех, кто туда стремился, но еще не попал, это звучало.



Вот таким остался в моей памяти нэповский период. Период возрождения, перехода от мрака к свету, от голодного прозябания к сытому изобилию.

Я слышал разговоры о безработице, встречал, хотя и не часто, истощенных, худо одетых людей, видел множество отвратительных, мерзко раскрашенных женщин, околачивающихся на Думской площади, и шикарных красавиц в котике и каракуле на Николаевской. Кое-что я уже о них знал... Повсеместно встречал нищих и ватаги беспризорных. Но, естественно, никаких обобщений и выводов делать еще не мог. Тем более, не мог освободиться от моего эйфорического состояния.

Жизнь была прекрасна по-новому. Прежде ее скрашивали подпалки и шкварки в ячке, теперь – все сошедшее на нас изобилие. Во всех формах принимал я ее как великое благо и почитал наш мир лучшим из миров.

БЫВШАЯ 3-Я ГИМНАЗИЯ

Хотя принято считать, что стремительный бег времени свойственен лишь второй половине человеческой жизни, какое-то его движение происходит и в первой. В силу этого беззаботная часть нашего детства осталась позади. Наступила пора учения, которое, как известно, свет.

Сказать, что до того мы пребывали в полной темноте, было бы несправедливо. И я, и Вовка бегло читали уже будучи четырех-пяти лет от роду, а в семь и восемь лет – Вовка был на полтора года старше – среди сверстников слыли эрудитами.

Нашими первыми навсегда полюбившимися книгами были „Мифы классической древности“ Шваба, „Дон-Кихот“, „Путешествие Гулливера“, „Робинзон Крузо“ и павленковское издание Лермонтова. Их мы пересматривали и перечитывали бесконечно много раз, иллюстрации изучали со вниманием и пристрастием исследова-

теля древностей. Орла, сидящего на обнаженном теле несчастного Прометея, Геракла, палицей сокрушающего Немейского льва, Персея, сражающегося с драконом, я отчетливо вижу и теперь, хотя с тех пор прошло уже семь десятков долгих лет. И иллюстрации к Лермонтову хранятся в памяти вместе с подписями к ним, подписями, которые еще долго звучали во мне как своеобразные афоризмы. Вообще Лермонтов и его герои полностью подчинили себе мои мысли, чувства, воображение. Народы Кавказа видел я в столь плотном романтическом покрове, что никто позднее уже не мог прорвать его.

Увлечение Кавказом, неотделимое от дивной, подавляющей своей грустной прелестью лермонтовской поэзии, было длительным и сыграло немалую роль в моей жизни. К этому я еще вернусь в одной из последующих глав. Но самое любопытное, что никого другого после Лермонтова мое сердце не принимало. Даже Пушкина, не говоря уже о поэтах нового времени. Я был однолюбом и в других отношениях. Не знаю только, отстался ли я в выигрыше. Быть может, и проиграл. Очень может быть.

Кроме названных, еще две книги оказали на меня немалое влияние. Первая – „Любочкины отчего и оттого“, вторая – „Маленький лорд Фаунтлерой“, многократно оплеванный и преданный анафеме тогдашней критикой.

Любочкино неумное любопытство к явлениям природы оказалось весьма полезным и немало способствовало нашему развитию. Что до маленького лорда, то должен сказать жестоким критикам: их выпады прошли мимо нас, маленьких читателей. Выпады эти литературоведами, вероятно, даже были одобрены. Но нам Фаунтлерой очень нравился. Мы были преисполнены сочувствия к нему и его несправедливо обиженной матери. Нам импонировали его человечность и прямота, мы заражались желанием творить добро и быть столь любимыми всеми, как герой этой сентиментальной истории. Я убежден, что вреда такая книга нам не принесла, а польза от нее несомненна.

Еще мы читали и знали наизусть „Крокодила“ Корнея

Чуковского, где также не обнаружили никакой крамолы. Но я помню, что говорили, будто книга оказалась в числе nereкомендованных, даже якобы была изъята, поскольку учила примирению с непримиримым, воспитывала соглашательство, звала к всеобщему братству, игнорируя классовую борьбу.

С одной стороны, я не уверен, что так оно и было, насчет оценки и изъятия, с другой – сомневаюсь, что все придумано мною. Как мог я тогда, и даже позднее, сочинить подобное? Немыслимо!

Но дело, конечно, не в том, что нам нравилось, а что нет. Главное, что были мы людьми грамотными. Читали, писали и даже недурно считали. Так что к поступлению в школу считали себя вполне подготовленными.

В какую школу нам предстоит пойти, раздумывать не приходилось. На Красной площади, на восточной ее стороне, стояло видное, с античным портиком, здание бывшей третьей гимназии, а по-новому – двадцатой трудовой школы.

Вообще тогда в ходу, и очень широко в ходу, было словечко „бывший“. От привычных старых названий люди не могли или не хотели отказываться. Не могли по привычке. Не хотели – в знак протеста. Я и сейчас с удовольствием называю улицы родного города их прежними именами. Не звучат для меня уродующие язык названия, лишённые привычных и удобных окончаний прилагательного. Только отсутствием вкуса и пренебрежением к родной речи можно объяснить возникновение уродливых, а порой и просто нелепых словосочетаний. Повсеместно в троллейбусе или трамвае слышишь: „Вы выходите на Толстого?“ или „Вы выходите на Победу?“ А мне так не нравится. Не хочу выходить на „Победу“, и на „Толстого“, и „Ленина“ тоже. Как хорошо звучат старые названия! Пусть даже увековечившие имена тиранов. Прекрасно звучат! Думская площадь, Лютеранская, Николаевская, Екатерининская, Институтская, Библиковский бульвар и все прочие.

Я учился сначала в „бывшей“ третьей гимназии, затем в „бывшем“ третьем реальном училище. Мы часто

посещали „бывший“ Купеческий сад и такое же „бывшее“ Купеческое собрание (ныне Филармония). В кино ходили к „бывшему“ Шанцеру в „бывшее“ Дворянское собрание. Магазины тоже долго сохраняли имена своих владельцев: „бывший“ Людмера, „бывший“ Парфененко и Самоненко, „бывший“ Семадени...

Вот в „бывшую“ третью гимназию мы с Вовкой и поступили. Я – в „бывшее“ старшее приготовительное, а Вовка – в „бывший“ первый класс, соответственно. По-новому – во вторую и третью группы.

Проучились мы там недолго. Через год родители оставили наш буйный Подол и родной Нижний Вал, переехав на аристократический „Верх“, где мы поселились на „бывшей“ Александровской улице, в полуквартале от самого Крещатика. Кстати, Крещатик тоже был „бывшим“, так как носил уже имя улицы Воровского.

О школе на Красной площади у меня сохранились самые добрые воспоминания. Учителя были гимназические, опытные, знающие свое дело. Вся система обучения еще сохранилась в прежнем виде и работала безупречно, хотя эпоха гибельных для школы реформ была уже на ближних подступах. Описывать всё это нет нужды. Куда важнее для меня было то, что школа разлучила нас. Меня и брата.

Я уже упоминал об исключительной нашей взаимной привязанности. Она была редкостной. Наши любовь и преданность – фанатичны. Всю недолгую совместную жизнь мы были неразлучны. Днем и ночью. За столом и на досуге. Мы вместе страдали над кашей и лили общие слезы. Мы оба терпели от фрейлейн и поровну делили нашу ненависть. Поступив в школу, мы впервые были разлучены, и я ощутил незнакомое прежде чувство потерянности.

Отец привел нас в школу, довел до ворот и оставил одних. Пока мы еще были вместе. И в вестибюль вошли тоже вместе. Но вот к нам подошла высокая дама с огромным бюстом, в корсете, пенсне и большой булавкой в высокой прическе. Конечно, она была классной дамой. Не в этой гимназии, поскольку наша, третья, была в

прошлом мужской, но все-таки классной дамой. Все в ней точно соответствовало образу, созданному нами по описанию и рассказам матери. Между прочим, я сохранил в памяти ее имя, Марья Васильевна. Дама в пенсне спросила, куда мы направляемся, и тут произошло неизбежное. Вове нужно в третью, а мне во вторую группу. Беда стала неотвратимой. Нас разлучали, и меня охватило отчаяние. Оно было жестоким, как удушье. Из глаз полились слезы. Я не мог расстаться с братом. Почему этого никто не понимает? Мне не нужна школа, если она отнимает у меня брата.

Сколь ни велико было мое отчаяние, оно не лишило меня разума, и я понимал, что желание оставить школу было неосуществимо. Непостижимым усилием воли я сдержал слезы, уже подступившие к опасной черте. И нас развели. Я пошел в свое „бывшее“ старшее приготовительное, в Вовка – в „бывший“ первый класс.

Потом был урок. Учительница что-то рассказывала, спрашивала, что-то мы хором отвечали. Что-то отвечал и я. Но здесь в классе пребывало только мое тело, душа же была там, с Вовкой. Она рвалась к встрече с ним, и я томительно ждал этой минуты. Ждал, болезненно изнывая от тоски. Ждал, как выяснилось потом, зря и изнывал тоже зря. Я даже не мог вообразить, какой будет наша встреча, какие муки принесет мне.

Наконец раздался пронзительный звон колокольчика, и мы бросились вон из класса в едином порыве. Наконец-то! Теперь – к Вовке!

Звание второгодника не самое лестное в ученической иерархии. Однако для новичка второгодник – фигура весьма уважаемая, даже почтенная. Его опыт и осведомленность широко использовались и учениками, и учителями. Если в классе вышел мел, если учитель забыл захватить с собой наглядное пособие или перепутал журнал, если ему надо было что-то сообщить завучу, он, конечно, посылал второгодника. Тот все знал. Все выполнялось им ловко, со знанием дела, и у новичков вызывало щемящую зависть. За советом к второгодникам обращались все. В таком совете теперь нуждался я.

Где мне искать Вовку, как его найти в этой метущейся, ревушей на все голоса толпе? Я беспомощно озирался и в таком незавидном положении мог бы простоять всю перемену, если бы не наш второгодник Вася Щукин. В этом бедламе он чувствовал себя так же уверенно, как индеец в непроходимых зарослях тропического леса. Он знал все, в том числе и излюбленные места выпаса первоклассников. Безжалостно отбрасывая с дороги резвящуюся мелюзгу, он вывел меня к коридорному закоулку, где, по его убеждению, я должен был найти брата.

И вот я его ищу. Ищу в полной уверенности, что и он так же страстно ищет, ждет нашей встречи. Я уже трижды пересек закоулков, меня уже изрядно истолкали и потоптали, но одиноких, ищущих и тоскующих одиночек я не встретил. Как тогда было принято, ходили все обнявшись, по двое, по трое или даже четверками. Но я, не замечая их, высматриваю моего одинокого, тоскующего брата.

И вдруг я увидел его. Увидел! Но как? Он шел, весело улыбаясь, положив обе руки на чужие плечи. На лице его улыбка, но она адресована не мне. Он еще не увидел меня. Он смеется без меня, у него свое, не имеющее ко мне отношения веселье, и делит он его не со мной, а с мальчишками, которых впервые увидел всего лишь час назад. Что-то дрогнуло во мне. Какое-то новое, не известное ранее чувство охватило меня. Оно угнездилось где-то в груди. И подчинило меня целиком.

Наконец, брат увидел меня. Увидел, но не бросился ко мне, не освободился от объятия. Ко мне двинулась вся тройка, и мы встали друг против друга, словно две враждебные армии.

Я так много хотел сказать ему, сказать, сколь тягостными были эти долгие минуты разлуки, и убедиться во взаимности наших чувств, но рядом были чужие лица. Что мог я при них?

И все же я заговорил и, конечно, заговорил по-немецки. Мальчишки остолбенели.

— Что он говорит? На каком языке он лопочет? С

изумлением поглядывали они то на меня, то на Вовку. Продолжать я уже не мог, а перейти на русский тем более. И я молчал. Вовка начал что-то им объяснять, но к общей нашей радости в этот момент раздался звонок.

Так уже получилось, что не только разные классы, но и проклятый язык встал на пути нашей дружбы. Многим может это показаться странным и даже невозможным. Но тут я помочь ничем не могу. Таков факт. Грустный факт. Нам наша дорогая фрейлейн говорить друг с другом по-русски не разрешала. А не разрешать она умела, и мы с братом общались только на чужом языке. Читали русские книги, иной раз читали вместе, но обсуждали их, делились впечатлениями только по-немецки. Мы просто не умели говорить с ним иначе.

Встал он между нами и потом, в горестный час нашей вечной разлуки, этот язык. Но в тот день нам не дано было осознать, что с короткой встречи в школьном коридоре началось наше отчуждение. А если позднее и осознали, то не признавались. Но если бы даже и осознали и признавались, то это ничего бы не изменило. Вот так нелепо все получилось. Говорили между собой по-немецки или вовсе не говорили. И так до конца. До самого конца, после которого мы уже никогда больше не говорили. Письма, правда, писать мне еще довелось. И, конечно, по-русски. Но, Боже, какие это были письма! Совестно вспомнить. Словно не брату любимому, а чужому дяде были писаны. Но иначе не получалось. Чувства мои оформлялись словами чужого языка. Хоть бери да переводил. Дикость! Как писал и думал он, не знаю. Его писем я не читал и не видел, как никогда больше не видел его самого. Никогда. Зимой 1937 года состоялся наш последний разговор, когда дано нам было свидание после суда. Мы и тогда заговорили на злосчастном языке. Но не при ребяташках, а при людях с пистолетами и в синих фуражках. Снова все повторилось. Не вышло у нас прощание. Заткнули нам, грубо выражаясь, рты. Так и расстались. Навсегда. Погиб мой Вовка в Магаданских лагерях. Близнец мой. Часть тела и сердца моего.

ВОЛЬНИЦА

Нэп пришелся нам по вкусу. Да и как могло быть иначе? Наши запросы после долгих голодных лет были совершенно ничтожны. И они весьма щедро удовлетворялись. Мы были недурно одеты, в еде не нуждались, а при случае и лакомились. Вообще ни в чем, что родители считали разумным, нам не отказывали.

Но кроме таких, в общем, довольно примитивных радостей, наша ребячья жизнь была насыщена радостями духовными.

Какое это было удивительное время! Как вольно дышалось! Свободу получили не только те, что жаждали обогащения и плотских утех. Ее получили все. Все и во всем. Свободой упивались, ее примеряли и испытывали на все лады. Никаких препятствий никому и ни в чем никто не чинил. В духовной сфере не было фининспекторов. Никто ничего не регулировал и не ограничивал. Даже на улицах. Ходи, где хочешь. Говори, что хочешь. Собирайся, где и с кем хочешь. Читай и пиши, что хочешь. Вот таким виделся мне мир тех лет. Хотя я, конечно, понимаю, что обозревал я его с самой мелкой высоты. Но от этого для меня ничего не меняется. Тогда я жил именно в таком прекрасном мире. Даже если он и не был таким. Или был совсем не таким.

Одно бесспорно. Страшное время военного коммунизма осталось позади. Теперь можно было поднять голову, расправить плечи, а главное – языки.

Клубы расцветали, как весенние цветы. Их создавали наперебой повсюду, где находили подходящую почву. Появились клубы трамвайщиков, пишевиков, обувщиков, кустарей и даже домработниц. Именно домработниц, потому что слово „прислуга“ было упразднено. Оно перешло в ряд обидных, как и слово „лакей“.

Все клубы работали на полную мощность. Улицы запестрели афишами, объявлениями, призывами. Главной формой деятельности были диспуты. Рвались к трибунам все. Никаких „установок“ никто не давал, указаний не „спускал“. Говори, дерзай, критикуй, побеж-

дай или уступай.

И обсуждалось все. Все, что волновало, привлекало, интересовало. Двери клубов были широко открыты. Для всех. Охранять входы еще никому не приходило в голову. Входи и действуй. Только пожелай. Хочешь говорить – говори. Хочешь слушать – слушай.

И говорили. Говорили о Боге, вере и церкви, о любви, счастье, о половом вопросе, о литературе и моде, о семье и браке, о разводах и алиментах, о коммунизме и алкоголизме, о курении и физкультуре, о женском вопросе и международном положении, о поэзии и жизни на других планетах, об искусстве и происхождении человека. Приезжали писатели и поэты. И с ними тоже спорили. На равных. Их и хвалили, и ругали. Делалось это неловко, но бесстрашно и безоглядно. Дискуссии бывали бурными, страсти кипели, и противников не щадили, но арбитров не было. Авторитеты рождались тут же. Рождались и ниспровергались. Облеченных казенным правом на истину не было. Итогов никто не подводил. Каждый, уходя, решал все для себя сам. По своему разумению.

Помню, как взволновал общество приезд митрополита Введенского, апологета новой, так называемой живой церкви. Мои родители не пропустили ни одного выступления. Особенно велик был накал, когда в качестве оппонента митрополиту выступал Луначарский. Событие это обсуждалось всеми и повсюду. Я, конечно, ничего в этом деле не смыслил, но это не мешало мне твердо считать победителем Луначарского. Он был „нашим“, хотя за ним никто не стоял. Боролся он сам, в одиночку, как и его противник. Бой был честным, а в секундантах состоял весь зал.

Полемический азарт захватил и нас, мальчишек. Мы бегали из одного клуба в другой, с диспута на диспут, мало чего понимая, но радуясь возможности сидеть здесь наравне со взрослыми. Впрочем, что-то все же понимали по-своему. Мы слушали, наблюдали, оценивали выступления и выступавших в меру своих ребячьих возможностей. Дух вольности засасывал нас. Мы смея-

лись, когда оратора осмеивал зал. Неистово хлопали и стучали ногами, как делали вокруг нас. Незабываемое это было время. Все вокруг было захватывающе интересно. Но из всех разнообразных публичных зрелищ больше всего увлекали нас собрания, на которых происходила „чистка“ советского аппарата. Здесь все было нам понятно. Никаких заумных слов, никакого мудрствования такие собрания не знали. Чистка производилась так же свободно и нелицеприятно, как и диспуты по вопросам религии или проблемам пола. Заходи, кто желает. Говори все, что знаешь и хочешь. Тебя всегда выслушают. Одобрят, если говоришь дело. Затюкают, если будешь нести чушь или, того хуже, лгать.

У входа – призывные плакаты: заходите, помогайте! Здесь делается нужное, общее и полезное дело. Соваппарат должен быть на высоте. Если можешь – помоги. От тебя требуется лишь одно: будь честен, справедлив, правдив.

На диспутах мы ютились на задах. На чистке – занимали первый ряд, который почему-то, как правило, пустовал. Желающих сидеть носом к носу с президиумом не находилось. Кроме нас.

На сцене стол. Красная, выдавшая виды, бязевая скатерть, графин, стаканы. Из зала народ без стеснения идет утолять жажду.

За столом – комиссия. Мужчины со строгими усталыми лицами, в пиджаках, кожанках или заношенных косоворотках. Женщины в красных косынках, жакетах, кофтах, кожанках. По всему видать – рабочий люд. Никакого чванства. Никаких громких преамбул, заготовленных решений. Все решается здесь. Только здесь. Вместе с теми, что заполнили зал.

Не слишком гладко, но без „излишеств“ председатель открывает собрание. Приглашает всех желающих помочь комиссии, высказываться не стесняясь.

Большинство собравшихся знакомы между собой. Но немало и таких, что забрели „на огонек“, чтобы развлечься, послушать и поглазеть на тех, кто „чистит“

и кого „чистят“. Вот и мы такие, что заняли первый ряд.

Чистка начинается. На сцену приглашается первая жертва. Это невысокий, плотный человек в толстовке и очках, подпоясанный солдатским ремнем. Ремень здесь не случаен. Он должен как-то уравновесить очки при оценке социального положения хозяина. Ему предлагают рассказать свою биографию.

Говорит он складно и гладко, без запинки. Видно, что готовился к „судному дню“ основательно. Все отработано. Даже шутки, которые сопровождают рассказ. Сама по себе биография весьма заурядная. Служащий. Приказчик. Работал в магазине, гнул на хозяина спину с утра до ночи. Недоедал, недосыпал. Семья большая. Детей пять душ. Старики-родители. Во время войны был ранен. Демобилизовался. В Белой армии не служил. И в Красной – тоже, поскольку к службе после ранения был непригоден. В настоящее время работает счетоводом в Горкомхозе. В общественной жизни участвует активно. Недавно подал заявление в профсоюз. Всё.

Председатель предлагает задавать вопросы, и в зале поднимается несколько рук.

Из задних рядов звучит голос: „Пусть товарищ еще раз назовет свою фамилию и фамилию хозяина магазина“.

Человек на сцене спокоен. Вопрос для него не является неожиданностью.

– Вопрос товарища я понял, – говорит он по-прежнему уверенно, подтягивая ремень. – Отвечаю: моя фамилия Фильштейн. Фамилия хозяина – Ривкин. Он спокоен, но едва уловимая тень тревоги ложится на его лицо.

И снова тот же голос из заднего ряда:

– А как фамилия жены товарища Фильштейна?

Народ вокруг уже веселится. Но спрашивающий продолжает наступление:

– Ничего смешного нет. Пусть скажет!

Теперь уже всем ясно, что товарищ Фильштейн смущен. И голос у него уже не тот.

– Фамилия моей жены, конечно, тоже Фильштейн. Мы с ней состоим в законном браке, – пытается он шутить.

Но противник уже вцепился в него мертвой хваткой.

– Вы нам очки не втирайте! Какая у жены была фамилия до брака? Если не хотите сказать вы, то скажу я! Ривкина, уважаемые товарищи, была ее фамилия. И хозяин магазина, где Фильштейн якобы гнул спину, тоже, заметьте, Ривкин. Надо по совести перед комиссией, товарищ Фильштейн!

– Ну и что, что Ривкин? Что из этого? – вспыхивает человек на сцене. – Ну да, он Ривкин, брат моей жены. Так я, что, не мог у него работать? Он, вы считаете, из милости меня держал? Родственник в таком деле в тысячу раз хуже всякого чужого! Вы по совести хотите? Так он по совести своей семь шкур спустит, по-родственному!

Возмущение выручает его. Оно возвращает ему уверенность и бойцовскую форму.

– Я, товарищи комиссия, все по совести говорю. Так, как есть. Подумайте сами. Я бедняк. Пятеро детей и старики на моем горбу. Пошел к шурину в наймиты. Что я там имел? Врагам моим столько бы иметь. Сам он только посиживал и чай попивал, как какой-нибудь граф. А я и туда, и сюда, и привезти, и отвезти, а какой у нас товар вы знаете? Не марципаны какие-нибудь, а фураж! Знаете, что такое куль с фуражом? Их только Поддубному таскать в цирке! По шесть пудов! Все здоровье у дорогого родственника потерял. Сами видите!

Что следовало видеть, мы не поняли, но зал, судя по одобрительному гулу, понял. Народ здесь собрался такой, что в кулях с фуражом толк знал.

– Не надо волноваться, товарищ Фильштейн, – вмешался в спор председатель. – Есть у членов комиссии вопросы? Вопрос был у члена комиссии, молодой женщины в косынке, стянутой у самых бровей.

– Сколько вы получали жалования у вашего родственника, товарищ?

– Какое там жалование? Одно название. Ничего я не получал, – сделал тот пренебрежительный жест и брезгливо скривил рот.

– А все же? – прервал его председатель, – выходит, что задарма вы на него работали? А жили как?

– Вот так и жили, будь она проклята, такая жизнь.

Разве это была жизнь?

– Давайте не будем, товарищ Фильштейн. Отвечайте на вопрос, – построжал председатель.

– Какое может быть жалованье? Ведь родственники! Так, даст иной раз синенькую, а то зелененькую, чтоб ему пусто было. Какое жалованье?

В конце концов ответ удалось выжать: жалованье – около тридцати-сорока рублей. Эта цифра комиссию удовлетворила. Учитывая размер семьи, считать Фильштейна богачом нет оснований. Были и еще выступавшие. Они и вовсе фуражное предприятие Ривкина оценили как грошовое. По их словам, и сам хозяин, что по-графски распивал чай, в кресах не ходил. Так себе, середнячок. Иной раз тоже сидел на бобах.

Комиссия совещается и выносит решение. Считать, что товарищ Фильштейн чистку прошел. Пусть работает на здоровье и кормит свою ораву. Все довольны. Фильштейн спускается в зал и с торжеством поглядывает на задние его ряды.

Мы тоже рады за него. Да здравствует справедливость. На сцену уже приглашается следующий, и так до поздней ночи. А завтра все снова. Чистится весть многолюдный аппарат Горкомхоза. Вот такой была в те годы „чистка“. Все прилюдно. Публично. Не согласен – защищайся, убеждай, доказывай и знай: тебя слушают, никто тебе зла не желает. Здесь все свои. Честный, трудовой народ. То, что вся затея с чисткой унижительна и никак не укладывается в понятие „свобода“, нам, конечно, тогда в голову прийти не могло. Очень нравилась мне наша советская власть.

И надо отдать ей должное. Борьба за души людские стала едва ли не важнейшей частью ее деятельности. Она использовала любые средства, чтобы внедрить в сознание людей убеждение: это самая справедливая власть, ведущая народ к счастливому будущему.

Не могу даже толком объяснить, как это сделалось, но в короткое время молодежь оказалась фанатично преданной новому строю. Все были уверены, что жить в Советской стране – великое благо, что все в ней лучше и

выше, чем в любой другой. И эту уверенность мы распространяли повсюду. Каждый из нас становился горячим пропагандистом и проповедником идей новой веры. Я был среди них в годы моего детства и многие последующие.

Вспоминаю в этой связи потешный эпизод. В семье я не раз слышал историю о двоюродном брате матери – Мойше. Он был участником студенческой демонстрации в 1905 году и в стычке с полицией убил городского. Еврейская община укрыла его, приобрела шифскарту (билет на пароход в Америку) и отправила за океан. Мне импонировала эта легенда: мой дядя – отчаянный революционер, борец с ненавистным царизмом.

И вот однажды, открыв на звонок дверь, я увидел необычную фигуру. Гость выглядел так, словно сошел с карикатуры, изображавшей иностранца. Он был в шляпе, огромных очках в черной роговой оправе и клетчатых бриджах с застёжкой под коленями.

– Человек „оттуда“! – сразу сообразил я. – Как мог он попасть к нам? Но в этот момент подошла мать, и сразу же все разъяснилось. Человек в очках-велосипеде и бриджах бросился на шею матери.

– Рохеле! Мойшеле! – одновременно вскричали оба, проливая обильные слезы. Теперь все стало ясно. Это был тот самый мой дядя, двадцать лет тому назад переправленный в Америку. Революционер и герой! Я был счастлив и горд. Эти мои чувства удвоились, когда Мойше рассказал, что прибыл в качестве делегата от американской коммунистической партии. Дальнейший дядин рассказ несколько пришиб меня. Коммунист Мойшеле оказался владельцем швейной фабрики! Это плохо укладывалось в моей голове. Коммунист и фабрикант! Революционер и в то же время буржуй! Эксплуататор! Но пришлось мне с этим примириться. Все-таки полицейского он убил, так что революционером был настоящим. К тому же ведь дядя же!

И вот мы с дядей, сопровождаемые изумленными и завистливыми взглядами жителей нашей улицы, отправились на прогулку. Отчетливо, словно было это вчера,

помню, какие тогда владели мною чувства. Впрочем, множественное число здесь неуместно. Одно у меня было чувство: я должен показать американцу, что такое наша советская власть. Я должен продемонстрировать ему зримые ее успехи.

Замечательным достижением государства рабочих и крестьян, которым мы, мальчишки, ужасно гордились, был восьмиэтажный дом на углу Крещатика. Дом действительно был хорош, сверкая латунным золотом дверной арматуры и свежей краской оконных рам. Он был отстроен на наших глазах и виделся нам чудом, созданным любимой властью.

Увы, полного торжества не получилось, хотя дядя понимал и разделял мои чувства. Он был на диво тактичен, но невзначай упомянул, что помнит этот дом с дореволюционных времен. Пришлось мне признать, что дом некогда сгорел и был разрушен. Так что его не столько построили, сколько отстроили заново. Я был сконфужен, но все равно всячески и вполне искренне убеждал гостя в том, что так прекрасно восстановить его могла только наша советская власть.

В таком же неловком положении оказался я еще раз, когда с теми же распивавшими меня патриотическими чувствами водил другого заграничного гостя. На сей раз это был брат моего товарища, приехавший из Берлина, где он учился в университете.

Для демонстрации достижений день был исключительно удачным. Город праздновал тринадцатую годовщину Великого Октября. Повсюду развевались флаги, витрины магазинов и домов были увешаны гирляндами из разноцветных электрических лампочек. Мне казалось, что все вокруг прекрасно, как в сказке из „Тысяча и одной ночи“. Мы прошли по вечернему Крещатику. Гость смотрел вокруг, а я вглядывался в его лицо, где надеялся найти отражение восторга, который он должен был испытывать. А он молчал. Смотрел и молчал. Наконец, я не выдержал и прямо спросил его, как ему все увиденное понравилось.

– Недурно, – сдержанно улыбаясь, проговорил он. –

Так выглядят в будний день улицы Берлина, когда на электростанции произошла авария.

Что я испытал, выслушав эти обидные слова, понять нетрудно. Куда труднее понять, что даже попав в такой просак, я своих убеждений не изменил. Если бы я тогда знал слово „злопыхательство“, то им бы объяснил все. Но я его не знал. Однако мой советский патриотизм был непоколебим. Основы его были заложены отцом, поддерживались и развивались всем, что окружало меня. Повсюду видел я портреты наших вождей, лозунги, транспаранты с призывами к борьбе за новый быт, за торжество идей, провозглашенных партией и советской властью. И я любил и этих вождей, и эту власть. Любил и гордился ими.

МЫ В НОВОМ ДОМЕ

Если бы это зависело от меня, ни за что не стали бы мы переезжать. И все. Жили бы себе на Межигорской до конца наших дней. Я так любил наш родной Подол! А родители решили покинуть его и перебраться на „Верх“. „Верхом“ подольяне называли старую, расположенную на холме, „буржуйскую“ часть города, где был его центр с Крещатиком, аристократическими Липками, Купеческим собранием и Царским садом. Конечно, Крещатик был красивее Межигорской, а Царский сад не сравнить со сквером на Красной площади. Но мне милее была наша улица с пожарной каланчой, Контрактовым домом и буйным Житним рынком. О том, что Подол имеет множество пороков, я узнал лишь теперь, когда решение о переезде было принято. Послушать мать и всех посещавших нас знакомых, так выходило, что все на Подоле плохо. И шум невыносимый, и воздух плохой, и театров нет, а вместо приличных магазинов, одни лишь грязные лавчонки. В жизни бы я до всего этого не додумался. По мне, так и воздух был прекрасный, и лавки, в которых было все, что душа желает, замечательные. Базар, конечно, гудел и грохотал под

самыми нашими окнами. Но кому это мешало! Не будь его, мы бы иссохли от тоски. Зато хорошими были на Подоле люди. Простые, всегда приветливые и, казалось, все знакомые. Нет, лучшего места, чем наш уголок, не было на всем свете.

Но все это уже ни к чему. Переезд состоялся. Въехали мы в новый наш дом, и, по совести говоря, был он совсем не плохим. Даже хорошим он оказался. И место, где стоял, – тоже.

Из наших окон открывался вид на Петровскую аллею и Чертов мост. По правую руку стояло здание Исторического музея с колоннами и львами, охранявшими вход. А слева виднелись части стены и крыши Публичной библиотеки. Остальное прикрывали густой кустарник и плотный ряд тополей. Что и говорить – неплохо, хотя место это раньше было еще лучше. Прямо напротив дома находился знаменитый шантан „Шато де Флер“, „Мулен-Руж“ в миниатюре. Но он сгорел перед самой войной. Остались от него одни только закопченные руины и подземная часть: вся огромная отопительная система с мощными котлами и лабиринтом труб. Емкость их была столь велика, что в ней нашли приют целые полчища беспризорных и всякой преступной нечисти. Они жили здесь вполне оседло, и по утрам над руинами густо стлались черные клубы дыма: пещерное племя готовилось к утренней трапезе. А часом позже развалины уже напоминали муравьиную кучу. Чумазый народ выползал на поверхность. Группами и в одиночку темные фигуры расползались по окрестностям, направляясь к облюбованным местам своего опасного промысла. Опасного для горожан и для них самих. Жалости друг к другу не испытывала ни одна из сторон.

Вся эта часть Царского сада по понятным причинам считалась местом небезопасным, и порядочные люди его избегали. Мы же, мальчишки, именно здесь проводили большую часть своего свободного времени. Более того, среди беспризорных у нас было немало знакомых, хотя дружбы мы с ними не водили. Иной раз приносили им какую-нибудь снедь, но дальше этого дело не заходило.

В новом нашем доме до революции помещалась гостиница и, видимо, весьма respectable. Сужу об этом по случайно встреченному объявлению в газете „Киевская мысль“ за 1911 год. Помню его наизусть: „Вновь открыта гостиница „Регина“, с ванными и электрическим освещением, против Царского сада и „Шато де Флер“. Почему „вновь“, мне установить не удалось. А потом „Регина“ сгорела. Но когда, при каких обстоятельствах, я так и не узнал. Обгоревшее здание пустовало, и предприимчивые люди решили возратить ему жизнь. Время для этого было самое подходящее. На дворе стоял НЭП. Все необходимое было налицо: мастера, материалы, деньги. Дело было стоящее, и группу пайщиков собрали вмиг. Пайщиками стали и мои родители.

Дом был отделан на славу. В короткое время здание преобразилось. Нам досталась четырехкомнатная квартира, на благоустройство которой пошло шесть прежних гостиничных номеров. Один из них оборудовали под кухню, второй – под ванную и туалет. В конце коридора выстроили кладовку, где хранились дрова и всякий хлам.

Как мне это ни прискорбно, но, правды ради, скажу: все пайщики, наши соседи, были самыми настоящими нэпманами.

Под нами квартира была занята семьей, состоящей из одних женщин: каких-то старомодных старушек и расфуфыренных девиц. Слышал я, что жили там и мужчины, но видеть мне их не пришлось.

Квартиру напротив приобрел владелец большого мебельного магазина. Его я запомнил лучше, чем всех прочих жильцов. Не столько его, сколько его жену. Это была женщина нестерпимой, убийственной красоты. На туалеты ее муж, краснорожий, рыжий великан, не скупился. И когда она, в котиковой шубке и черной с блестками шелковой шляпке, шла по улице, ведя на поводках двух белых, как лебяжий пух, шпицев, пешеходное движение давало сбой. Столбенели не только мужчины. На женщин это зрелище производило не меньшее впечатление. Мебельщик со своей красавицей и шпицами был типичным,

так сказать, классическим нэпманом. Не чета старушкам и девицам из нижней квартиры, хотя, помнится, они тоже были владелицами чего-то: не то дома, не то хлебных складов.

В квартире над нами жила пожилая пара с тощим и чахлым туберкулезным сыном. Они жили весьма скромно, хотя имели типографию и писчебумажную лавчонку на Житомирской улице.

Четвертый этаж занимала семья инженера, хозяина большого магазина на самом Крещатике. В витрине этого магазина был выставлен сверкающий никелем станок. Не знаю, какой: токарный, а может быть, фрезерный? В таких делах я еще разбирался слабо.

Все прочие жильцы были того же порядка. В общем „буржуйский дом“. И дворник при нем был вполне соответствующий. Настоящий старорежимный блюститель чистоты и порядка. Как и все представители его профессии, он крепко пил, но дело свое знал. И как с нашей публикой обращаться, тоже знал как следует. По воскресеньям и праздничным дням он являлся в синей шевиотовой паре и картузе со сверкающим лакированным козырьком. Его маленькие, всегда почему-то слезящиеся глазки излучали преданность и благоговение. В дверях, открывшихся по его звонку, он стоял, изогнув и без того сутулую спину, прижимая к груди картуз. Кто бы ни открыл дверь, он требовал к себе „барыню“, просил у матери ручку и ловко, по-гусарски, еще больше изгибаясь, подносил ее к губам. Мать неизменно протестовала, но иначе, чем „барыня“, он к ней не обращался. Водки в нашем доме не держали, и ему на первых порах подносили вина. На лицо его набегала тоска, и сквозь почтительность проглядывало огорчение. Впоследствии мать уже такого промаха не допускала. Нашему Сильвестру (так звали дворника) наливали стакан „ханжи“, ядовито-лилового денатурата, который он вливал в себя с поразительным спокойствием. Потом он снова требовал у „барыни“ ручку и, пожелав всем здоровья, удалялся.

Хотя собрались в нашем доме одни лишь буржуи

нэпманы, люди это были хорошие, воспитанные, вежливые и доброжелательные. Очень скоро все перезнакомились и подружились. Стали ходить друг к другу в гости, собирались за столом, пили чай с вареньем и вкусными пирогами и, конечно, говорили, говорили... Больше всего о политике.

Мать со всеми ладила. Ей было все равно, нравится гостям советская власть или им больше по душе какая-нибудь другая. Она хозяйка. Ее дело угощать и чаи разливать. А вот отец не так. Ему не нравилось, когда эту власть ругали, и еще меньше нравились те, кто ее ругал. Прямо он этого не говорил. Гости есть гости. Обижать их в своем доме он не считал возможным. Но гости и без того понимали, что к чему. Так что вскоре посещать нас перестали, о чем я очень сожалел. Пироги, если не ждали гостей, мои родители считали излишеством. Их пекли лишь ко дням рождения и в праздники.

Однако классовая чистота нашего дома сохранялась недолго. Вскоре появились в нем „чуждые“ элементы.

Дело в том, что когда бывшую „Регину“ разделявали под квартиры, то на каждом этаже оставались „лишние“ комнаты. В квартиры их не включили, и были они сами по себе. Настолько по себе, что при них не было никаких удобств: ни кухни, ни туалета. Даже водопровода не сделали.

Две таких комнаты заняло домоуправление. Нам крепко повезло, поскольку были они на нашем этаже. Зато две другие – заселили. В одну поместили семью миллионера, во вторую – рабочего-кровельщика.

Милиционер был простой, совсем молодой парень с кривыми ногами кавалериста и вечно всклокоченной головой. Перебрался он с женой и мальчонкой лет 3-х или 4-х. Мальчонка как мальчонка. Плаксив был только сверх ожидания: все же сын милиционера! Зато уж жена... Золотистая ее головка с челкой до самых глаз не изгладилась из моей памяти и поныне. Хороша была милиционерша! Конечно, с женой мебельщика ее не сравнить, на уличном движении ее появление никак не отражалось. Что же касается меня, то нэпманша будила

во мне только чувство непонятного беспокойства. Болезненное томление, которое вызывала у меня милиционерша, было острее: она была ближе, доступнее красавицы-нэпманши.

Вторую квартиру занял кровельщик. Это был коренастый, приземистый мужик, стриженный ежиком и удивлявший всех необыкновенными усами, пушистыми, как хвост ангорского кота. Концы их были круто загнуты кверху и вызывающе торчали по бокам приплюснутого носа. Вид у него был свирепый, и мы его побаивались. Зато жена его, казалось, сама боялась всех. Маленькая, усохшая, какая-то запыленная, будто куст подорожника у обочины, она передвигалась бесшумно, словно тень. Голова ее всегда была низко опущена, а платок надвинут на самые глаза. Не знаю, как это получается, но дочь кровельщика не пошла ни в мать, ни в отца. Розовенькая, ясноглазая, с торчащими по сторонам беленькими косичками, она резвилась и скакала по двору, как молодая козочка. Вот такие у нас теперь были соседи.

Конечно, когда над головой есть крыша и даже свой уголок, это хорошо. Но при всем том, в уголках, доставшихся этим семьям, жизнь была незавидной. Воду они таскали ведрами со двора и туда же бегали по нужде. Кухней им служила лестничная площадка, где на табуретах размещались примусы и всякая кухонная снась. Примуса гудели, как автомобили, а кусавший горло чад заполнял весь подъезд и залезал в квартиры. „Благородное“ население возмущалось. Особенное негодование вызывал смрад от рыбы, которую наш пролетариат жарил на подсолнечном масле. Поначалу негодовали тихо. Шептались, ругались, взвинчивали себя и других. Наконец взбунтовались и весь скопившийся яд извергли в форме жалобы. Настрочили ее всем миром.

Помню, как появился к нам Сильвестр и вручил это послание. Подробностей в памяти не сохранил, но что главное обвинение состояло в рыбе и подсолнечном масле, помню точно.

Отец подписать бумагу отказался наотрез. Обозлила

она его ужасно.

– Что за люди! Что за люди! – бормотал он, шагая из угла в угол. – Как им не совестно! Виноваты эти бедняги, что нет у них кухни? Масло, видите ли, им не нравится! Позор! И еще считают себя интеллигентами!

Сильвестр принял отказ с явным удовольствием. А по тому, как стали здороваться с отцом усач и его чахлая жена, я понял: мы приобрели верных друзей.

Зато отношения со всеми прочими резко похолодали. Иные даже с матерью перестали раскланиваться.

Вот такие формы приобрело классовое противостояние в нашем доме. У нас на Подоле никогда такое бы не случилось.

И все же, хоть и тосковал я по родной Межигорской, но довольно скоро осознал, что родители были правы. Все на „Верху“ было действительно лучше. И улица, и наша квартира, и дом, и все прочее. Оценил я также и тишину, и воздух, и магазины.

Отец с матерью теперь зачастили в театр и на концерты в бывшем Купеческом собрании. Нас с Вовкой туда не брали. Разве что на какой-нибудь детский утренник, где мы битых два часа дурели от тоски. Зато широко распахнулся перед нами чудесный, умопомрачительный мир кино. Мы погрузились в него, как погружается ныряльщик. Стихия сомкнулась над нашими головами, поглотив тела и души.

Непостижимы и необъятны духовные возможности детства. Я вспоминаю, каким убогим, наивным и примитивным было кино в те времена. И все равно ностальгическая дрожь, словно приступ лихорадки, сотрясает все мое существо. Мне и сейчас кажутся непревзойденно-восхитительными ленты тех далеких лет. Ничто в моем сознании не изменилось. Их герои остались для меня самыми ловкими, красивыми и смелыми; женщины – самыми прекрасными; комики самыми забавными; и вообще... все было самое, самое. Помню все и помню всех, как если бы расстался с ними вчера. Неповторимые Пат и Паташон, Гарольд Ллойд, Бестер Китон, смешившие нас до судорог, до колик. Немысли-

мый красавец, белозубый Дуглас Фербенкс, трагический, незабываемый Пауль Рихтер и бесстрашный Гарри Пиль, божественные Лия де Путти и Мэри Пикфорд. И чего только ни творили они! Какие головокружительные трюки проделывали. А какое благородство, мужество, какие страсти! И все боевики, боевики... Одни названия чего стоят! „Акулы Нью-Йорка“, „Человек без нервов“, „Багдадский вор“, „Знак Зеро“. А „Нибелунги“, а „Корсар“? Боже, что они вытворяли с нашими юными сердечками и незащищенными нервишками! И это при всем том, что были картины немыми, и демонстрировались так, что совестно вспомнить.

Кинотеатров на Крещатики было, если не ошибаюсь, пять: „Корсо“, „Экспресс“, „Новый мир“, „Малый театр“ и знаменитый „Шанцер“. Это уже потом, в наше печальное время, прошлись по этим названиям серой краской, и стали они скучными Госкинотеатрами. Только и отличались, что номерами: Первый, Второй, Третий и т.д.

Названия были пышные, а сами театры не бог весть какие. Блистал один лишь „Шанцер“. Так привычно называли его по имени владельца. Но был бы он и в наше время не последним. Всем блистал: сверкающим хрусталем многоярусных люстр, желтым с прожилками мрамором колонн, вишневым бархатом кресел, великолепием расписанных стен и зеркальным блеском затейливого паркета. В просторном фойе скучать не приходилось. Были в нем игротека, читальный зал и буфет с мороженым, пирожными, конфетами и лимонадом. И всюду тем же красным бархатом крытая мебель. До чего же было там тепло и уютно! И публика у „Шанцера“ была почище. Почему так – не пойму. Цены были повсюду те же. Зал делился на три сектора. Ближайший к экрану – „третьи места“, за ними – „вторые“, и позади до самой стены – „первые“. Соответственно и цены: от 50 копеек до 1 рубля. Днем – подешевле. Кресла нумерованы не были, так что после звонка народ врвался в зал подобно стаду бизонов, и места брались с бою. Но вот схватка закончилась, и все расселись. Лица еще красны, но на них уже пробиваются улыбки. Недавние обиды

забыты. Впереди – блаженство.

Картину демонстрировали по частям. Светящиеся красным указатели держали в курсе: идет часть 2-я, 3-я или десятая. Опоздавшие имели право досмотреть пропущенное на следующем сеансе. Мы никогда не опаздывали, но дарованным правом пользовались неизменно. Высиживали по два сеанса, а то и более...

Как правило, одна лента демонстрировалась одновременно в двух, а иногда и в трех театрах. Таким образом, между частями возникали вынужденные антракты. В зале зажигался свет, и зрители ждали прибытия очередной части. Коробки с лентами переносили скороходы, мальчишки, которым за этот почетный труд разрешалось бесплатно посмотреть картину. Получив коробку, они сломя голову мчались к соседнему театру, где взамен получали другую и с нею, задыхаясь, обливаясь потом, неслись обратно. Вся процедура занимала 10-15 минут. Это время люди заполняли соответственно своим вкусам и культурным потребностям. „Чистая“ публика шелестела газетами и предусмотрительно захваченными с собой иллюстрированными журналами. Женщины жевали конфеты. Население „третьих“ мест, как правило, лузгало семечки.

Но вот добровольцы впередсмотрящие с криком врываются в зал: „Бегут! Несут!“ По этому сигналу сворачиваются газеты и журналы, защелкиваются замки дамских сумок, смыкаются рты. Еще мгновение – вспыхивает экран и принимается за дело тапер. Он здесь далеко не последняя фигура. Что за кино без музыки! И вот ведь! На экране такое творится, что впору и мать родную позабыть, а музыку не забывают. Тут герой, одолев целую толпу злодеев, освобождает свою возлюбленную и заключает ее в свои объятия, а звучит черт знает что. Вместо веселья, какая-то похоронная. И зал взрывается. „Музыка! Музыка!“ – орут люди и топают ногами, свистят, неистовствуют. Тапер спохватывается, и мрачные аккорды сменяются мажорным арпеджио. Все в порядке. В зале снова тишина.

Правда, так бывало всюду, но не у „Шанцера“. Здесь

не было тапера. Его заменял, хоть и немногочисленный, но вполне солидный симфонический оркестр. С дирижером в настоящем фраке. И семечек у „Шанцера“ не лузгали. И поцелуи на экране проходили без саркастических вздохов и чмоканья. Иная сюда ходила публика. Не вздыхающая и не чмокающая.

Вот таким было тогда кино, и никакого другого, лучшего, мы не желали. Да и что могло быть лучше? Все было как надо. Разве что иной раз обрывалась лента и возникал незапланированный антракт. Но никого это не смущало. Самые нервные и дурно воспитанные, конечно, не упускали случая показать себя. Свистели, топали ногами и орали во всю глотку: „Сапожник, сапожник! Вон из будки!“ Но и они скоро успокаивались и принимались за семечки. Вообще же такое происходило только на „третьих“ местах. От них исходили и топот, и свист, и всякие выкрики. Так низко занимавшие задние кресла не падали. Связь между достатком и культурным уровнем была четкой. Крикуны, свистуны и любители семечек рублевых билетов не покупали. И не только потому, что было это не по карману. Просто не считали нужным в такое пустое дело вкладывать свои капиталы. Иное дело кресла. Здесь царил другой климат. Рублевый. И если среди рублевых затесался полтиничный, то он уже марку держал. Не топал и не чмокал. Держал равнение. Во всем этом была своя логика. Логика социальной уравновешенности. Не справедливости, а именно уравновешенности. Или определенности. Можно и так. Между одеждой, манерами, речью и содержимым кошелька была зримая зависимость. Не без исключений. Даже многих исключений. Но, в общем, так. По крайней мере в моей ребячьей памяти. Представить себе хорошо одетого человека сквернословящим и сморкающимся в кулак было невозможно. И много времени и стараний потратило наше общество, чтобы разрушить эту связь. А жаль. Очень жаль.



Не хочу, чтобы у когонибудь сложилось впечатление, что ничего, кроме кино, нас не интересовало. Интересовало. И очень многое. Да и бывали мы там всего-то раз в неделю. Обычно по воскресеньям выдавался нам рубль, и мы отправлялись к „Шанцеру“. Отпускали нас только на утренние сеансы. Билет на утренний сеанс в других театрах стоил 35 копеек, а у „Шанцера“ – 50. На этой разнице мы могли бы недурно „заработать“. Но мы ходили только к „Шанцеру“. Прежде всего потому, что это был „Шанцер“, а каким он был, я уже рассказал. Стоил он того рубля. А кроме того, обходилось нам это блаженство всего... в один полтинник.

Силюсь вспомнить, а главное понять, как возникает у столь благодетельных „домашних“ деток, какими мы с Вовкой были, такая изворотливость? Но факт. Возникала. Самым бесстыдным образом отправились мы к администратору с просьбой разрешить нам пройти вдвоем на один билет! И такое разрешение мы получили. Тогда нам казалось, что совершилось чудо. Теперь я понимаю, что никакого чуда не было. Зал в эти часы пустовал, и администратор предпочел продать один билет на двоих, чем не продать ни одного. Воодушевленные удачей, мы в дальнейшем уже без прежнего трепета прямо шли к окошку администратора. И так обе стороны вошли во вкус, что мы и вовсе обнаглели. Покупали один билет и заявляли контролеру, что идем с высочайшего разрешения. Все шло как надо. Без осечки.

Сколь ни значительно было место, которое кино заняло в нашей жизни, простора для прочих интересов было достаточно. „Шанцеру“ посвящалось воскресное утро, но и все остальное свободное от тяжких трудов время было заполнено до отказа. Помню, как насквозь пропитанные потом, с раскаленными, налитыми жаркой кровью лицами, предавались мы многочасовой игре в „сыщиков и разбойников“, до темноты гоняли „цурку“ или штурмовали лессовые кручи Царского сада. Увлече-

ния захлестывали нас, как волны. Уходили одни, накатывались другие. "Цурки-палки" сменялись городками, которые уступали место пинг-понгу, а за ним наступало время сбора каштанов. Тут уже деться некуда – дело сезонное. Да и дело было азартное: сшибать палками колючие плоды и извлекать из них влажно-блестящие, сверкающие семена. Затем вдруг все бросались мастерить луки и стрелы, устраивались соревнования по стрельбе. И не было этому конца.

Когда нынешние подростки жалуются и изнывают от безделья, мне просто трудно их понять. Перед нами стояли лишь два препятствия: недостаток времени и сопротивление родителей. Никому из нас не пришло бы в голову сетовать на недостаток внимания старших, отсутствие помещения, какого-то оснащения и прочего, о чем теперь так много говорят и пишут. Всякий „инвентарь“ готовили своими руками. Выпиливали ракетки и изощрялись в поисках покрытия. Оклеивали резиновой губкой, наждачной бумагой, сукном или фетром. За прутьями для стрел совершали походы в Пущинские леса, что и само по себе было увлекательно. И уж, конечно, мы – вся наша уличная братия – не курили и не пили. О наркотиках в те времена никто и не слышал. Мы стояли лишь у порога цивилизации, и это было прекрасно.

Часы, проводимые в школе, составляли, конечно, немалую долю в нашем бытии. Но странным образом жизнь была жестко разделена в пространстве и в сознании. В школе была своя жизнь, с присущими ей специфическими увлечениями и бурением страстей. К тому, ради чего нас посылали в школу, они не имели никакого отношения. Занятия, уроки являлись чем-то побочным, своего рода неизбежными издержками, как бы условием существования веселого школьного мира. Покидая школу, мы тотчас о ней забывали. Двор, улица, просторы Царского сада поглощали нас полностью, если не были мы поглощены упомянутым бурением страстей. Тут уже, конечно, никаким просторам, хоть уличным, хоть сада царского места не оставалось, и всему этому я посвящу целую главу. Пока же доскажу, чем наполняли мы свой

досуг. О, так сказать, буднях нашей небудничной жизни.

Творческой нашей фантазии не было предела. Помню внезапно охватившую нас страсть к радиотехнике. Раздобыли схему единственной тогда модели детекторного приемника Шапошникова и принялись за дело. Главный принцип был сохранен: все своими руками, все от коробки до последнего контакта. И это при том, что стоили нужные детали сущие гроши. Копейки. Купи мы их в магазине, вся затея обошлась бы в один рубль и не более того. Но мы ничего не покупали. „Штрейкбрехеров“, а такие бывали, мы дружно презирали. Даже святая святых, детекторный кристалл, мы изготавливали по рецепту. Это был дьявольский труд. Повторяли плавку по десять, двадцать раз. А стоил такой кристалл не то десять, не то 8 копеек. Но не покупали. Таков был невесть как возникший кодекс чести. И только две вещи приходилось добывать „нечистым“ путем. Но тут уже деваться было некуда. За моток проволоки и наушники надо было расплачиваться чистоганом. Все прочее в поте лица высекали из всякого хлама.

Слов, которыми можно было описать наши чувства, когда в наушниках рождались первые потрескивания, а потом и организованные звуки, у меня нет. Я даже их не ищу, понимая, сколь непосильна такая задача. Впрочем, одно слово я бы рискнул здесь употребить. Слово это – счастье. Я понимаю его так. Восхождение на вершину. На предел чувств. Оргазм.

Изготовив приемник, мы с Вовкой потеряли к нему интерес. Да и какой интерес слушать жалкое попискивание, где, в лучшем случае, распознаешь лишь одно слово из трех? Не дело это при наших темпераментах. Бросили технику. Нашлась ей достойная замена. До одури гонялись мы за бабочками. В короткое время достигли поразительного совершенства. На лету мгновенно определяли насекомых, ловили сачком из любого положения без промаха. И все в прежнем стиле. Сачки, расправилки, коробки – все своими руками из всякого хлама. Пробковые донья для втыкания булавок заменяли чем попало: сухими листьями, торфом, на худой конец – песком. И

опять же при том, что стоила пробка всего ничего.

Отдала свою дань энтомологии команда нашего двора. Поиграли – и всё. Кончили. Все, кроме меня. Я не бросил. С годами число коробок возрастало, и коллекция моя уже по своей ценности вышла за пределы любительской. Научную ее значимость определить не пришлось. Просуществовала она до 17 июня 1938 года, дня ее смерти. Но об этом – в другой раз. Пока ограничусь датой. Она достаточно выразительна.

Бабочки сыграли в моей жизни роковую роль. Они определили весь ее последующий ход. Не будь их, все сложилось бы иначе. Может быть, хуже, а может быть, и лучше. Но иначе – безусловно. Во всяком случае, когда я решал вопрос о будущей профессии – выбрал биологию. Выбрал не размышляя, по велению сердца, а оно принадлежало бабочкам. От них все пошло. От бабочек.

МОЯ ВТОРАЯ ЛЮБОВЬ

Уверен, что немногим удалось прославиться, имея 11 лет от роду. Может быть, даже и никому. Прославиться на весь город, а то и на всю страну. Мне и дружку моему Вовке Афанасьеву удалось. Ему, правда, лет было больше. Это мне – одиннадцать, а он уже отмахал все двенадцать. И если у кого-нибудь насчет нашей славы возникнут сомнения, то напрасно. Тому есть документальное подтверждение. Был у меня такой документ. Хранил я его долго. Да разве мог он уцелеть? Так все жизнь перекорежила, что диву даешься, как сам сохранился, не то что какая-то бумажонка. А бумажонка – вырезка из киевской нашей газеты с объявлением: „ПРОПАЛИ МАЛЬЧИКИ! Дося Генин – 11 лет, и Вова Афанасьев – 12“. Дося Генин, понятно, я. Ну и остальное тоже понятно. Было еще там про то, как и во что пропавшие одеты. Наконец жирным шрифтом напечатано было обещание за сведения о пропавших выдать приличное вознаграждение. Вот такое было объявление.

Скажу, что той радости, какую испытал чеховский

чиновник Кулдаров, узревший свое имя в отделе происшествий местной газеты, я не испытал. Но лестно все же было.

А все вышло из-за девчонки. И объявление, и пропажа наша. Так сразу объяснить здесь все я не могу. Надо по порядку. Одно только скажу, что повинна была во всем девочка, которую звали Нина. Нина Теплова.

Такое несколько необычное название дано главе неспроста. Каждому ясно, что если речь идет о второй любви, значит, была уже до нее первая. И хотя имел я в ту пору от силы пять или шесть лет, я не забыл о ней. О первой моей любви. И память о ней храню. Светлую память.

Влюблен я был как сумасшедший. Зажгла во мне самую неумную, неодолимую страсть девчушка, которую звали Фофой. Было, надо полагать, у нее и другое имя. Такое, что вписывают в метрику или паспорт, но его я не знаю. Все называли ее так. Была Фофа человечком редкостной красоты и обаяния. Совсем как Дюймовочка на цветной картинке в моей любимой книжке. Вот она, Фофа-Дюймовочка, была моей Первой. Никакого преувеличения тут нет. Все симптомы были на лицо. Я млел, горел, ревновал, тосковал. Все было. Не было только счастливого конца. Моя Дюймовочка умерла от тифа в беспощадные годы гражданской войны. Рубец от раны, нанесенной мне ее смертью, я могу нащупать даже теперь.

Ну а поскольку Дюймовочка была Первой, значит Нина была Второй. Вторая любовь – словосочетание непривычное. Но она была Второй, и тут уже ничего изменить нельзя.

Спросите у меня, какие вчера были на моей жене или дочери платья, не скажу, а если и скажу, то наверняка ошибусь. Но как была одета она, моя Вторая, когда я впервые увидел ее более шестидесяти лет назад, скажу. И тут уже ошибки не допущу. Будет ответ мой верен, как сигнал точного времени.

А увидел я ее в первый раз, когда появилась она в нашем классе вместе с учительницей, Ксенией Федоровной. Привела ее учительница за ручку, как приговишку, и

все о ней рассказала. И как зовут, и какая она прекрасная ученица, и как поет хорошо, и что приехала она к нам из Тифлиса.

Все, конечно, на нее глазели и слушали. Я тоже и глазел, и слушал, но ничего особенного не наглазел. Девчонка как девчонка. Если насчет мордашки, то в нашем классе были и почище. Хоть та же Фая Гальперина. На нее не то что мальчишки, учителя засматривались.

Тут еще важно и как одета была наша новенькая. Тоже не последнее дело. Наши девчонки, и не только Фая, иной раз крепдешиновые и еще какие-то блестящие платья надевали. Я в них ни черта не понимаю. Только вот крепдешин запомнил. И еще коверкот. У мамы костюм был из коверкота. Серый такой в маленькую елочку. А на новенькой, какие уж там коверкоты! Юбчонка синяя, блузочка матросская и нитяный беретик, черный с помпоном. Не баловали ее, видно, дома. Единственное, что добралось до самого моего сердца, так это Тифлис. Почему так, я еще объясню. Теперь только скажу: то, что девочка эта приехала с Кавказа, сразу подняло ее на такую высоту, до какой никаким Фаям с их крепдешинами и коверкотами не дотянуться.

Получилось так, что накануне поругался я с соседом своим Лодькой Шутиным, и он, назло мне, перебрался к моему недругу Семке Мерзляку. Так что на парте остался я один.

Ксения Федоровна углядела это тотчас же.

– Вот тут мы тебя, Нина, и устроим, – обрадовалась она. – Сосед у тебя будет беспокойный, парень он озорной, любит покуролесить, но обижать тебя не будет. За это я ручаюсь. Душа у него хорошая.

Ксения Федоровна заискивающе улыбулась и провела надушенной рукой по моим волосам.

– Ты уже извини, что я тебя так.

Если она действительно думала, что уязвила меня, то очень ошибалась. Совсем напротив. Мне ее слова, как если коту брюшко почесать. Лучших и придумать невозможно. Но скорее всего, она так и не думала. Все понимала, видела нас насквозь. Получше любого рентгена.

Я подобрался, скользнул на край скамьи, и Нина уселась.

Вот с этого все и пошло. Зрение у меня неважное. Там, когда стояла она у доски, видел я ее, как в запотевшем зеркале. Теперь была у меня возможность разглядеть ее во всех подробностях. Сидел я от нее справа, место же учительницы у окна, слева. Нина, конечно, смотрела на учительницу, а я на нее. На ее профиль. Изучал на нем каждую черточку, каждую складочку, каждое пятнышко, каждый волосок, и занятие это нравилось мне все больше и больше. Я все смотрел и смотрел, а где-то, где именно и понять было нельзя, колыхалось во мне какое-то невянятное беспокойство.

У доски что-то обсуждали, писали, но все это, минуя меня, терялось в пространстве. Я был тут, но вроде меня и не было. Тело здесь, а все остальное неизвестно где.

Нина была чистопробной брюнеткой, из тех, у которых в складках кожи таится шоколадная, знойная темнота, а ноздри заполняет густая тень. На шее, возле самого уха приютилась родинка. По форме и цвету — точно семечко из стручка акации. Волосы у нее были иссиня-черные, как у южно-американских индейцев. Но больше всего поражали ее глаза. Когда она моргала, казалось, две бабочки траурницы распахивали свои бархатные крылья. Нет, красивее девчонки я не видел никогда. Даже жене рыжего мебельщика было до нее далеко, не говоря уже о том, что та просто старуха: никак не меньше двадцати пяти, а то и больше лет. К тому же она всегда намазюканная и посыпана пудрой, как ромовая бабка сахаром.

Я мог бы предположить, что дивный Нинин образ создан мною теперь одним лишь воображением, и ничего необыкновенного в этой девочке не было. Но это не так. Встретившись с ней в недобрый час, мои родители в один голос нарекли ее ангелом. Мать как мать, но отцу были чужды преувеличения и чрезмерные восторги. А вообще-то, ангел — не ангел, а втюрился я в нее по самые уши. Влюбился, по-человечески говоря, как Ромео в свою Джульетту.

Теперь надо мне все-таки про Тифлис объяснить. Очень надо. Без него, Тифлиса, ничего бы вообще не было. И любви моей второй тоже. Даже если бы не просто ангелом, а самым архангелом была Нина.

Так вот, в то время все наши мальчишки из-за Майн-Рида и Фенимора Купера совсем головы потеряли. Только и разговоров, что о Кожаном Чулке, Следопыте и Оцеоле. Тогда еще не было ни Павлика Морозова, ни Стаханова и разных героев труда. Так что героев мы находили в романах о наших краснокожих братьях. Мимо меня они, конечно, не прошли. Иначе и быть не могло. Оцеолу и Чингачгука я тоже уважал. Но своих героев я нашел не у Майн-Рида и не у Фенимора Купера. Моим кумиром был Лермонтов. Михаил Юрьевич. Рядом с ним уже никому места не оставалось. Зеленый том его сочинений в издании Павленкова я не выпускал из рук. Все знал на память. Во всяком случае все, что касалось Кавказа. В какое сравнение могли идти Чингачгук и вождь семинолов с лихими джигитами Хаджи-Абреком и Бей-Булатом? Да у меня кожа на голове холодела, когда я в сотый раз пробегал по этим строкам:

„Я“, – молвил витязь черноокий,
Схватившись за кинжал широкий.
И в изумлении немом
Толпа раздвинулась кругом...”

Какой уже тут Майн-Рид! Сил нет вытерпеть то, что творят с организмом эти безжалостно-совершенно выстроенные слова. Тысячу раз гляжу на них, и все та же мука сокрушает мое существо. Ах, Кавказ, Кавказ...

Нужно ли еще что-то объяснять? Ведь Нина явилась оттуда! Да к тому же из самого Тифлиса! А вдруг она еще и какая-нибудь княжна, вроде Джавахи?

Человеком я был грешным, но врать просто так – нет. Этим не грешил. Нине же, в первом нашем разговоре, я такого наплел, что вспомнить совестно. Врал, как тот барон. Зачем врал барон, не знаю. А мне иначе было

нельзя. Не сказать того, что сказал, это все равно, как поймать жар-птицу и не добыть себе даже пушинки. Каждый меня поймет.

Вот спрашивает она меня, бывал ли я в Тифлисе? Что мне было ей ответить? Конечно, говорю, был и даже жил в нем. Очень, говорю, прекрасный город. Тут я мог бы сразу же и погореть. Но Нина – ей что ни скажи – все за чистую монету принимала. Я и осмелел. На все вопросы – один ответ: да, видел, бывал, помню. Церковь? Конечно. Дом с длинным балконом и лестницей? Ну, как же, очень даже помню. И переулок напротив... Сказал и обмер. А вдруг название спросит? Не спросила. Сама назвала и про лавочку, что на углу, рассказала. Тут уж я и вовсе совесть потерял. Сам в петлю полез. Наврал, что в эту лавчонку меня посылали за лавашами и мацони. До такой наглости дошел, даже понятия не имея, что такое мацони. И о лавашах представление имел самое смутное. Но Нина только хлопала своими мотыльками, и так из-под их крылышек лучились ее глаза, что мне становилось тесно в собственной коже. Распирали меня какие-то силы, которым я не знал названия.

В общем, испытание я выдержал, а сражение проиграл. Был я покорен и пленен. Стал рабом этих неотступных глаз, шоколадных тайн изгибов кожи и беспокойной темноты ноздрей. Я стал рабом, но рабство мое было бессознательным и безвредным. Противиться ему я не мог. И не хотел.

Мы были детьми, и тела наши были безмятежны. Великому закону они еще были неподвластны. Но души жаждали соприкосновения. Иных желаний у нас не возникало. По крайней мере у меня. И то, чего я желал, я получил. Хотел заполучить Нинину душу, и она стала моей. Скупыми, по неумелости моей, но значительными по обилию и весу чувств словами выплеснул я перед ней все, что из глубины давило и распирало меня. В тот миг я словно освободился от атмосферного давления, уйдя в околосреднее пространство, где уже бессильно среднее притяжение. Так должен был ощущать себя первый взлетевший на шаре или самолете человек.

Но взлетевший неизбежно возвращается на землю. Потому что вечны и давление, и притяжение. Так что пришлось вернуться и мне, и было мое возвращение нерадостным, как пробуждение узника. Как тот бедняк из басни, что заполучил сокровище, я лишился покоя. Разница между нами состояла лишь в том, что бедняк, покоя ради, мог отдать свое сокровище. Я этого не мог. В нем была вся моя жизнь. Мне хоть так, хоть так. Либо сокровище с муками, либо муки без него. Вот такой был у меня выбор. Я выбрал первое.

О ревнивцах Сервантес писал, что смотрят ониечно в подзорную трубу, которая вещи малые превращает в большие, карликов в гиганты, догадку в истину.

Недобрую эту трубу я держал у глаза непрерывно. На ней лежала вина за неизбывную мою маету. Ревность неистовствовала во мне. Она преследовала меня постоянно и повсюду, как страх смерти безнадежного больного. И будь бы тут одна только ревность! С ней в одной связке шли неизбежные ее спутники. Меня истязали сомнения и страхи. Я боялся потерять Нинину любовь. Боялся уронить свое достоинство. Страшился разлуки. Убийственной была мысль о нашем неравенстве, скудости моих качеств, которые противостояли ее совершенствам. Существование мое стало тесным и беспокойным.

Теперь сквозь мудрость мою вижу я и осознаю: велики были муки, потому что велика была и любовь. Они всегда стоят рядом. Великая любовь и великие страдания. Поэтому я думаю, что были те дни самыми прекрасными в моей малоуспешной жизни. Я часто и нежно вспоминаю их. И чту. Чту невозвратную память о них и о моей ребячьей любви, о черненькой, незатейливой девочке из Тифлиса.

Было бы бесчестно с моей стороны сказать, что упомянутые страхи и сомнения кустились на бесплодной почве. Природа, создавая меня, решила обойтись малыми средствами. Была скорее скупа, нежели щедра. И последствия такой ее скаредности я умел оценивать трезво и беспристрастно. Кем и каким был я тогда? Был маленьким мальчиком из добропорядочной и вполне

благополучной семьи, маменькиным сынком в самом нелестном значении этого понятия. Ни ростом, ни силой, ни мужественностью облика похвастать не мог. Правда, девчонки говорили, что мордочку мою считают смазливой. Но какой это козырь в большой игре? А игра уже пошла.

Новую звезду на школьном небосклоне народы углядели очень скоро. На Нину устремилось множество алчных глаз и, что было особенно тревожно, глаз старшеклассников.

К счастью, школа наша была семилетней, так что „старички“ не слишком далеко от нас стояли, пятиклассников. Но все же перевес имели.

Самой едкой была тревога, которую будили во мне двое из определившихся соперников: Еська Аршавский и Колька Зильгалв.

Как обстоит дело в наши дни – не знаю. Но тогда в каждой школе непременно выделялась группа мальчишек, все перемены проводивших в глухих и затемненных закутках коридоров, пустующих классах и туалете. Все эти помещения служили как бы клубами. Здесь, сопровождаемые восторженными вздохами и поощрительными возгласами почитателей, всенародные любимцы демонстрировали свою удачу, силу и мастерство: делали стойки, ходили на руках, крутили сальто. Умельцев, проделывавших все эти фокусы, было немало. Их уважали и воздавали положенное по заслугам. И все же относились к их искусству так, как относятся к оркестру и певцам, услаждающим публику в фойе перед началом сеанса. Потому что царицей туалетных подмостков была чечетка. Мастера этого жанра стояли на самом пике школьной иерархии и, по совести говоря, они этого заслуживали. Их искусство было доведено до высокого совершенства.

Исполнялся танец в особом, не знаю уже, откуда пришедшем, сухом и лаконичном стиле. Главный шарм стиля состоял в четком разделении функций между нижней и верхней частями тела. Ноги должны были в бешеном темпе отбивать кастаньетно-цокающую

ритмическую дробь. Лицо же в этих упражнениях не участвовало. Оно оставалось отрешенно-бесстрастным. Такая его безучастность тонко подчеркивалась крепко стиснутой в зубах папирсой. Легкий прищур глаз придавал лицу выражение самодовольного превосходства и мягкой снисходительности. Все оттенки этой игры были тщательно отработаны, выверены и освящены традицией.

Обо всем этом я рассказал так подробно, чтобы стало понятно, с каким грозным противником мне предстояло схватиться. Среди чечеточных асов Еська был далеко не последним. Он ходил в любимцах, и слава его была в зените.

И все же, как ни высоко стоял мой соперник, борьбу с ним я не считал безнадежной.

Все дело в том, что Еська, хотя и состоял в заслуженных, был моим соплеменником. Для меня это было решающе важным. Своих соплеменников я не боялся. Усвоил с самых пеленок, и жизнь многократно подтверждала, что на большое зло они не способны. В массе, в большинстве своем, они совестливы и мягкосердечны.

Когда в наших мальчишеских стычках, будучи прижат к стенке, мой противник хватался за камень, я знал: камень в еврейских руках мне не опасен. И я шел вперед. Был уверен: еврей камня не бросит. Угрожать, замахиваться – это пожалуйста. Но швырнуть, да еще и с намерением попасть, – никогда!

Но если передо мной был иноверец, я, не раздумывая, спасался бегством. Тут уже все дело в опыте. Этот бросит не колеблясь. Он на такое способен. Говорю так не в осуждение. Напротив. Просто из зависти.

В общем, на Еськиной стороне были все преимущества. На моей – ни единого. Правда, на физиономии его веснушек, что на маце дырок. Точно девица с этикетки на креме „Метаморфоза“ до применения этого чудодейственного средства. По совести говоря, был и я не без греха, но от Еськи здорово отставал. И все же. Как говорится, имел он, грех, место. Ну, а больше мне крыть было нечем. На руках не ходил, сальто в туалете

не крутил и по части чечетки выдающихся достижений не имел. Но при всем том Еська был евреем, и для меня этим сказано все. С ним я еще готов был потягаться. Отчасти, конечно. Только отчасти.

С Колькой дело обстояло иначе. Колька был немцем. Мы тогда разницы не делали. Что немец, что русский, что украинец. Хоть турок. Все едино. Для меня и таких, как я, все они были просто н е е в р е я м и. Не еврей – и к этому прибавить нечего.

Колька был рослым белобрысым балбесом. В свои 13 или 14 лет выглядел он на все восемнадцать. Просто-таки взрослым дядькой выглядел. Против него мне уже выставить было нечего. Хорошо было прашуру нашему Давиду. Он все рассчитал. Шарахнул дурня этого, Голиафа, каменюкой – и все дела. Даже в цари потом выбился. Но не всем же такое досталось. Быть Давидом. Я, к примеру. Какой из меня Давид!



Великий путаник Оська считал, что все мы вылезли из обезьянки. Это я в книжке Льва Кассиля вычитал. И в чем-то был Оська, конечно, прав. Однако по недостаточности лет и малой образованности своей сильно упрощал дело. Что к обезьянкам мы имеем известное отношение, тут все верно. Но никто ни из кого не вылезал. Наша история, по рассказам отца, виделась мне так: решение выйти в люди нашими предками-обезьянками было принято не от хорошей жизни. Ведя много-трудную, полную опасностей жизнь, с трудом сохраняя себя и мелких своих потомков, они однажды осмыслили безутешность своего положения.

– Мы, обезьянки, – рассуждали они, – существа маломощные. Обделил нас Бог. Не дал ни рогов, ни клыков, ни когтей острых. Зубенки и ногти у нас самые жалкие. Зато врагов наших, коих без счета вокруг, вооружил до ушей и даже выше. Не устоять нам против них при таком нашем устройстве. Одно у нас спасение:

вооружиться. Чего не дал Бог, добыть самим. Обзавестись дубинками, а не то и просто камнями. Вот тогда можно будет и за себя постоять.

Рассудили они так и, выходит, рассудили верно. Выстояли предки наши. Выручили их дубинки да камни. И так у них хорошо дело пошло, что кончилась эта история изобретением паровозов, пушек и лампочки Ильича.

Все эти обезьяньи рассуждения я вставил сюда потому, что мои собственные были совершенно в том же роде. Да и не только мои. Точно так рассуждал и мой любимец Маугли. Герой повести Р.Киплинга. Я очень и очень ему сочувствовал, потому что, как и он, был безоружен и беззащитен. Как и он, был я окружен врагами. Хватало их помимо Еськи и Кольки. Значит, если не стану сильнее их, то стоять мне на коленях. С голыми руками я просто нуль. Пустое место. И Маугли был таким, пока не добыл себе Железный Зуб. Вот и мне надо им обзавестись, таким зубом. А будь у меня еще и Красный Цветок, имел бы я всех их, врагов моих, как говорится, в виду.

Конечно, такой безупречной ясности в коловерти моих мыслей и чувств не было. Я внес ее уже теперь. Но, в общем, все было именно так.



О Контрактовой ярмарке я уже рассказывал. Повторяться не стоит. Любили мы ее шумное и сладкое раздолье. Еще с лета зрело наше нетерпение. И когда наступали долгожданные головокружительно-радостные дни, мы своего уже не упускали. Развлекались, тешились сердцами в меру своих немалых сил и родительских возможностей. До обморока мотались на карусели, до кишечных расстройств объедались пряниками, халвой и калеными орехами, потели и изнывали телом от азартной хвори у рулеток и прочих аттракционов. Но все это проделывалось потому, что не проделывать было нельзя.

На то и ярмарка. И все же главным, чего не могли заслонить в умах наших никакие забавы и сласти, было иное: на ярмарке отец покупал нам с Вовкой ножики. Ножики как ножики, но сам процесс их поиска, выбора и приобретения стоил всех прочих потех. Нынешнему поколению этого уже не понять. Ножевое дело в наше время пребывает в самом мерзком запустении, как, впрочем, и все иные дела. Но тогда... В каждом магазине, в любой лавчонке и уж, конечно, в ярмарочном ларьке выбор ножииков был беспределен. Счета им не было. На все вкусы и на все достатки. От самых простых железок до инкрустированных перламутром, покрытых слоновой костью, разукрашенных узорчатой эмалью. Сверкающие эти вещички слепили глаза и кружили головы. Уймищу перешушывали мы, обходя один за другим десятки ларей. Но, наконец, уговорились и принимали нелегкое решение. Отец не торопил нас. Наши чувства передавались и ему. Занятие было азартным и увлекательным. Отца, конечно, возбуждали не столько ножики, сколько возможность одарить нас этим счастьем, хоть было оно недолгим, как комариная биография. Не приживались у нас ножики, словно были они растениями на чуждой почве. Вот только купили, еще и ярмарка не отгремела, а их уже нет. Казалось, из рук их, голубчиков, не выпускали. Любовались, миловались, а сберечь не умели.

Вот так и в этот „Нинин“ год. Морозным контрактным днем был мне куплен ножик. Он и сейчас у меня перед глазами, со щечками из желтоватой, с волнистым узором кости и тремя гвоздиками. Но и его век оказался коротким.

Понятно, что на крытую костью, сверкающую игрушку смотрел я теперь совсем иными глазами. Не то что с железным, а и с самым обыкновенным зубом сравнивать ее было неловко. Но на безрыбье известно кто и кем бывает. Плюс – воображение. Оно в подобных случаях очень помогает. А если никакого ножика нет, то плюсу этому примоститься некуда. Воображению тоже за что-то зацепиться надо.

Вот с него, ножика, все и пошло. Далеко пошло. Не

иначе как лежало на нем проклятие. Ведь ножики теряли мы с Вовкой ежегодно! И всегда терпеливо доживали до следующей ярмарки. Но при моем невозможном положении терпеть было нельзя. Цена у ножика была немыслимая: один рубль и еще шестьдесят копеек! Шутка ли! Откуда мог я разжиться такими сумасшедшими деньгами?

Но деньги эти я раздобыл. Причем, раздобыл, как и следовало ожидать, грешным путем. Был мною совершен первый и настоящий грех. Преступление, иначе говоря. Другого названия тому, что я совершил, дать было нельзя. Целых бумажных три рубля вытащил я из кармана материнского халата. И вот, холодея от ужаса, кое-как пристроившись на унитазе и крепко запершись, рассматриваю я проклятую зеленую бумажку. Три рубля! Да на такие деньги черт знает чего можно закупить! Целую дюжину, к примеру, шоколадных бомб у Семадени. Или фонарь с большим стеклом и запасной батареей, а не то коньки снегурочки. Да мало ли что можно сделать при таком капитале! И мог бы я это все. Мог, если бы не моя беда. Ножик мне нужен. И ничего больше. Только ножик... Купил я его. Точно такой же, какой потерял, с таким же извилистым узором на костяных бочках. Купил, сунул в карман и, кроме разбежавшейся по всему телу зябкой грусти, не испытал ничего. Одно лишь отвращение. И к ножичку, и к себе самому. Будь у меня чуть больше мужества, зашвырнул бы его в первую встречную яму. Но ямы не встречались. И мужества тоже не было. Не знаю, как перетерпел Иуда свои 30 монет. Но меня оставшийся рубль с сорока копейками и ножиком грызли, как того древнего греческого мальчика лиса за пазухой.

А время и жизнь неслись с угрюмой поспешностью. Неслись не к добру, и остановить их не мог никто. И я, конечно, тоже.



Хоть и была уже речь о том, как задурили нам головы индейские романы, а надо снова к ним вернуться. Без

этого дальше ничего не понять.

Играли в индейцев все поголовно, даже иные девчонки. Мастерили уборы из куриных перьев, тачали какие-то несуразные обутки с бахромой, сходявшие за мокасины. Мальчишки сооружали луки, изощрялись в выделывании наконечников для стрел и вырезали из фанеры томагавки.

Играли увлеченно, с душой. Но я бы сказал, с трезвой душой. Понимали все же, что идет игра – и не более того. Восхищались и бизонами, и следопытами, и краснокожими смельчаками. Но о том, чтобы махнуть за океан и взглянуть на все эти прекрасные вещи собственными глазами, никто и в мыслях не держал. Одно дело мастерить луки, втыкать в волосы перья и строить в родном дворе вигвамы, и совсем другое – покинуть отчий дом и отправиться черт знает куда и Бог знает зачем. Одно могу сказать, что последователей Монтигомо Ястребиного Когтя я не встречал. Более того, всем нам подобная затея представлялась совершеннейшим бредом. Всем, кроме одного. Был у нас Вовка Афанасьев. Он в число всех не входил. В индейцев Вовка не играл. То, что с ним творилось, не было игрой. Все делалось и мыслилось им всерьез. В его страсти ко всему индейскому было что-то патологическое. Ему уже и незачем было стремиться в Америку. Дух его давно витал над прериями. Здесь оставалось только его хиленькое тело. Но и оно пребывало в майнридовском мире. Ни о чем, кроме Америки и краснокожих братьев, говорить с ним было невозможно. Нас он называл бледнолицыми, хотя если уж кто и был таким, то в первую очередь он сам. Бледнее его никого вокруг не было. Валенки он упорно именовал мокасинами, а свой дом – вигвамом. По школьному коридору Вовка передвигался не как все нормальные люди, а крался дурацким шагом, который считал особой поступью краснокожих. И все это, как говорится, без дураков. Ну что тут скажешь? Настоящий фанатик. Форменный псих. При его внешности ему бы не воинов или охотников изображать, а жертву голода в Поволжье. Длинный, тощий, какой-то неестественно тонкий, с

непомерно лобастой головой. Она казалась мягкой, как те груши, что проливают сок при самом легком прикосновении. Светленький пушок произрастал не только на его голове, остриженной наголо, но и на всем лице, включая нос. Ко всему, он еще и косил, да так, словно неотрывно изучал свой мохнатый нос. Сами же глазенки были так глубоко упрятаны между припухшими веками, что, казалось, он только-только вырвал голову из пчелиного улья. Был этот несуразный мальчуган нрава самого кроткого, робкого и конфузлив, как малолетняя невеста.

Мы с Вовкой Афанасьевым были антиподами. Если по-честному, то я был отчаянным сорванцом и шалопаем. Вовка слыл тихоней, блаженненьким. И все же мы сошлись. Он прилип ко мне, как котенок, вырванный из собачьих лап. В моих дерзких выходках его оглуленно-романтическая натура усматривала лихость и бесстрашие краснокожих воинов. А мне было лестно, и я оплачивал эту лесть, терпеливо выслушивая нелепые бредни и планы побега в страну его мечты. Всерьез эта болтовня мною не принималась. Я отмалчивался. Пусть, дурачок, тешится. Он же расценивал мое молчание как согласие и уже зачислил в соучастники. Я и тут не возражал. Америка так Америка. Побег так побег. Я и слушал-то краем уха. И тут случилось то, что потом не раз со мной бывало, когда я встречал опаздывающий поезд. Маешься, дремлешь, а репродуктор без перестану, нудно так объявляет номера поездов, путей, часы, минуты... А задуренная голова уже ничего не ухватывает. Все мимо. И вдруг... Господи, да ведь про мой это поезд! Мой же прибывает! Не дрыхнуть, а бежать, лететь надо!

Так у меня с Вовкой. Слушал, слушал его и вроде ничего не слышал. И тут точно как с поездом. Словно волной взрывной подбросило меня. Вот тебе и псих! Я его за болтуна держу, а здесь такое! Нет, это уже не болтовня. Он, выходит, времени зря не терял! У него уже все готово: карта, где путь вычерчен, бинокль, компас, денег пять с лишним рублей и, главное, главное, это же обалдеть можно! Нож у него припасен финский! И не только нож. Ну и бледнолицый! Пи-сто-лет! Пистолет

он имеет! Браунинг с запасной обоймой! Финка и браунинг! Ну и тихоня! Такой вроде задохлик и – на тебе! Что все это правда, у меня сомнений не было. Был Вовка, как говорится, с приветом, но во враньях не состоял. Раз говорит, значит, так и есть.

Лишился я с этого дня покоя. Жил как в бреду. Вовка часто приставал ко мне. Все в гости звал. А я не шел. Чего мне ходить? Развешивать уши на его краснокожий треп? Но теперь я уже напросился к нему сам.

Я редко бывал в чужих домах. Вернее, вообще не бывал. Ходил на именины к двоюродной сестре Лиде и к дяде с родителями. Но это не в счет. Была в те беспокойные годы заповедь: от незнакомых держаться подальше и у чужих не есть. Меня тоже так учили. Как собаку. Чтоб из чужих рук ничего не брала. Так что ничего из жизни за пределами родного дома я не знал. Все, что я увидел в Вовкином доме, было для меня открытием. Все казалось удивительным. Оказывается у Вовки был свой ключ, которым он открыл дверь. А в квартире никого не было: ни родителей, ни прислуги. Очень странно было, что он сам хозяйничал в кухне, где добывал себе еду. Холод, стоявший в комнате, тоже был для меня непривычен. Как можно так жить?

Вовка, между тем, переобулся и топтался по дому в огромных, расхлябанных валенках. Это их он, чудак, называл мокасинами. Из кухни он вернулся с блаженной улыбкой и закопченным чугуном, накрытым полукараваем пеклеванного хлеба.

– Сейчас будем с тобой обедать, сказал он, уютно потягиваясь и облизывая пухлые губы. Огромным кухонным ножом он нарезал хлеб и им же стал выковыривать содержимое чугуна. Накалывая на острие, извлекал он из него серые глыбы застывшей каши из гречневой сечки. На срезах они отблескивали, как полированный гранит. Приличия ради, я взял в рот одну глыбку и даже решился ее проглотить. Ничего отвратительнее я в жизни своей не ел. Но имел я цель, и на пути к ней меня бы не остановило ничто. И уж, конечно, не эта каша.

Вовка заглотал полную тарелку этой слизкой мер-

зости и, жмурясь от наслаждения, запил кружкой молока. Мне почему-то он его не предложил. Видимо, привык, что молоко покупалось только для него.

Потом он долго возился с уборкой и еще целую вечность торчал не то в кухне, не то в клозете. В кухне он надеялся что-то найти, но, видимо, не нашел и вернулся явно расстроенный...

— Ладно, — махнул он рукой, — обойдемся, и вдруг, посерьезнев, взял меня за руку. — Пошли, — прошептал он, указав на завешенную портьерой дверь, — сейчас я тебе его покажу. — Крадучись, словно боясь кого-то потревожить, он прошаркал к двери.

— Это папы-мамина спальня, — тем же жутковатым шепотом объяснил Вовка. — Он здесь.

Мы вошли. Все еще держа мою руку, он подвел меня к кровати и, приподняв свободной рукой подушку, извлек оттуда рыжую, изрядно потрепанную кобуру.

— Папа у меня командир Красной Армии, — едва слышно сказал он. Это его пистолет. Обойма в столе. В нижнем ящике.

Вовка здорово дрейфил. Ему, видно, настрого было запрещено даже близко подходить к кровати. Он часто переводил дух, и подбородок его подрагивал.

Я выхватил из его рук кобуру, отстегнул крышку и... словно в полынью соскользнул. Ну и пистолет! Он напомнил мне немецкий тесак, который я однажды откопал на заднем дворе. Слошь царапины, раковины, ну просто старая железяка. Не таким виделся он в моих мечтах. Был он к тому же изрядно увесист. Удержать его в вытянутой руке совсем не просто. Но потрясение мое было недолгим. Все же это настоящее оружие. Вот он, „Красный Цветок“. Теперь никакие Еськи, Кольки и прочие Ширханы мне не страшны.

Я прицепил кобуру к поясу, стиснул рукоятку пистолета и в таком виде встал перед зеркалом. Оно добросовестно отразило мой доподлинный облик. Облик мальчугана с челочкой на лбу и розовеньким веснушчатым личиком. Надо было быть не косым, а слепым, чтобы разглядеть в этой фигурке хоть крупицу мужествен-

ности. Но Вовка именно таким и был. Его припухшие глазенки сверкали от восторга. Он и сам, хоть достался ему только финский нож, силился принять живописную воинственную позу. Но его вид вызывал только смех и жалость. Мне и было его жаль.

Вовкин дом стал теперь моим. Из школы я шел не к себе, а на Стрелецкую, где жили Афанасьевы. При этом приходилось делать небольшой круг, чтобы проводить Нину к Андреевскому спуску.

С ней отношения у нас оставались прежними, если оставить в стороне кривую моих чувств, которая круто шла кверху. Любовь изводила меня, становилась все злее. Ее масса превышала мои возможности, и плотность становилась угрожающей. Все предвещало беду. Какую именно, я постичь не умел, но страх преследовал меня неотступно. Нина клялась мне в верности. Но ее заверения не приносили облегчения. Моя страсть росла, и дистанция между нашими чувствами неуклонно возрастала. Мы стали ссориться. С поводом и без повода. Объяснить ей толком, чего я хочу, не получалось. Да я и сам этого не знал. В том-то и состояла главная мука. Из возникшего кризиса существовал лишь один выход, но мы о нем не знали. Адам с Евой тоже так, пока не сунулся к ним коварный змей со своим зловредным фруктом. Как всякое явление, любовь развивается и достигает зрелости. Если это настоящая любовь, то начинается она со слияния душ, а чем кончается, объяснять не нужно. Мы понять этого не умели.

Мне было очень трудно, и помочь мог бы один лишь человек на всем свете: моя мать. Но так уже скверно все устроено, что для сердечных излияний годятся все, кроме родной матери.



В тот недобрый апрельский день я, как всегда, шел на встречу с Ниной. Расстались мы всего два часа назад, но казались они мне вечностью. Они и были вечностью, эти часы; тоска нападала на меня, как только я терял из

виду Нинин беретик. Её мне нужно было видеть постоянно. Когда ее не было рядом, во мне все замирало. Как в незаведенных часах. Ключ от завода был у нее.

Я пересек площадь с памятником Св. Ольге и повернул на Трехсвятительскую. Теперь этого памятника уже нет. И улицы с таким названием тоже. Святых заменили жертвами революции. Их, конечно, было намного больше трех.

К часам на здании телеграфа я вышел ровно к четырем. Место это издавна служит для встреч. Здесь всегда топчется множество людей с напряженными лицами. Нины еще не было. Я стал топтаться вместе с народом. А часы мчались вперед с какой-то безумной скоростью. Сначала прыгнули на десять и, не давая себе отдыха, сразу еще на пятнадцать минут. Я томился на своем месте, а они все шагали и шагали. Когда они сделали остановку на пяти, в голове у меня, как пузыри в мыльной пене, стали возникать сомнения. Сначала я усомнился в верности часов. Потом я решил, что перепутал место встречи. Вслед за тем – что перепутала его Нина. Наконец – а на часах уже было половина шестого – все пузыри лопнули вместе с моим терпением. Я просто озлобился и стал проклинать себя, Нину и вообще все на свете. Я вдруг ощутил себя обманутым и униженным. Обман виделся мне теперь во всем. В Нининых заверениях и клятвах усмотрел я насмешку. Ее манеру перебрасываться шуточками со всеми, даже с незнакомыми, я расценил как бесстыдное кокетство, а постоянную веселость как пренебрежение к моим чувствам. И до того я уже дошел, что стал ее мысленно всякими обидными прозвищами обзывать, и что черная она, как жучиха, и даже про родинку вспомнил. Но все это у меня плохо получалось. Понимал, что со зла. В общем, лопнуло мое терпение. К черту! Хватит с меня. Бежать отсюда надо, пока она меня здесь не увидела. Болтаюсь тут, как какой-то подкидыш. И чего ради? Не был я здесь! Пусть что хочет думает и сама попрыгает под этими проклятыми часами. Вот они уже до шести доползли, чтоб им провалиться.

Рванул я – и ходу от этого поганого места. Проминул полквартала, перешел улицу против Присутственных мест и... тут я их увидел. Они шли мне навстречу. В этот миг что-то у меня в груди рухнуло, и качельная жутковатая пустота заменила то, что в ней находилось. Только сердце отчаянно моталось, как бабочка в сачке.

Первой я увидел Нину. Я всегда первым видел ее лицо, сколько бы лиц ни было вокруг. Но рядом увидел я и другое: омерзительную, расплывшуюся в гнусной улыбке пегую Еськину рожу. Еська придерживал Нинин локоток и что-то шептал ей, почти касаясь своей рыжей челкой ее беретика.

Когда я пишу эти строки, мой разум прочно занимает положенное ему место. Я трезво мыслю и здраво оцениваю все. В прошлом и настоящем. И я утверждаю: пусть был я маменькиным сынком, взлелеянным любящими родителями среди добрых людей еврейского Подола, но, не дай Бог, будь у меня тогда в руках Вовкин браунинг, ничто бы не остановило меня. Ничто! В сердце своем я это убийство уже совершил. Но браунинга со мной не было. Отвел Бог мою руку, как отвел руку нашего прародителя, занесенную над родным сыном.

Я метнулся в сторону, укрылся за стволом старого каштана, постоял, перевел дух и, не оглядываясь, двинулся вперед. Прошагал я не более квартала, а ее рука уже легла на мое плечо. Догнала, значит! Ух, как хотелось мне отшвырнуть эту руку! Я подумал тогда, что настоящий мужчина, наверное, ударил бы ее. Но ничего такого сделать я не мог. Глаза, в которые я уже успел заглянуть, были нежны и участливы. И я любил ее до безумия.

– Я убью его, – прорычал я. – Тебя не смогу, а его убью!

– Это кто же собирается убивать? – обидно рассмеялась она. – Ну нет, миленький, такие, как ты, никого не убивают. Ты хороший, добрый мальчик. За это ведь я и люблю тебя. Не надо злиться.

Все, что она говорила, было невыносимо, и ее смех на клочки разрывал мое сердце.

– Не веришь? – вскричал я, сатанея до дрожи. – Ну так я тебе докажу! Узнаешь, какой я хороший!

„Я“, – молвил витязь черноокий,

Схватившись за кинжал широкий..“, встало в голове.

– Ах, Хаджи, Хаджи, как тебе все было просто... За кинжал хвататься, на коня садиться...

– Верю, верю, не кипятись, дурачок, – ласкалась она, прижимаясь ко мне. – А убивать его не за что. Я бежала к тебе, а он ко мне привязался и все болтал, болтал, насилу отвязалась.

– А тебе было приятно, – упорствовал я, – не захотела бы, так и не привязался.

– Ах, вот ты как! Ну, тогда убивай. Хоть его, хоть меня, -- зло усмехаясь, сказала она. – Интересно будет взглянуть на такие ужасы. Да ты посмотри на себя, Еська же на голову выше!

Это уже было слишком. Снести такое я был не в силах. Теперь конец. Если стерплю, то как потом буду жить?

Я оттолкнул Нину и бросился прочь. Втайне ждал, что она спохватится. Поймет, что натворила, и позовет. Но она не позвала.

А мне как быть? Что с собой сделать? Доказать? А что я могу доказать? Да ничего! Она ведь права. Во всем. Еська и выше, и сильнее, и ничего с этим поделаться нельзя. И еще я знал: бросить камень я не могу. Ничего я Еське не сделаю. И Нине тоже. Ей уж точно нет.

Куда идти, я не знал. И что делать – тоже. Очень было мне скучно. Но ноги сами несли меня. И дорогу выбрали верно.

Мне чертовски повезло. Вовка был дома и к тому же один. Ужасно он мне обрадовался и все крутился возле меня, шурша своими мокасынами. Мне его радость была ни к чему. Не веселиться пришел.

– Разговор у меня к тебе, Вовка, – сказал я, усаживаясь в огромное кожаное кресло. Такие кресла тогда еще встречались в порядочных домах. Подобного начала у нас прежде не было, и Вовка сразу принял соответствующую

позу. Нахмурил брови и скрестил на груди руки. Он уже вошел в роль. Еще бы только перо в волосах.

В двух словах я выложил ему все. Что он подумал – не знаю. Но длилось это „думанье“ довольно долго. Наконец, он сделал несколько странных телодвижений и положил руку на мое плечо. Теперь я уже знал, что означало молчание. Так, видимо, было принято у его далеких братьев.

– Значит, ты вышел на тропу войны, брат мой, – напыжившись, произнес он, – и ты хочешь услышать мой совет?

Мне было смешно смотреть на его кривляние. При других обстоятельствах я бы ему этого не спустил. Но обстоятельства были не другие, и от него зависело очень многое. Может быть, даже все. Его вопрос я оставил без ответа. Был у меня к нему свой.

– Ты мне скажи, Вовка, про Америку ты трепался или в самом деле решил? – спросил я и, честно говоря, не знал, какой хотел услышать ответ. Меньше всего я думал, что он отречется от своей дури. Но Вовка сник у меня на глазах. Ничего индейского в его позе уже не было. А на меня сразу напала тоска. Но деваться было некуда.

– Я тебе, Вовка, вот что скажу. Если трепался, то больше нам говорить не о чем. Но если надумал всерьез, то я пойду с тобой.

Тут он совсем скукожился. Мне даже смотреть в его сторону стало неловко.

– Мне маму жалко, – плаксиво пролепетал он, – ей будет очень плохо. У нее сердце...

– Тогда я один, – сказал я, вылезая из кресла. – Ты мне только браунинг дай.

Теперь все зависело от него. Но Вовка молчал. Долго молчал. Наконец, что-то он про себя решил. Взгляд его посветлел, и весь он расправился, как резиновый чертик, в которого вдули воздух. Он опять вошел в свой образ.

– У нас не бросают друзей в беде. Я пойду с тобой, брат мой, – сказал он напыщенно, обнял меня и потерся носом о мою щеку. Он очень любовался собой.

После того, как о главном мы договорились, предстояло подумать о снаряжении. Вовка открыл мне свой тайник. Почему он так назывался, я не понял. Обыкновенный ящик в письменном столе. Даже без замка. Из него он вытащил свою заветную карту. Скорее всего он выдрал ее из отцовского атласа. Весь путь был на ней красиво обозначен синим и красным карандашами. Я подивился его познаниям. Географию он знал здорово. Так и сыпал номерами всяких параллелей. На картах, в нижнем углу, обычно нарисована линеечка с цифрами и написано: масштаб. Я всегда считал, что она нужна только учителям и каким-нибудь ученым. И очень удивился, что Вовка по этой линеечке узнавал расстояния между странами и городами. В общем, он сильно вырос в моих глазах. Теперь я и к планам его стал относиться иначе. А он действительно верил, что в Америку попадет с кораблем, куда наймется юнгой или матросом. В этом я сильно сомневался. Это при его фигуре и глазках, разглядывающих нос! Верил он и в свою встречу с индейцами. Даже приготовил для такого случая целую кучу разных побрякушек, которые были сложены в холщовый мешочек. Больше всего было там форменных пуговиц с военных и чиновничьих царских мундиров. Все они сверкали, как золото. Вовка надраил их толченым кирпичом до полной ослепительности и, честно говоря, я даже ему позавидовал. Кроме пуговиц были там два карманных зеркальца, какие-то бусы и несколько дешевеньких колечек. Очень недурные были вещички, но всю это затею с обменом я считал вздорной.

Карта и побрякушки – это все чепуха. Теперь предстояли дела посерьезнее. Мы занялись осмотром нашего вооружения. Я сказал нашего, но все, чем мы располагали, было Вовкиным. Кроме ножичка с печальной биографией, у меня не было ничего. Я очень переживал такое мое положение.

– Не сомневайся, Вовка, ножей у нас будет два, – сказал я и достал свой капитал – сдачу с трешки, что осталась после ножика.

– Один рубль и сорок копеек хватит?

– Ого, – обрадовался Вовка, – да тут на два достанет!

– Тогда так. Завтра будет нож и завтра же двинем.

Идет?

– Идет, – глухо изрек Вовка. – Завтра после школы, брат мой. Лицо у него было такое, что у меня в животе стало прохладно. Только в этот миг я вдруг понял, какое страшное дело мы затевали. Но остановиться уже не было никакой возможности. Это как если уже шипит зажженный шнур и огонь бежит к заряду.



Не знаю, как я высидел первые два урока, такое у меня в голове творилось. Бурлило все, как в кастрюле с супом. То вынесет наверх пуговицу с орлом, то финку, то мать вспомню – и сердце замрет, ну и Нина, конечно. На нее я старался не смотреть.

– Подожди, подожди, – злорадствовал я, – еще посмотрим, кто маменькин сынок. Не долго осталось.

Два урока вытерпел, а больше не смог. Мне еще за ножом надо было. Тоже дело не простое. Отправился я за ним на Фундуклеевскую, где было множество „мужских“ магазинов и магазинчиков. Продавались в них всякие портсигары, трубки, трости, бритвы и, конечно, бездна разных ножей. Заходить туда было страшновато. Хоть и был я мал, но, как говорится, печенкой чувствовал, что дело мое нечистое и даже очень подозрительное. На таком как раз и засыпались Монтигомо со своим Володи.*) Это же надо! На вокзале спрашивать, где порох продается! Не мог я забыть и о том, что деньги мои краденые. Да и как посмотрят на школьника, который хочет купить финский нож? Ведь не игрушка, а оружие бандитское! Да, очень нелегкое у меня дело.

Прошел я улицу вверх, потом вернулся, еще раз обошел все и, наконец, насмотрел лавчонку по себе. За мутным стеклом разглядел одинокую фигуру хозяина.

*) речь идет о персонажах из рассказа А.П.Чехова „Мальчики“.

В лавке было полутемно и пусто.

– Сколько стоит финский нож? – спросил я, изо всех сил стараясь выглядеть уверенным и развязным.

Человек за прилавком упер в меня угрюмый и неуважительный взгляд. С ответом он не спешил. Наверно, в нем боролись чувства коммерсанта и просто человека, отца или деда. Победил коммерсант.

– Один рубль, – проворчал он, приподняв тяжелые, как у Вия, веки и, порывшись в ящике, выложил на прилавок нож.

Я схватил его, вытащил из ножен и содрогнулся от брызнувшего в глаза сияния полированной стали. Вот он, мой Железный Зуб! С Вовкиным его не сравнить, а к тому же этот – мой!

Вспоминаю тот день и не перестаю удивляться. Каким же я был простачком! Ведь не взял я ножа. И вовсе не потому, что он мне не понравился. Нет же. Виделся он мне прекрасным, как меч Нибелунгов. Но у меня все было рассчитано наперед. На дорогу – 20 копеек. На нож – один рубль 20 копеек. И я решил, что если это чудо стоит рубль, то прибавив к нему еще 20, я завладею оружием самого Великого Хана.

– Я бы хотел нож получше, – неуверенно пробормотал я. – Есть у вас такой, чтобы за 1 рубль 20 ?

И снова в душе лавочника схватились те же противники. И исход был тот же. На прилавке появился такой же нож, но, вместо черных, на нем были ножны цвета молочной тянучки. Кремовые с подпалинами. Ну и штучка! Да о таком я и помыслить не мог! Ух ты, вот это так повезло! В общем, я был убежден, что приобрел редкостную вещь и, к тому же, весьма выгодно.

Вернулся я, когда из школьных ворот выплеснулась ревушая толпа, но как всегда, Нинин беретик я отыскал сразу. Увидела меня и она.

– Пошли со мной? – словно не было вчерашнего дня, спросила она, играя ямочками на щеках.

Вот теперь бы не сплеховать. Мой ответ должен быть многозначительным и загадочным. Ему предстоит долго жить в ее памяти.

– Увы, – процедил я, глядя поверх беретика, – другие у меня теперь дела, – „Я тайный замысел ласкал...“ – со значением продекламировал я и сделал отчаянный взмах рукой. – Прощай. Зла на тебя не держу.

Я был ужасно доволен собой. Здорово все получилось. Особенно это „увы“ и строчка из „Мцыри“. Она пришла ко мне вдруг и очень к месту. Теперь нужно быстренько смыться. Последнее слово должно быть за мной.

Вовка уже поджидал меня. У него хватило ума, чтобы мне не мешать. Кое-что мой бледнолицый дурачок все же соображал.



Андреевский спуск на заре нашей скорбной эры киевлян привлекал мало. Улица как улица. Кривая и горбатая. Украшал ее один лишь облачно-легкий, паривший над городом растреллиевский собор.

Ныне красит Спуск не один только собор. Главной его достопримечательностью стал дом Булгакова. Тут места его заповедные. Скромная улица стала славой города. Славой, разлетевшейся по всему миру. Но мне дороги на Спуске не Андреевский собор и не Булгаков. Конечно, кесарю – кесарево. Склоняю голову перед Растрелли и Булгаковым. Но Богово для меня – Нинин дом. Высокий, пестро раскрашенный, забравшийся на самый крутогор красавец. Там она и жила, Нина.

Я бываю здесь редко. Но когда сворачиваю на щербатую мостовую Спуска, в груди у меня становится тесно. Минуло многим более полустолетия, но теснота эта не убывает. У меня здесь свой заповедник, заповедник моей любви, где я храню память о детских годах, незабываемо прекрасных днях далекого прошлого.

А дом этот стоит и поныне. Он так же хорош. Но каждый раз, глядя на него, я вспоминаю о жестоком разочаровании, постигшем меня, когда я впервые переступил порог Нининого жилища. Нет, не разочарование, а боль испытал я. Боль, которую долго носил

в себе.

Мать у Нины была уборщицей в этом доме. И отвели ей в его подвале комнатуху. Теперь я бы сказал камеру, потому что была она темной, сырой, с цементным полом и зарешеченным окошком у самого потолка. Об обстановке и говорить не стоит. Не было ее, обстановки. Меня Нина усадила на кровать и присела рядом. Единственный табурет был занят ведром с водой и кружкой.

Мы сидели так близко, что не соприкасаться не могли. Теперь один лишь закон управлял нами: Великий Закон взаимного притяжения. И подчиняясь этому всеильному закону, я привлек ее к себе и позорно неловко коснулся губами шеи. У самой родинки. Ничего, кроме смущения, я при этом не испытал. Этот постыдный поцелуй был вершиной наших отношений. Он был чист, как только что выбившийся наружу зеленый росток. Но я вспоминаю о нем с незатухающим волнением.

Вот и тогда, когда мы с Вовкой отмеряли путь к вокзалу, я вспоминал о нем. Вспоминал ностальгически, словно было это нескончаемо далеко и ничего впереди нас уже не ждало. Мы шли молча. Я, понятно, думал о Нине. О чем думал Вовка, не знаю. Вернее всего о маме. В душах друг у друга мы не шарили. Ничего веселого там не было. Шли и все.

Первый привал сделали на вокзале, том самом, о котором Бабель писал, что на свете нет более унылого зрелища. Усевшись на лавку, мы снова обзрели наше добро, что очень поспособствовало подъему моего духа. Таким богатством мог похвалиться не каждый. Как можно предаваться унынию, имея три ножа, бинокль, компас. мешок побрякушек и – о нем мы не говорили, держали в уме – пистолет, да к тому же с запасной обоймой. Ко всему еще кольцо сухой колбасы и толстенный брус сала. Тут уже Вовка расстарался. Мне бы такое и в голову не пришло. Думать о еде я не привык. Голод детских лет был забыт напрочь. Денег у нас тоже было немало: пять рублей и восемьдесят четыре копейки. Вовка уверял, что с такими деньгами можно хоть вокруг света объехать. Я был с ним вполне согласен, тем

более, что никаких кругосветных планов не строил. В таком убеждении мы еще более утвердились, когда, оголодав, основательно набили животы фунтом хлеба и четвертью чайной колбасы. Все кругом обошлось нам в одиннадцать копеек с полушкой. Они, полушки, еще ходили тогда.

Настроение у нас, когда, покинув вокзал, мы зашагали по шпалам, было самым распрекрасным. Мы прыгали по ним, и беззлобный ветерок обвевал наши лица. Солнце стояло еще высоко, и нежаркие его лучи гнали ручейки из серого, губчатого снега. Все вокруг тешило нас и кружило головы, а более всего – неизведанное, неохватное чувство безответственной свободы.

Мне очень недурно жилось в родительском доме. И школа была не в тягость. Но никогда прежде не испытывал я такого безмерного покоя. Словно взмыл я в простор, бесконечно удаленный от моей прежней жизни. Все оставалось там. В далекой дали. Учителя в школе, учителя дома, пианино с проклятыми гаммами, ну все, все. Только от одной земной заботы не мог я оторвать себя: Нина. Ведь и здесь, на этих шпалах, я нахожусь из-за нее. И этот отчаянный, бессмысленный поступок тоже только ради нее. Ради нее – и я это сознавал – я предал своих родителей и брата моего.

Но безумие, бушевавшее во мне, пришедшее с этим ветерком, и ощущение хмельной свободы заглушали все. Совесть утонула, захлебнувшись воздухом воли и восторгом, подавлявшим меня при мысли о Нине. Я доказал! Обидные ее слова теперь обернутся против нее. Раскаяние будет жечь ее, как йод свежую рану. Я доказал! Кто бы еще отважился на такое? А я отважился! Я, маменькин сынок! Я доказал!

Вовкины переживания, конечно, были иными. Мы были слеплены из разного теста. Но свобода и ему придала лихости.

Нас связывала дружба, и шли мы одной дорогой, но шли в разных направлениях.

Когда, миновав полустанок Караваевы Дачи, через какой-то час мы добрались до вокзала Поста Волынского,

Вовка совсем ошалел.

– Смотри! – орал он, задыхаясь от врывавшегося в рот и нос ветра. – Смотри, первый вокзал! Мы идем к нашей цели! Подумай только, какая нас ждет слава! О нас узнает вся школа! Весь город! Наши имена будут знать все, даже пригостишки!

Он раскинул руки и бросился ко мне. Мы обнялись, стискивали друг друга и целовались, стоя на путях, очумев от нарастающей плотности чувств. Мы были счастливы. Невыносимость и острота такого состояния доселе были нам неизвестны, и они лишали нас разума. Что-то кричал Вовка, но усилившийся ветер уносил его слова; что-то выкрикивал я, но что именно, не помню. Может быть, и ничего. Просто не знал, что с собой сделать. Вот и горланил. Спускал, как говорят, пары.

Но когда давление спало, где-то в подсознании начали червиться незванные мысли о хрупкости нашей с Вовкой близости. Надолго ее не хватит. Цели у нас разные. Ему нужна Америка. Мне нужна Нина. Наступит час, и мы, как крыловская троица, потащим воз в разные стороны. Но это все потом, а пока мы словно орешки-двойняшки в одной скорлупке.

У Поста Волинского нас догнал поезд. Мы влезли в вагон и очень недурно устроились в тамбуре. После ветра, изрядно потрепавшего нас на путях, вагонный затишек был раем. Мы беспечно радовались нашей удаче. Но радовались недолго.

В раю следовало ожидать встречи с ангелами. Ангелы нам не попались. Встретились мы с кондуктором. Хмурый дядька в фуражке с молоточками скользнул многоопытным взглядом по нашим лицам, одежонке и ранчикам.

– Полагаю, билетиками господа гимназисты не обзавелись? – ядовито шурясь, спросил он. Тут Вовка стал что-то лепетать о тетке в Фастове, но это только добавило яда в кондукторский прищур.

– Тетка, дядька, а по двугривенному, господа школяры, придется раскошелиться.

Вовка полез за деньгами. Деваться было некуда.

Вообще-то нам повезло. Дядька оказался совестливым. Он вполне мог бы отнять у нас все. Этот же бросил нам даже прощальное „благодарствую“.

Ехали мы теперь не таясь, но настроение заметно понизилось. Шутки, сорок копеек! Да он просто ограбил нас, разбойник! Вовка места себе не находил. Глаза его скверно заморгали, словно в них забрался комар. Я, конечно, тоже был огорчен, но не так. Пересекать океан я не собирался, а для моего замысла того, что осталось, было вполне достаточно.

Когда мы, охмеленные свободой, шли по путям и солнце высылось над горизонтом, я еще не понимал, как далеко завело меня опасное легкомыслие. Где-то в малодоступных глубинах сознания притаилась мысль о невозможности происшедшего, которое каким-то образом будет вынута из действительности, и ночь я проведу в родной постели. Теперь утешительные мысли рассеялись. Все есть как есть. И этот вагон, и тьма, и убегающие столбы. Только одно смягчит мою боль: я доказал! Ей и себе. А насчет славы – это чепуха. Вовкина дурость. Никакой славы не будет. Но я свое сделал. Доказал.

Фастов, Фастов! – растолкал нас наш обидчик. – Валяйте к вашей тетке, школяры, да поживее.

Сбивая друг друга с ног, мы кинулись к выходу, хотя спешить было некуда. Что нам Фастов? Так хорошо мы сидели в теплом вагоне.

На дворе нас встретили зябкий холодок и угрюмая темнота. Тускло светился вокзал, напоминавший руины средневекового замка.

В зале было накурено и смрадно. Мы присели на край лавки, у грязных сапог развалившейся на ней тетки. Храпела она, как недорезанная скотина. Тоска сдавила нас до удушья. Никогда прежде не доводилось нам соприкасаться с жизнью в такой ее неприглядности. Все было здесь чуждо и омерзительно: и спертый, прокуренный махоркой воздух, и этот жуткий храп, и неряшливые фигуры дурно одетых сонных людей. Нет, здесь нам не место. Я видел, что Вовка уже „дошел“. Похнюпился и недвижно устоялся на свои мокасины. Не так, видимо,

мыслился ему путь к славе.

Мы выбрались на волю и побрели по тропинке, устремленной в непроглядную даль. Вскоре перед нами зажелтели окошки невидимых домов. Первым из тьмы выплыло длинное строение, в котором из множества окон два были освещены. Мы обошли его и добрались до крыльца. Поднявшись по скрипучим, шатким ступенькам, мы очутились перед дверью.

Стучать было неловко и страшно. Как-никак ночь. А больше идти было некуда. Чем бы это кончилось, не знаю, но Бог сотворил чудо. Оно явилось в образе кошки, выскочившей из тьмы. Хозяйским шагом она направилась к двери и стала теревить ее, тоскливо помяукивая. Притомившись, она уселась и принялась вылизывать себе брюхо.

Надо отдать должное Вовке. Сметливость его заслуживала самой высокой оценки. Что он делал с несчастным животным, разглядеть было невозможно, но результат получился примечательный. Кошка стала издавать звуки такой мощности и с такими интонациями, что под силу разве только целому кошачьему хору. Однако обитатели барака обладали, видимо, железными нервами или не имели их вовсе. На кошачью истерику, во всяком случае, они не откликались. Но Вовка не сдавался. Его нервы были в том же роде. Он продолжал трудиться над животным, как дикарь, добывающий деревьяшками огонь.

И трудился не напрасно. Брякнула задвижка, и на крыльцо выполз бородатый мужик в подштанниках и ухастом малахае. Кошка юркнула в дверь, и с мужиком мы остались один на один.

– Вы тут чего, огольцы? – спросил он, зевая и смачно потягиваясь.

– Нам бы переночевать, дяденька, – робко начал я, – вот ночь уже...

Вовка прервал меня. Он привычно стал канючить про тетку, но человеку в подштанниках его лепет был, как говорится, до лампочки.

– Давайте, заходите в хату та залазьте на полати, а поутру шукайте себе вашу тетку на здоровьечко.

Мы протиснулись в дверь и оказались в длинном помещении, уставленном топчанами. Справа у стенки были и нары. Нам приглянулся второй этаж, и мы враз вскарабкались на дощатый настил, зыбкий, как плавучее бревно. Под нами бушевал многоголосый хор звуков, какие только способна издавать ватага рабочих после трудового дня и сытного ужина.

Сну нашему хор этот не помешал. Он одолел нас, едва мы пристроили на ранцах свои забубенные головы.

Расставшись поутру со сном, мы ощутили то же, что и Робинзон, который, пробудившись, понял, куда забросила его судьба. В отличие от робинзоновского, наш остров был обитаем. Но все вокруг казалось таким диким, что состояние наше мало чем отличалось от того, в каком пребывал злосчастный любитель приключений.

Народ был уже на ногах и дымом самокруток закапчивал нас так, словно были мы пороссячьими окороками. Вскоре мы были замечены, и Вовке, в который раз, пришлось излагать историю о фастовской тетке. Для него теперь труда это не составляло.

Мы выбрались без помех и поплелись назад к вокзалу. Рассвет уже одолевал тьму. Было серо, студено и слякотно. И мысли наши были такими же. Серыми и промозглыми. Говорить не хотелось. Да и о чем говорить? Все было ясно. Каждый из нас про себя решение принял.

В зале стоял все тот же скверный дух. Дремали бабы, замотанные в толстенные платки; одурелые от бессонья и тоски дети бесцельно слонялись между лавками. Порой они застывали перед кем-то из сидящих и с беззастенчивым упорством разглядывали его. Два дюжих плотника с топорами за поясом и в рваных зипунах, из дыр которых ежиком торчала шерсть, закусывали хлебом с салом, по очереди прикладываясь к бутылке. Их острые кадыки челноками пробежали по темным жилистым шеям.

Звон колокола вмиг взметнул народ. Люди бросились к своим вещам, разбирали мешки и узлы, пристраивая их, кто на спину, а кто на плечо. Молча, не сговариваясь, проголосовав, как говорится, ногами, вместе с толпой мы двинулись к платформе. Поезд шел в Киев.

На сей раз железнодорожные услуги обошлись нам в целый рубль. Кондуктор с нами не церемонился. Был строг, немногословен.

– Билетов нет, – не столько спросил, сколько констатировал он, глядя в потолок. – Гоните рубль. Да поживее.

Вовка отдал рубль. Отдал не сокрушаясь и не моргая. За ночь деньги сильно упали в цене. Теперь они были уже ни к чему. И если мы с вокзала шли пешком, то вовсе не потому, что пожалели денег. За гривенник мы могли отлично доехать до Сенного базара, а оттуда уже до Стрелецкой – рукой подать. Но я предпочел пеший ход. О Вовке не скажу. А мне торопиться было некуда. Ничего веселого впереди не было. Даже думать об этом не хотелось. Как вспомню о предстоящей встрече с родителями, так лучше бы мне умереть. Такое только в кошмарном сне можно увидеть. Но от сна могло спасти одеяло, если им укрыться с головой. Теперь одеяла не было. Объяснить почему, не могу, но я хотел сперва попасть к Афанасьевым. Просто чувствовал, что так будет лучше. У меня не было причин думать, что Вовкины родители были добрее моих или любят сына больше. Но Вовкиному спокойствию я не мог надивиться. Он ничуть не страшился встречи. Напротив, с каждым шагом заметно веселел. Еще больше поражало меня, что ни одного слова не было им сказано о крушении всех его планов. Ни об Америке, ни об индейцах и ни о чем, с ними связанного, он не упоминал, словно все это было написано мелом на доске и вытерто одним взмахом. Он очень упал в моих глазах.

Со мной все было четко. Я чихал на Америку вместе с бизонами, индейцами и всем прочим, о чем взахлеб болтал Вовка. Что было у меня – известно. Я свое дело сделал и сделал весьма пристойно. Одна теперь у меня беда: встреча, возвращение в мой дом.

Но Вовка! Выходит, все было самым обыкновенным трепом? И сам он, получается, просто балаболка и трепло! А я то... Значит, ошибался. И не я один.

Вот и Вовкин дом. Я притормозил, а Вовка ускорил

шаг. Вприпрыжку взбежал он на крыльцо и скрылся в подъезде. Потом все-таки спохватился, вернулся и махнул мне рукой. „Жди, я сейчас за тобой!“ – и дверь захлопнулась.

Перед домом стояла скамья. Я сбросил ранец и уселся. В голове ни единой мысли. Пусто, как в заброшенном колодце. Если гаркнуть в него – отзовется. А так – тьма и тишь могильная.

Так и сидел я в бездумной тягости. И когда увидел перед собой женщину в матерчатой шляпке, вроде детской панамки, я не сразу разглядел, что у нее такой же, как у Вовки, круглый пушистый нос и покусанные пчелками глазки. Она подошла нервным, коротким шагом, встала передо мной и, часто дыша, стала разглядывать мое пальто и ранец. Все это длилось короткий миг.

– Где Вова? – вскричала она, схватив мою руку и совсем уже задыхаясь.

– Вова дома, – ответил я тихо, глядя на свои ботинки.

Не издав ни звука, женщина рванулась к подъезду. Все повторилось. Как и Вовка, она скрылась за дверью, и ее каблук зацокали по ступеням. Но она тут же вернулась и, крепко ухватив мой рукав, потащила за собой.

Все было так, словно ничего не было. Вовку мы застали в знакомой мне позе. Стоя, он выгребал из того же чугунок все ту же гадкую кашу. И такая у меня тогда возникла „взрослая“ мысль: у людей сын пропал, а кашу свою сварить не забыли. Глупая мысль.

Завидев мать, Вовка отшвырнул котелок и бросился ей на шею. И мать, и сын без стеснения рыдали, сморкались, вымазывая друг друга слезами. И такие у них были счастливые лица, столько радости в затуманенных глазах, что и мои заволокло влагой до полной невидимости.

– Как ты мог, как же ты мог, сыночек мой, – шептала она, – и где же ты был ночью? Ел ли ты что-нибудь? Боже мой...

Она вдруг опомнилась и стала повторять те же

вопросы, но переведа местоимения во множественное число. Я был тут определенно лишним. На все вопросы мог дать ответ Вовка без меня. Надо мне отсюда смыться. Но не тут то было. Вовкина мать решила сдать меня в собственные руки родителей. Как и все матери на свете, она была убеждена, что сын ни в чем не виноват. Его, конечно, совратили и вовлекли в дурное дело. Кто был совратителем, очевидно. И было это не так уже далеко от истины. Понятно, что большого доверия она ко мне не питала и решила быть начеку. Я не противился. Так даже будет лучше. Она теперь в добром расположении и сможет очень облегчить мое положение. Она будет, как модератор на моем инструменте, глушить слишком громкие звуки, которые мне предстоит услышать. Я очень большие на нее возлагал надежды. Кое-что в свои одиннадцать лет я все же соображал. А говорят – детский ум. Не так уже и прост этот ум.

Пока мы еще сидели в трамвае, все было хорошо. Он служил надежным укрытием. Но когда мы из него вышли и дом мой стал опасно приближаться, покой испарился, как брызги на горячей плите. Сильно начал я дрейфить. Даже в животе стало неуютно. Хорошо Вовке. У него теперь все равно что праздник. Лучше, чем было. До всего. Прощен, успокоен, и в брюхе полно каши. Чего ему еще? Ах, позабыл! Он же еще славу свою ждет? Наверно, все мечтает и воображает. Косоглазик, Богом обиженный!

А у меня, ой, как до праздника далеко! Скорей бы уже все было позади. Надо пережить еще какой-нибудь час-полтора. От силы два. И будет этим мукам конец. Хоть бы это уже кончилось.

Мы, между тем, были почти у цели. Львы появились, что перед историческим музеем, так что отмеряли последние шаги. Тяжелые шаги. К ногам словно свинцовые подошвы прицеплены, как у водолаза.

Дверь нам открыла Фрося, наша прислуга. Увидев меня, она картинно всплеснула руками, и все пошло, как уже было некогда гениально описано. Только не было собаки с хвостом-палкой и вместо „Володечка

приехали“, как в „Мальчиках“ чеховских, прозвучало: „Хлопчик наш прийшов! Барыня, барыня, прийшов наш голубчик!“

На Фросины вопли откликнулись все выходившие в коридор двери. Как в поезде Дурова, из каждой высывалась голова. Но, конечно же, не зверушек, а бабушки, мамы и брата. В растворе последней двери, что в самой глубине, набычившись, стоял отец. Фрося, с полотенцем в руках, застыла у входа рядом с Вовкиной мамой.

Так долго, как у Гоголя, эта немая сцена не длилась. Первым двинулся ко мне отец. Он посмотрел на меня грустным, неприязненным взглядом:

– Как вижу, ты жив и здоров, – сказал он и сделал короткую и тягостную паузу. – Тогда я тебе должен сказать, что ты негодай. Просто негодай, – повторил он и, отвернувшись, направился к Вовкиной матери.

– Мы бесконечно благодарны вам, Лидия Прокофьевна. Где вы его нашли? – он спохватился, прервал себя и взял ее под руку. – Прошу вас, пройдемте в комнату, что же мы стоим здесь в коридоре.

И тут все, словно очнувшись, бросились ко мне.

– Наконец-то, наконец-то, мальчик мой! – рыдала мать, обцеловывая меня. – Ах, господи, я думала, что не переживу этого. Лидия Прокофьевна, голубушка, раздевайтесь, заходите, спасительница вы наша!

Затем последовало всеобщее обнимание и целование и обильное слезоизлияние. Все только то и делали, что сморкались и всхлипывали, всхлипывали и сморкались. Черт знает до чего распустились! И Фрося туда же. Сперва радовалась, а потом тоже со всеми сморкаться. Сама вся в соплях и все воет: „Голубчик наш прийшов, прийшов, миленький!“ Вот уж не думал, что она так будет убиваться. Всегда меня из кухни гнала, когда я хотел у плиты чем-нибудь поживиться, а теперь – голубчик и миленький!

В общем, базар устроили будь здоров. Я уже и так и сяк, жмурился, зубы стискивал, жался из последних сил. Лезли из меня слезы, и все тут. Но все же как-то

вытерпел. Этого мне еще не хватало, позора на всю жизнь!

Но когда кончился весь этот кагал и мать тихонько прижала к себе мою голову, я рассыпался. Весь сотрясаясь в плаче, всем своим существом поглощал я сладость ее всепрощающего объятия. Все, и по несколько раз, потискали меня и полили своими слезами. Все, кроме Вовки. Не того, бледнолицего, а брата моего единственного. Он, как высунулся из двери, так и стоял там, бледный, стиснув дверную ручку. Лицо его было хмурым и сосредоточенным. Я понимал, что и он волновался, был в страхе за меня, но понимал и другое. Иной, чем у отца, был в его глазах укор. Я предал нашу дружбу. Презрел наше братство. Этого он ни понять, ни простить не мог. Нет, он ничего такого не сказал. О таких вещах не говорят. Но я это чувствовал, и горечь моей вины перед братом была горше всех горечей.



Я всегда восхищаюсь остротой ума и проницательностью героев криминальных романов. Вроде и зацепиться не за что, никаких следов преступник не оставил. Но вот, глядишь, то случайный прохожий что-то слышал или видел, то билетик трамвайный где-то прицепился или волосок, шерстинка, и пошло-поехало. Все складывается в стройный ряд улик, от которых уже никуда не деться ни преступнику, ни читателю.

Так теперь, вспоминая рассказы родителей, я восхищаюсь их находчивостью и мудростью. Трудно себе представить, как удалось матери провести нелегкое расследование в считанные часы.

Мы с Вовкой еще не добрались до Фастова, а мать буквально шла по моим следам. Она уже разгадала замысел и цель моего побега. Моего, а не Вовкиного. Ум ее работал с точностью морского хронометра, и сына она знала, как собственное лицо. Версию об Америке она отвергла без колебаний. Ее, между прочим,

подбросил мой дружок, о котором я еще не упоминал, да и не стал бы, не попадись он первым матери на нелегком пути. Звали его Андрюшка Веселкин. Дружба у нас была весьма легковесной. Связывало нас лишь одно: оба были мы честолюбивы, и поприще, на котором состязались, было, грубо выражаясь, обыкновенным хулиганством. Оба слыли отчаянными ребятами, забубенными головами. Такой своей репутацией мы дорожили ревностно, как гусары дворянской честью. Мы с Андрюшкой были одновременно и партнерами, и соперниками в лихих делах. А соперничество, конкуренция, как известно, самый мощный двигатель прогресса. И прогресс был. Никто не жаловался, исключая, конечно, учителей.

Как, не припомню, но на Андрюшку мать вышла сразу. Нашла его уже дома и с матерью познакомилась. Та была обо мне самого лестного мнения.

– Сразу видно, – рассказывала она моей матери, – что дите с благородной семьи. Не то што наш. Я и Андрюшке казала: вот с этим – это я про вашего – дружи. Он дурному не научит, как твой Лешка Коновалов, обормот трухановский. Зашел ваш, значит, в хату, ножкой шаркнул и калошики в сенцах скинул. Зараз видать: воспитание имеет.

Мать очень хорошо это рассказывала. И голос, и мимику представляла.

Андрюшка сразу выложил все: про Вовку Косого, про Америку, Нину и прочее. Но, как я уже заметил, мать сразу же все это выбросила из головы. Запали ей в душу только два обстоятельства: история с ножиком и Нина. Андрюшка знал все: и как был ножик потерян, и как появился новый. Загадка с трешкой была разгадана. Но главное, и мать поняла это тут же, была Нина. Надо было быть моей матерью, чтобы взяв ее, Нину, за исходный пункт, разглядеть смысл всех связанных с этим именем событий.

Теперь ключ был в ее руках, и Андрюшка утратил для матери всякий интерес. Нина Теплова! Собака была зарыта здесь.

В первом часу ночи мать с отцом были уже на

Андреевском спуске. Это тогда называли они Нину ангелом. Все, что они там увидели, поразило их. И неожиданная, редкая красота девочки, и убожество жилья, и нищенский вид изможденной женщины – Нининой матери. Для чувствительной натуры такой визит был тяжелым испытанием. Но от Нины они узнали все. То, что мать предполагала, сопоставляя мой нрав и поступки последних месяцев, теперь было подтверждено Нининым рассказом. От Нины же стал известен и Вовкин адрес.

Уже на рассвете мать познакомилась с Лидией Прокофьевной. Тайна перестала существовать. Отпали многие страхи, и прибавилось надежд, но сделать ничего было нельзя. Заявили в милицию, дали объявление и стали ждать. Первые две меры не дали ничего. Ожидание прошло успешно.



Где и как рождаются слухи, это загадка из загадок. Объявление о нашей пропаже появилось лишь на следующий день. Да и газеты в то время читались немногими и не часто. Но когда я поутру шел по родному переулку, то сразу же оказался в центре внимания. Меня бесстыдно разглядывали, останавливались и смотрели вслед, провожая многозначительными улыбками. Конечно, было это не очень приятно, но ни в какое сравнение не шло с тем, что творилось в школе. Народ там простой, падкий на сенсации и свободный от предрассудков. Уж не знаю, какой болван первый, по невежеству или со злым умыслом, спутал Америку с Африкой. Только всяк, стар и млад, встречая меня в коридоре, паясничал, строил идиотские рожи и орал вслед: „Африканец, африканец идет! Смотрите, африканец идет!“

Толпа хуже самого кровожадного зверя. Ни убежать, ни остановить, ни сдержать ее невозможно. Кой-кому я все же дал по зубам, но это все равно, что заливать пожар наперстком. И пострадавшие, и свежие когорты их сторонников обрушили на меня еще более мощный

залп мерзких выкриков и нечеловеческих воплей.

Никогда прежде и никогда впоследствии я не подвергался такому беспощадному издевательству, не испытывал такого унижения, не сносил такого лютого оскорбления.

Коридоры в нашем „бывшем“ были нескончаемы, и таким стал мой скорбный путь.

Я считал, что только в романах героя спасают невесть откуда взявшиеся силы и именно в тот миг, когда он, казалось бы, неминуемо должен сгореть, утонуть, быть зарубленным или еще каким-нибудь ужасным образом лишиться жизни. Но и ко мне спасение пришло внезапно. Вдруг вся толпа смолкла и, как сорвавшаяся с горы лавина, устремилась мимо меня к выходу. На миг стало тихо. Но только на один миг. Затем раздался такой взрыв хохота, блеяния и гиканья, что, как ни хотелось мне скрыться, я застыл на месте.

Один лишь взгляд, и я понял все. Чуть подальше от меня снова собралась та же воющая, беснующаяся толпа, раздавались тот же хохот и гнусные выкрики. Центром внимания теперь был не я. Им являлась иная и слишком хорошо известная мне фигура.

Таким Вовку я еще не видел ни разу. Гордость и победное торжество выпирали из каждой черточки его лица. Они выступали в его осанке, во всех движениях рук и тела.словно полководец, въезжающий в освобожденный город и принимающий знаки преданности, раздавал он сияющие, милостивые улыбки.

Втайне я всегда, и не я один, считал, что у него не все дома. Сейчас, глядя на эту идиотскую сцену, я утвердился в таком мнении. Псих. Иначе не скажешь. Форменный псих. Еще я подумал, что похож он на Дон-Кихота. Та же несусветная наивность, та же легковверная простота и несурзая чистота помыслов.

Завидев меня, он пробился сквозь толпу и бросился обнимать.

– Какая слава! Какая слава! Я же говорил тебе, говорил ведь, видишь теперь? – шептал он мне в самое ухо.

– Дурной ты, Вовка, просто дурной, – сказал я,

вырываясь из его объятий. Сказал без раздражения. Мне было его жаль. Честно.

Получилось очень удачно. На урок мы вошли вместе с учителем. При нем нам бояться нечего. Никто и вякнуть не посмеет. Но о нас, конечно, не забывали. К счастью, учитель был из тех, что в личные дела не вмешался. Вел Николай Иванович Сак „природу“, и кроме как о пестиках и фотосинтезе у нас никаких разговоров не бывало. Я вполне допускаю, что он и не знал ничего о наших приключениях. Черт его знает. А может быть, знал, но не хотел тратить время на болтовню.

С учителем все так, но сами мы свалили дурака. Пока мы отсутствовали, наши места заняли, и пришлось нам сесть вдвоем на одну заднюю парту. Сели словно специально для смеха. Все только и делали, что строили нам рожи. Даже шепотком скандировали это богомерзкое слово: „а-фри-кан-цы!“ А нам что оставалось? Я хоть из-под парты кулак показывал, а Вовка, тот вообще, кажется, не был против. Даже ему вроде это нравилось. Славой у него это называлось. Что с него взять, с чокнутого?

Не скажу, что вся это возня вокруг нас меня не трогала. Трогала и даже очень. Но смотрел я на нее не своими глазами. Мне одно только было важно: что видят ее глаза и что думает об этом она, Нина.

Сидела она впереди, и видел я только ее затылок. Она ни разу не оглянулась, ни разу не взглянула на меня. Сидела и строчила. Так всегда было на уроках Николая Ивановича. Сначала он диктовал вопросы. Иной раз чуть не на полтетради. Диктовал быстро, так что трудились мы до ломоты во всем теле. А потом, когда с вопросами кончали, начинал он рассказывать. Хорошо у нас с ним получалось. Запишем вопросы, потом его рассказ. В нем на все есть ответ. При таком порядке на уроке не разгуляешься.

Помню, как сейчас: в тот день диктовал Николай Иванович вопросы по классификации растений и системе Линнея. Все, кто учился добросовестно, вкалывали во всю. Нина была из таких. У нее все было, как Антон

Павлович завещал. И училась она тоже соответственно. Так что если хотеть, то оправдать ее можно было. А я хотел. Пишет человек, и вертеться ему нет возможности. Оправдывал. Но легче мне от этого не становилось. Она на меня не смотрела, а я с нее глаз не сводил.

Но вот урок кончился. Как мне теперь? Подойти первым или ждать? Подойти проще всего. Но так можно потерять все, что добыл я такой дорогой ценой. Верх будет уже не мой. А не подойти – тоже риск. Что если и она так? Пройдется по мне холодным взглядом горячих глаз – и мимо. Тогда что? Бежали секунды, бежали минуты, а я – никак. Ни туда, ни сюда. Завидовал я Вовке. Сидел он рядом спокойный и преображенный. Косые глазки бегают по сторонам. Грудь выпячена как у лейбгвардейца на царском смотре. Весь преисполнен достоинства и самоуверенности. Счастливый человек. Никакие сомнения не терзают его.

Прозвенел звонок, и нас окружили, засыпали вопросами. В общем, как какие-то звезды на приеме. Артисты или спортсмены. Я уже не знал, как и вырваться, а надо было. Нину я не видел. Вполне мог и упустить. Мне удалось выбраться, и я уже приготовился к бегству. И в этот момент, как тогда, я ощутил ее руку на своем плече. Значит, хорошо, что не пошел искать ее. Все хорошо.

Мы вышли в коридор, а она не убрала руки. Я так боялся потерять ее, что передвигался, как эквилибрист с сосудом на голове.

– Ты глупый мальчик, – сказала она, когда мы пристроились к стенке в коридорном тупичке. – Зачем ты это сделал? – Она улыбалась своей невыносимой улыбкой, и голос ее звучал так, что у меня из глаз полезли слезы.

– Я тебя люблю, – прошептал я в ответ. И если бы мы стояли не здесь, а у края пропасти, я прыгнул бы туда, потому что другого способа выразить свое состояние у меня не было.

– К нам приходила твоя мама, – сказала она, приглушив свою обжигающую улыбку, – зачем ты так огорчил ее? Ты злой и не любишь своих родителей, а

они очень хорошие и добрые.

– Я люблю тебя, – упрямо повторил я, не зная, что еще можно было сказать на эти обидные слова. Я ведь очень любил моих родителей, но ее я любил больше и по-другому. Чтобы доказать матери, как я люблю ее, не нужно было ни бежать из дому, ни бросаться в пропасть.

В наш тупичок набежали пригостишки. Они галдели, визжали, орали, сбивая друг друга с ног, и наш разговор потерял свою волнующую интимность.

– Ты ничего не хочешь мне сказать?

– Я тоже люблю тебя, – едва слышно шепнула она. Это было полным безумием, но я притянул ее к себе и поцеловал. В щеку. Это был мой второй и последний поцелуй. Не вообще. О Нине речь.

Затренькал колокол, и мы вернулись в класс. Дверь была закрыта, и стояла за ней тишина. Значит опоздали. Мы тихонько приоткрыли дверь. Нет, не опоздали. Учителя в классе не было. Парты были пусты, а весь народ собрался в кучу у печки. Мы вошли с Ниной, и тут я услышал негромкий, хорошо знакомый, хрипловатый Еськин голос. Он стоял к нам спиной и что-то рассказывал, с явным удовольствием растягивая слова. Я видел только его затылок, но в интонации улавливал насмешливую улыбку.

О чем шла речь, я сразу не понял, но что касается она меня – это было ясно. Поняла это и Нина.

– ... тогда пришла ко мне его мамаша, – не видя нас, продолжал свой рассказ Еська, – и со слезами стала просить, чтобы я помог его найти.

– Не верите? Спросите кого угодно, – с наигранной обидой выкрикнул Еська в ответ на иронические возгласы и язвительные вопросы, -- хоть его самого!

– И ты, конечно, их нашел? – ехидно спросил кто-то.

– Еще и как! Они сидели на вокзале, ревели и звали своих мамочек...

Ух, что со мной сделалось после этих Еськиных слов! На меня нередко нападало остервенение в наших драках. Дрались мы часто. И в школе, и на родной улице. Но такого со мной еще не было. До сих пор сохра-

нился у меня страх перед этим чувством. Оно и не чувство даже. Просто-таки припадок. Как падучая.

Еська повернулся, и я увидел его конопатую рожу. Тут-то я и вовсе лишился разума. Ничего не вижу, не слышу, а челюсти свела судорога. Как такое получается, может, наверно, только врач объяснить. И то не всякий.

Я издал какой-то нелюдской, звериный крик и рванулся к Еське. В бредовом моем состоянии он виделся мне одним только рыжим пятном. Оно заслонило все.

В кармане у меня лежала финка. Та самая, что за рубль двадцать. Я вырвал ее из ножен и кинулся к этому пятну.

Меня спас Андрюшка. Он видел, как мы с Ниной вошли, и сразу сообразил, что из этого может выйти. Уж он-то знал мои повадки.

Он повис на моей руке в тот миг, когда я рванул ворот Еськиной рубахи, занес нож и уже успел коснуться шеи у самой ключицы. От гибели нас с Еськой отделяли доли секунды.

За Андрюшкой ко мне кинулось еще несколько человек. Они оттащили меня, притиснули к печке. Кто-то вырвал из рук нож, отодрав мои пальцы и вывернув кисть.

Я уже не сопротивлялся. Еська, тяжело дыша, возился с пуговицами рубашки. Подбородок его трясся, и был он так бледен, что веснушки засияли на нем, как цветы одуванчика на апрельской грядке.

Меня усадили на парту. Я уже немного отошел, и только сердце все не успокаивалось. Стучалось в ребра, словно просилось на свободу.

Об уроке все забыли, и никто не заметил, как вошел наш учитель истории Никифор Силыч.

– Что здесь происходит? – вскричал он, взглянув на наши лица.

– Веселкин, покажи что у тебя в руках! Дай сюда!

Андрюшка помедлил, и Никифор Силыч вырвал у него нож.

– Твоя финка? Зачем она у тебя? – Голос у него сдал. Он, видимо, здорово перетрухнул. В его классе – и такое

дело.

– Вы мне скажете, наконец, как это все понимать?

– Вы мне финку отдайте, Никифор Силыч, – прока-
нючил Андрюшка, – не моя она, отдайте.

– А чья, если не твоя? Кто позволяет себе приносить
в школу подобные вещи? Вы кто, учащиеся или банди-
ты с Бессарабки? Чей нож? Скажете вы, наконец?

– Мой, мой нож, – отозвался я. Пора было выручать
Андрюшку. Совсем он его доконал своими вопросами.

– Да не может быть! – Брови у него полезли под са-
мый потолок.

– Ты правду говоришь, Дон? А может быть Весел-
кина выгораживаешь?

Меня многие учителя называли не по фамилии.
Почему-то им так нравилось больше. Или имя было
такое удобное: Дон.

– Правду. Мой это нож.

Когда он первый раз меня спросил, я не встал. И
теперь все продолжал сидеть против всяких правил.
Чтобы он перестал приставать со своим вопросом, я
подал ему ножны. Тянучковые, с подпалинами по краям.

– Ты почему сидишь, нездоров? – вдруг изменив тон,
участливо спросил он.

Мне проще было встать, чем давать объяснения, но у
меня и в самом деле не было сил. Как во всякой тяжелой
болезни, я сейчас переживал кризис. В долгой моей хвори
наступил перелом. В хвори, где было все. Потеря ножика,
трехрублевка, свидание под часами, Вовка с его Амери-
кой и браунингом, Фастов, и Нина, Нина... И вот теперь
то, что с Еськой, едва не погубившее нас. Его и меня. За
кризисом всегда следует потеря сил. Я их и потерял.

А Никифор все не отставал.

– Если ты не болен, зайдешь ко мне после урока. –
Он потрепал мою голову. – А сейчас – за дело, друзья!
Уже не мне, а классу.



Хорошо, что стол Никифора в учительской стоял в
уголочке. Когда я пришел к нему, то мы с ним, как в

отдельной комнатке. Вовка был прав насчет славы. Слава не слава, а известность была налицо. Кто не входил из учителей, все пялились на меня, как на тигра в зверинце. Иные даже порывались подойти. Еще и пощупать были, наверно, не прочь. Но Никифор, как я заметил, делал им знаки, и они удалялись с деланно-безразличными лицами.

– С тобой что-то происходит в последнее время, – начал он тихо, – вот и пож этот теперь. Ты не хотел бы мне рассказать? А вдруг я тебе помогу? Ведь вижу: трудно тебе.

Смотреть на него мне было как-то неловко. Я уставился в стол и молчал. Честно говоря, было у меня желание облегчить душу, вот так взять и выложить все. Но что-то мешало, хоть я Никифора уважал. И доверял тоже. Хороший он был человек.

Теперь я порой думаю, что церковная исповедь не такая уже плохая затея. Конечно, не в том виде, что многократно опорочена и осмеяна в литературе. А какая-то другая. Чистая и возвышенная, при безграничном доверии к духовнику, и по мне, то без всякого Бога. Что-бы было все просто, по-человечески. Но, наверно, такое невозможно. Без Бога духовник – самый обыкновенный человек. Со всеми человеческими пороками. От него во время исповеди, чего доброго, еще и пахнет табаком, или чесноком, или того хуже – сивухой. Если же есть вера, то он уже и не человек, а полномочный представитель, посланник Божий, свободный от земной обыденности.

Никифор Силыч был вполне земным, а я – заядлым атеистом. Таинство исповеди было мне чуждо. Вот мы и сидели с ним так. Я молчал, а он ждал.

– Вижу, что откровенничать у тебя желания нет, – сказал он наконец. – Настаивать не могу. Только скажи, откуда у тебя этот нож?

– Купил. За рубль двадцать, – ответил я и тут же подумал, что про рубль двадцать было лишним.

– Зачем купил? Ведь понимал, что это не игрушка? Он же ни на что, кроме как на убийство, не пригоден!

– Сейчас уже не знаю, – прошептал я. И это был

честный ответ. Он действительно теперь был мне не нужен, Железный Зуб. Да, наверно, и тогда тоже.

– Теперь ты мне скажи, как у тебя с родителями, с отцом, какие у вас отношения?

– Хорошие. И с мамой, и с отцом. Они меня очень любят. И я тоже.

– Я хотел бы с ними поговорить, – сказал он, беря со стола журнал, потому что в этот момент зазвенел звонок. – Лучше если с отцом. Ну, ну, не бойся, – поспешно проговорил он, видя, что его предложение тревогою отразилось на моем лице, – никаких неприятностей у тебя не будет. Обещаю. Договорились?



Отец вернулся из школы с лицом хмурым и темным, как ноябрьский рассвет. Я приготовился к самому худшему, но он не сказал мне ни единого слова. Полагаю, что Никифор как-то его настроил или даже взял с него какое-то обещание. Я только подслушал часть его рассказа, когда они перешептывались с матерью.

– Нож! Откуда у него этот нож? – испуганно шептала мать.

– Учителю он сказал, что купил. Не иначе как на те три рубля, – ответил отец. – Мне предложили его забрать, но я отказался. Не взял, – в отцовском голосе мне слышались брезгливые нотки. Я хорошо знал, как в подобных случаях выглядело его лицо.

– Я не взял, – повторил отец, – на что он мне?

– Боже мой, у нашего сына финский нож! – воскрикнула мать. – Откуда это к нему? Неужели от косоглазенького? Он же все затеял с их путешествием.

– Да, наш сын может далеко зайти, – с ужасным вздохом подвел итог отец, – у него в натуре авантюризм и нравственная неустойчивость.

Возможно, был он прав: я до сих пор грущу об этой потере. Удивительна эта страсть к оружию. Предложи мне теперь кто-нибудь купить такую вещь, взял бы не

задумываясь, хоть нужна она мне не более, чем, допустим, цилиндр или вязальная машина. И все же цилиндр или машину не взял бы и задаром, а финку — с радостью. И денег бы не пожалел.



Кажется, у Джека Лондона встретилась мне такая мысль: человек никогда не знает, сколько у него в запасе сил. Вот и я так думаю, что не знает. Ведь потерял я Нину, и достало у меня сил, чтобы вынести и пережить эту потерю. Расстались мы с ней. И даже не попрощавшись, не сказав друг другу ни слова. Даже взглядами не обменялись, последними.

Пришел я в школу, а ее нет. И место ее пустое. Не знаю, как хватило меня, чтобы досидеть до конца. Только звякнул наш колокольчик, я бегом на Андреевский. Спустился в подвал, а на дверях замок. Метался я туда-сюда возле этой двери, сам не знаю зачем. Висит замок, и все тут. И спросить не у кого. Был бы я такой умный, как теперь. Ведь работала Нинина мать уборщицей, и не могли о ней люди не знать. Хоть бы тот же дворник! Но не был я умным. Прыгал у дома, как идиот.

Назавтра все то же. Нины нет, и никто ничего не знает. Опять я на Андреевский. Проверил замок. Висит. Снова толкся у дома чуть не до самой темноты. И без толку, конечно.

Четыре дня, не дня, а суток четверо, потому что не было у меня и ночью покоя, жил я как за ребро подвешенный. Пытка такая была на Руси. Никифор нам про нее рассказывал.

Четыре дня висел, пока не дала мне подруга Нинина Галя того письма. Да какое письмо? Клочок тетрадной бумаги в клеточку. Вот что я там прочел.

„Так случилось, что нам с мамой надо вернуться в Тифлис. Я ужасно не хотела, но мама сказала, что ее туда зовет один человек, и с ним нам будет хорошо. Для мамы я согласилась. Я ведь не могла иначе? Наверно, мы никогда не увидимся, и я буду очень скучать и

жалеть. Хочу, чтобы ты всегда помнил обо мне, а я тебя никогда не забуду. Твоя Нина“.

Вот такое это было письмо. Ничего в нем для моей души. Ни слова про нашу любовь и все такое. Вроде и не было между нами ничего. Так, будто были мы только соучениками. На партах в одном классе сидели, и лишь подпись, как огонечек в ночи. Хоть чуть-чуть, а грела. Твоя Нина! Моя все же! Может быть, и моя. Но какое это теперь имело значение?

Я исполнил ее желание. Помнил о ней. И сейчас помню. Помню ее, мою Вторую Любовь, которую забыть я не могу, потому что другой такой, даже похожей, у меня не было.

А если бы в ту пору стал я забывать Нину, то мне бы напомнили. Долго еще носил я дурацкую кличку „Африканец“, хоть к Африке никаким боком и не прикасался. Когда я слышал это мерзкое слово, вспоминал все. И прежде всего Нину. В конце концов не будь ее, не было бы и „Африканца“. А это уже не забывается. Если, конечно, не хочется забывать. А мне не хочется. Ни тогда, ни теперь.

БЫВШЕЕ ТРЕТЬЕ РЕАЛЬНОЕ

Что бы мне ни говорили, как бы ни хулили дореволюционную школу, я остаюсь при своем. Хорошая была школа. Выпускали гимназии и реальные училища людей образованных и воспитанных. Нет уже этих людей. Ушло это поколение. Но я их еще застал, бывших гимназистов и реалистов. Распознать их было нетрудно. Отличались. Речью, манерами, грамотностью. На них стоял отчетливый „знак качества“. Знак этот угадывался даже у не закончивших курса. Посидел 6 или 7 классов, и готово. Знак есть. Недоступным нынешней школе способом в учеников вколачивались знания, которые они сохраняли до старости.

Злопыхатели говорят, что гимназия – это зубрежка, злонамеренная придирчивость и бессмысленная жесто-

кость экзаменаторов, унижение личности и пр. и пр. Я склонен все эти наветы перевести на язык эвфемизмов: добросовестный труд, высокая требовательность, бескомпромиссность и ответственность проверяющих.

Были, конечно, и сбои. Они есть всегда, всюду и везде. Были среди учителей и самодуры, и любители поиздеваться, унижить, особенно если речь шла об „инородцах“ и „неимущих“ кухаркиных детях. Были и садисты, каравшие двойкой каждое неверное слово. Все это было. Не могло не быть. Зато не было учителей-невежд. Гимназический учитель, за немногими исключениями, был специалистом высокого класса, и это я уже знаю не по рассказам.

Школу на Подоле, где я пережил горечь назревающего разрыва моего с братом, я уже описал. Проучились мы в ней лишь год или два. Сейчас и не припомню. А вот первых наших учительниц помню. Все помню. Их лица, прически, одежду и даже голоса. Не забыл и их имен. Мою звали Елизавета Ильинична, а Вовкину – Марья Владимировна. Хорошие были учительницы. Но с переездом на „Верх“, пришлось нам с ними расстаться. Перевели нас в школу, что на площади, против „Присутственных мест“, тех самых, где судили Менделя Бейлиса.

Моя 6-я трудовая школа помещалась в здании бывшего 3-го реального училища. Так ее обычно и называли. Здесь сохранилось все „бывшее“: мебель, оборудование кабинетов, порядки и традиции. Но главное, – в этом нам очень повезло, – остались учителя. Настоящие, „старорежимные“. Перешли они к нам в полной сохранности. Вместе с „дядькой“ швейцаром и классными дамами с булавками в затейливых прическах-башнях. Даже „царскую“ форму не сменили. Сверкали надраенными гербовыми пуговицами и воротничками самой белой крахмальной белизны.

Вспоминаю теперь своих наставников и грущу. Тогда, конечно, этого чувства не было. Теперь есть. И как же были мы несправедливы, жестоки! Как третировали их, как незаслуженно обижали. Вспоминаю со стыдом. Со

стыдом и сожалением. Нам было ниспослано богатство, бесценное сокровище, которым мы по природной глупости пренебрегли. Нет прощения нашему недомыслию.

Не перестаю задавать себе вопрос: что же, собственно, произошло? И учителя те же, и школа, и всякие там парты и доски – все как было до „Судного дня“. Но ни знаний, ни того шарма, который формировал личность учащихся, трудовая школа уже не давала. Ушел из нее прежний дух. Таким тлетворным оказалось влияние порядка, пришедшего с новым строем. Именно он извратил естественные отношения между учителем и учеником. Учитель лишился своих законных прав, а ученики – столь же естественных обязанностей. Учитель потерял право требовать, а без принуждения нет и обучения. Может быть, все дело в этом? О том, что учение – свет, знает учитель, но не ученик. Даже жаждущих познавать – а бывают и такие – нужно принуждать. Потому что хотят они познавать не все, и не всегда, и не столько, сколько требуется. Залог любого успеха есть труд, но на его пути всегда стоит препятствие – лень и врожденная инертность. Я склонен думать, что они, инертность и лень, вообще являются источниками всех бед. Жизненный путь личности прежде всего определяется ее способностью преодолевать лень. Нужно прожить жизнь, чтобы до конца осознать безмерное значение этого факта. Не раз, мысленно оглядывая свой жизненный путь, пытаясь понять причины многих неудач, провалов и злоключений, я приходил к выводу: первопричиной были все те же инертность и лень. В мелочах и в крупном. В бедах преходящих и судьбоносных. Всегда удавалось мне отыскать тот миг или час, который оказался роковым. И всегда в этом роковом миге или часе я узревал их: инертность и лень. Ее, лени, могло быть больше или меньше, но была она всегда. Там, где следовало сделать над собой усилие, оно сделано не было. И ведь понимал, что надо, а не сделал. Тут она и сработала, лень.

Господи, если бы можно было все переиграть! Сделать эти усилия там, где их недоставало! Скольких

бессонных ночей, проигранных схваток с совестью, неутолимых сожалений мог я избежать!

Но в жизни, как в шахматах. Двинул фигуру – назад хода нет. Безжалостный inferнальный закон.



Утонули во мгле прошлого школьные мои годы, а сожаление о нелепо растроченном времени живет. Сидит где-то в подсознании, как червяк в яблоке. И не столько времени жаль, сколько упущенных возможностей. Не ценил, не понимал, не видел. Был глуп, попросту говоря. Так муха в темноте своей ползет по бессмертному полотну великого мастера, лишь оставляя на нем гадкий след. А возможности были. Таких учителей я потом уже не встречал. Встречал хороших. Даже очень хороших. Но не таких. Была в тех, „бывших“, какая-то неосязаемая „антикварная“ добротность, как в старинной мебели, бронзе или фотографиях прошлого столетия. Из этого же ушедшего столетия они вынесли свои лица, жесты, речь, манеру держаться. Они виделись мне персонажами из произведений Чехова, Вересаева или Лескова, которые по злой воле оказались здесь, в несуразной действительности трудовой школы Страны Советов. Но очень хотелось бы думать, что какие-то крохи их стиля все же перепали мне. Быть может, только это, потому что все прочее потом пришлось добывать заново. Знаний школа дала мне мало. Но я не жалею об этом. Да и напрасным было бы сожаление. Назад хода нет. Зато с трепетной благодарностью вспоминаю я часы общения с моими учителями.

Взять хотя бы нашего учителя литературы Андрея Васильевича Голуба. Редкостный был человек. Педагог высшего разряда. Ас. Гвардейского роста, с лицом государственного деятеля екатерининской поры или тайного советника прошлого столетия. Носил он неизменно безукоризненно вычищенный и отглаженный костюм-тройку цвета индиго, сверкающий белизной твердый воротничок и галстук-бабочку. Пробор над высоким

лбом поражал своим геометрическим совершенством. И голос был под стать. Как у варяжского гостя.

Боялись мы его – страсть. Уж очень было все в нем монументально. И зря боялись, потому что был он всегда нестигаемо справедлив и безукоризненно корректен. Даже с самыми злостными „камчадалами“.

А уроки! Какие это были уроки! А чтец какой! Не хуже Яхонтова или Шварца. И все читал без книги. По памяти. Хоть Пушкина, хоть Лермонтова, или какого-нибудь Козлова, или Вяземского. Все хранил в своей вельможной голове.

И как же был я глух и глуп! Уроков не учил и предмета не знал. Вот таков ребус. Полюбил русскую классику много позже. Когда об учителе уже и не вспоминал. Не получил я от него знаний. Получил другое. Объяснить, что именно, – не смогу. Трудно это. Но опишу эпизод, который без лишних слов сделает то, чего я не в силах выразить и обобщить.

Дело было обыкновенное. Отправил кто-то из задних рядов записку, и поплыла бумажонка от парты к парте. Предназначалась она девочке, имя которой, странным образом, помню и теперь, хотя роль ее в этой истории самая ничтожная. Звали ее Тоня Белькот. Но главным лицом был, конечно, Андрей Васильевич. Проследив весь проделанный эстафетой путь, он засек момент, когда она достигла финиша. Тоня завладела запиской, и по лицу ее разлилось то спокойное блаженство, какое бывает у роженицы после исторжения плода. Однако вместо младенческого писка, она улышалась голос Андрея Васильевича. А каким был этот голос, я уже сказал.

– Мадемуазель Белькот, – без капли иронии прогрохотал он. – Если в полученном вами послании нет ничего, что бы вы хотели скрыть от меня, я просил бы вас дать его мне. Повторяю. Только в этом случае.

Представляете, что в подобной ситуации сделал бы учитель в наши дни? Впрочем, какой учитель? Где теперь найдешь учителя? Конечно, учительница! Мне даже голос ее чудится с истерическими интонациями.

Но у нас был учитель, Андрей Васильевич.

Тоня мгновенно запылала, как уголек, с которого сдули пепел, встала и подала записку.

– Тут нет никакого секрета, Андрей Васильевич, – заикаясь, пролепетала она. – Это песня. Я попросила ее переписать.

– Песня? Чудесно! Если вы не возражаете, мы с ней ознакомимся.

Он стал читать. Морщины волнами взбежали по лбу к самому пробору.

– Вас не обидит, если мы прочтем эту песню вслух? Тоня выдавила из себя короткую серию немзыкальных звуков. Ее бил озноб. На лице ее вновь отразились предродовые муки. И Андрей Васильевич стал читать.

Жаль, но текста песни я не запомнил. Вот только одну эту строчку: „Увидев крошку Джаней, всю извиваясь, как змей...“ Вообще же речь шла о матросе, заставшем в баре свою подругу, танцующую в объятиях соперника. Затем следовала расплата за вероломство и драматический финал. Все это было изложено в стиле, который достаточно характеризует приведенная строка.

Читал Андрей Васильевич вдохновенно и даже, казалось, с волнением. И впрямь дело с крошкой Джаней было нешуточным. Он кончил читать и с поклоном вернул Тоне листок. Потом он встал у окна, задумчиво разглядывая переливавшиеся перед ним ветви тополя. Затем повернулся лицом к классу и, заложив понаполеоновски руку за борт пиджака, начал:

„Простишь ли мне ревнивые мечты,
Моей любви безумное волнение?
Ты мне верна:
.....“

Боже, как он читал! Что сотворял он с нашими сердцами! Он ли, Пушкин ли, не знаю. Мы содрогались от распиравшего наши груди восторженного смятения. Изнывали сердца. Мокрели глаза. Мчались по спинам мурашиные потоки.

Андрей Васильевич прочел стихотворение до конца.

Он молчал. И мы молчали, как мумии. Страшно было нарушить и тишину, и неподвижность.

– Да, – неожиданно тихо произнес Андрей Васильевич. – Увидя крошку Джаней, всю извиваясь, как змей...

И тут класс взорвался. Мы хохотали как сумасшедшие. Мне показалось, что замыслил Андрей Васильевич сохранить серьезность. Но не получилось. Расхохотался и он, покрыв своим громоподобным басом весь классный гул.

По логике вещей следовало обсудить происшедшее. У нашего учителя была своя логика. Никакого обсуждения. Ни в этот, ни в последующие дни. Дело сочтено было законченным. Суд состоялся. Приговор вынес каждый из нас. В своем сердце и по своему разумению. Сделано все было мастерски. Читать мораль – последнее дело. Пошлости был дан бой. Победный бой. К чему еще разглагольствовать? Какой мерой можно измерить то, что дал мне такой учитель, как Андрей Васильевич? Нет такой меры. Как нет тому и цены.

Конечно, Андрей Васильевич был личностью незаурядной, но незаурядными были и другие мои учителя. Каждый в своем роде, каждый на свой лад. Едины они были в одном: в своем учительском призвании, в преданности своему делу. Они были не „шкрабами“, а Учителями в высоком значении этого слова. Были среди них своего рода чудачки, со своими особыми педагогическими приемами. Слыли они оригиналами, да и были такими. Но суть в них была та же.

Коль скоро упомянуты были оригиналы, то первое место среди них я бы отдал учителю химии Измаилу Осиповичу Инесову. Скажу без преувеличения: ни звука из того, что он нам преподавал, я не запомнил. Смутно мерещатся какие-то опыты то ли с медной, то ли с железной пластинкой, не то с кислотой, не то со щелочью. К чему все это было, хоть убей, не придумаю. Зато уж на его уроках мы не скучали.

Не уроки, а настоящие КВН. Превыше всего ценил в ученике Измаил Осипович остроумие и быстроту мысли. Так он нам и говорил.

– Мысль всегда служила примером скорости движения. Значит она у вас и должна быть такой. Я вам вопрос – вы мне ответ. Знаешь или не знаешь, отвечай. И отвечай без промедления. Но, – тут он возносил свой указательный палец и щурил узенькие глазки, – за незнание – плати! И плата одна – острота! Насмешишь класс, считай – победил. Меня насмешил – победил вдвойне.

И как же мы изощрялись! Полжизни готовы были отдать. И не за коня, за благосклонный взгляд Измаила Осиповича. Но ценителем он был строгим и на улыбки скуп. Добыть их было ой как не просто. Зато уж победителей народ уважал. И странным образом – не пойму, как это ему удавалось, – химию любили и даже знали. Особенно те, что не блистали скоростью мысли, а добросовестно трудились над формулами. Так что соревнование шло по двум путям. Либо так, либо этак. Поощрялись и те, и другие.

Вот и он, Измаил Осипович, что-то вложил в меня. Толком и не пойму, что именно. Но вложил. Что-то я приобрел, хоть и не знаю что. Оставил он свою борозду на ниве наших душ.

Птицей совершенно иного полета был наш учитель математики Лазарь Моисеевич Тараховский. Не было в нем ни чудачества, ни оригинальности, если таковыми не считать примитивную простоту его педагогического принципа. А прост этот принцип был до неприличия: каков ни есть ученик, алгебру он должен знать. Хочет или не хочет, а должен. Может – не может, все это болтовня. Все могут, и все должны. Он же сам, Лазарь Моисеевич, может и должен сотворить чудо: всех и без исключения научить определять иксы, игреки, и манипулировать многочленами.

Измаил Осипович говорил нам, что учителя и ученики – вечные враги. С древнейших времен. И бороться они должны друг с другом всеми доступными им способами и средствами. Таков закон.

Лазарь Моисеевич считал, что на борьбу имеет право только одна сторона – учитель. В этом состоит его предназначение. Ученики могут сопротивляться, но

победить должен учитель. В этом смысл обучения.

Он и был победителем в самом суровом значении этого слова. Математику знали у него все. Алгебра – единственный предмет, который я, при самом отчаянном сопротивлении, вынес из школы. На всю жизнь. Я и сейчас, на склоне лет, твердо помню все, что дал мне этот безжалостный и скучный учитель.

Никакого соприкосновения душ, как это было на уроках других учителей, не происходило, никаких посторонних разговоров не велось. Он врывается в класс, швырял на стол толстый, как подушка, облезлый портфель и, не переводя дыхания, катаральным, хриплым голосом объявлял тему урока. Кроме звуков, которые производил он сам, никакие другие не допускались. Слух у него был, как у летучей мыши. И зрение – подстать. Он все видел и все слышал. Класс погружался в пещерную тишину. Воздух сгущался до вязкости. Только и слышался стук мела о доску и сиплый голос учителя.

Его мы тоже боялись, хотя был он тщедушен и мал ростом. Боялись прозрачного взгляда его холодных, голубых глаз. Боялись совершенно неоправданно. Никогда и никому Лазарь Моисеевич не причинил зла. Более того, до нас доходили слухи, что на педагогических советах он неизменно бывал первым заступником провинившихся и даже неуспевающих. Но мы все равно дрожали при одних лишь звуках его голоса, а встречу с его взглядом воспринимали как катастрофу.

От остальных учителей я получил все, что угодно, кроме знаний предмета. От Тараховского я не получил ничего, кроме этих знаний. Судить о том, что было для меня важнее, не решаюсь. Наверно, и то и другое. И я никогда не осмелюсь сказать, что кто-то из моих учителей был лишним в моей жизни. Все вместе они составляли целостную систему. Как в здании. Громады гранитных плит и изразцы, прилепленные к фасаду. Все на своем месте. Так и учителя. Каждый внес свое. И спасибо им за это. От всей души.

Пришло мне в голову сравнение с гранитом и сразу же подумал, что самое сейчас время рассказать еще об

одном учителе. Точнее – учительнице, что в то время было явлением не частым. Учительницы встречались либо в младших классах, либо учили иностранным языкам и рукоделию. Это, конечно, девочек.

Учительница, о которой я хочу рассказать, преподавала не язык и не вышивание, а самый что ни на есть мужской предмет: обществоведение. Она и смахивала на мужчину. И внешне, и по складу характера. Ныне, умудренный генетическими познаниями, я полагаю, что не все у нее было ладно с хромосомами. Мужского начала в них был явный перебор. Но для меня это не меняет ничего. Из всех зарубок, которые оставили наставники на моем сердце, ее зарубка была самой глубокой. Мне выпало счастье окунуться в благодный свет, излучаемый этой удивительной личностью.

Страшно даже подумать, как давно все это было! Нас, знавших Нину Ивановну Власову, остались, наверно, единицы. А может быть, и единиц этих уже нет. Но я ничего не забыл. Все помню. Будь в наши дни создан такой компьютер, который сумел бы мысленный образ воспроизвести на экране или, что еще лучше, на бумаге, я воспроизвел бы портрет Нины Ивановны с фотографической точностью. Ее высокую плоскую фигуру, стриженую, на пробор зачесанную голову, худое длинное лицо с нездоровой тусклой кожей и резко выступающий с горбинкой нос. Запомнился мне устойчиво-твердый взгляд ее карих глаз. Твердый и все же женственный, пришедший казалось, со стороны, с другого лица. Она и одевалась по-мужски: свитер веревочного цвета, синяя шевиотовая юбка и сапоги. Ничего другого я на ней не видел. Похоже, что ничего, кроме этого свитера и сапог, у нее и не было. Ко всему, она еще и курила. Были в то время такие папиросы „Пароль“. Вот их она и курила. Кстати, вспомнил очень тогда ходкий анекдот. Но прежде чем рассказать его, надо дать некоторые пояснения. Сорт „Пароль“ появился взамен прежнего, „Коминтерна“, с портретом Зиновьева на коробке. Зиновьева убрали, выпустили „Пароль“. Все прочее осталось прежним. И коробка, и табак, и цена – 27 копеек. Теперь на коробке,

в верхней части этикетки, стояло „ТУТ“ – Табачный украинский трест. А под этим ТУТ – название „Пароль“. Остряки предложили следующее прочтение на злобу дня: тут похоронен активный работник оппозиции ленинизму. Ловко было придумано. Всем очень нравилось. О том, что Зиновьев будет убран, как и многие другие, не только с папиросной этикетки, никому еще в голову не приходило.

Все это к делу отношения не имеет. Просто не хотелось потерять такую пикантную деталь. Главное, все же, Нина Ивановна.

Снова вынужден признаться, что вынес я немного из ее уроков. Вот только эти слова, которые она повторяла на каждом уроке, помню железно: „Человек должен быть прежде всего сыт, одет, обут, только тогда он может интересоваться искусством, литературой, музыкой и всем прочим“.

Я не раз потом подвергал сомнению это утверждение. Не только подвергал. Опровергал. Забывать же – не забывал. Никогда. Верно оно или неверно – разговор особый. Здесь ему не место. Речь о Нине Ивановне и следе, который оставила она в моей душе. Всю жизнь мою перекроила. Пришла и разделила ее на две части: до и после.

Если бы я сказал, что был прежде отпетым негодяем, а после – безгрешным праведником, то было бы это бессовестной ложью. Во-первых, потому что ничего такого не было. Во-вторых, мне бы никто не поверил. Не был я Пятницей, каннибалом, который после встречи с Робинзоном стал чуть ли не вегетарианцем. Не был и Жаном Вальжаном, что основательно перековался после истории с серебром аббата. Ничего такого вопиющего со мной не произошло. Грешил до и грешил после. Но лампадка уже замерцала во мне. Зажгла ее Нина Ивановна. Память ей светлая.

А началось все – стыдно сказать – с записи, сделанной завучем в классном журнале. Даже не припомню, с чего он так расписался. Что мы такого сотворили с дружками Мишкой и Ромкой? Может быть, выехали

на партах из класса или чехарду затеяли в недобрый час. Во всяком случае, разъярили мы его крепко. Перо, когда он расписывал в журнале наши подвиги, разбрызгивало чернила, как бешеный пес ядовитую слюну. Я хорошо запомнил и саму запись, и брызги вокруг.

Теперь я понимаю, что дело было пустяшное. Ну, пошалили. Ну, отчитали бы нас. На худой конец, родителей бы вызвали. Ничего страшного. Но это теперь не страшно. А тогда, как шарахнул нас стресс, так и пребывали мы в нем безвыходно.

Стресс стрессом, а спастись как-то надо. Не сидеть же сложа руки. Мы и не сидели. Дали волю рукам.

Кто придумал и кто собственные руки приложил – не помню. Моих рук там не было. Тут уж я не ошибусь. Такого бы не забыл. Но важен результат. А был он таким, что завучеву кляuzu мы из журнала выдрали. Осталась вместо кляузы дырка с обрызганными чернилами краями. Надо же было так сдурить! Хоть бы уже всю страницу! Так нет. Сделали дыру и успокоились, если последующее наше состояние можно было назвать покоем.

Очень немного потребовалось времени, чтобы осознать, насколько после содеянного возросла наша вина. Одно дело шалость, другое – преступление. Порвать журнал с корыстной целью, это уже не шалость. Сами загнали себя в тупик. Теперь уже сделать ничего нельзя. Журнал не починишь. Ждать гибели – это все, что нам остается. Мы ее и ждали. Сидели бледные, как пасхальные свечи, и тряслись. Мечтали о смерти. О внезапной болезни. Холере или тифе. Мишка молил Бога, чтобы сунул его под колеса извозчика. Под трамвай он не хотел. Жуткое дело трамвайные колеса. Автомобилей в ту пору практически не было.

Все началось как обычно. Вошла Нина Ивановна, обменялись мы с ней приветствиями. Она взяла журнал.

Я перестал дышать. Вообще все перестал. И жить тоже. Какая уж тут жизнь? Из всего, что происходило в моем залитом гадким потом теле, я ощущал только

мерзкое подрагивание какого-то сосудика на виске. Под партой, отбивая дробь, дрыгалась Мишкина нога.

Нина Ивановна открыла журнал. Перелистала. Теперь сосуды трепыхались на обоих моих висках. Мишка окончательно потерял власть над своими ногами. Парта сотрясалась, как мотоцикл.

Такой тишины в классе, наверно, не бывало еще с дореволюционных времен. В ней можно было задохнуться.

Кончилась тишина. Нина Ивановна отложила журнал и взялась за края свитера. Она всегда натягивала его, когда начинался урок. Такая у нее была привычка. Как у мужчин подтягивать брюки.

– Не пойму, зачем вы это сделали, – сказала она тем привычно-спокойным голосом, каким всегда просила вынуть тетради или стереть с доски. – Хотели скрыть тех, кто записан? Тут была запись, как я понимаю? Но ведь тот, кто записал, все равно мне об этом скажет! Она выждала минутку, но класс молчал.

– Если вы думаете, что я затею следствие, то его не будет, – продолжила она. – Ни себя, ни вас унижать не стану. Вы не преступники, а я не следователь. – Все было сказано до жути спокойно, с улыбкой. – Тут только так: виновный должен сознаться. Обещать, что сознание освободит от наказания, не могу. Добровольное сознание не покупается. Иначе оно теряет смысл, поскольку не требует мужества.

Взгляд Нины Ивановны скользил по нашим лицам, и это было нестерпимо. Так, наверное, чувствует себя летчик в самолете, за которым в небе охотится прожектор. Иногда я встречался с ее взглядом, и мне казалось, что он проделывает во мне дыру. Как стрела или пуля. И лучше бы это была стрела или пуля.

Мои силы иссякали. Я взглянул на Мишку, и он верно оценил мой взгляд, потому что угрожающе сдвинул свои белесые брови и оскалил зубы.

Что ж, выходит я ошиблась, – сказала Нина Ивановка и досадливо цикнула. – Оказались вы обыкновенными трусами. А я верила в вас. Теперь выход у меня один: считать трусами вас всех. Весь класс. И покончим с

этим.

На что рассчитывала Нина Ивановна, какие чувства хотела в нас разбудить, не знаю. Помню только ту буйную радость, которая захлестнула меня после ее слов.

– Правильно! Раз нет виноватого, значит отвечает весь класс, – вскричал я, едва владея собой от внезапно разлившейся по всему телу легкости. И в этот миг я наткнулся на упругий взгляд учительницы. Так натывается неудачливый дуэлянт на острие шпаги. Неожиданно и непоправимо.

– Знаешь, милый, несправедливое обвинение – страшное зло, – с каким-то жестким нажимом произнесла Нина Ивановна. – Но если бы я решилась на риск, то сказала бы: журнал – дело твоих рук.

Удар был точен. Точнее некуда. Он сковал меня. Закаменил. А Нина Ивановна – хоть бы что. Только взгляд свой отвела.

– Но обижать никого не хочу. Не имею права, – продолжала Нина Ивановна, – но имею право обвинять всех. Весь класс. Вас так устраивает? Быть по-вашему. Все. Выньте тетради, и – за дело. Надолго вас все равно не хватит, Робин Гуды.

Тут она нас здорово хлестнула. Мы все тогда „болели“ этим отважным героем. Молились на него. Ничего бы не пожалели, чтобы хоть настолечко походить на него.

Права была Нина Ивановна. Кто в силах долго терпеть такое? Радость моя угасла, как искра. Да и какая тут радость? Класс – не класс, но указала она на меня! Знает! Все она знает, только сказать не хочет. Сколько можно такое выносить?

На перемене сцепился я с моими друзьями. Думал, что и они уже на пределе. А они – ни в какую! – Не пойман – не вор, – вот и все их слова. Я им тогда ультиматум: не хотите, тогда я сам. Как придет после звонка Нина Ивановна, я и скажу. А там уж пусть как хотят. Тут они мне угрожать стали. Предателем обозвали. Вот и решай. У греков древних тоже вопрос был, куда податься: к Сцилле или к Харибде. Хоть так, хоть так.

А мне что? Либо в трусы, либо в предатели. Какой уж там Робин Гуд!

Разругались мы с Мишкой и Ромкой вдребезги. Были друзьями, а теперь уже не до дружбы. Враги! Монтекки и Капулетти!

А класс, между тем, тоже на лагеря разделился. Одни – за, другие – против. Одни: пусть признаются! Другие: сойдет и так! Сегодня признаваться, завтра, тогда и жизни не будет! Таких, правда, что против признания – раз-два и обчелся.

Вот и последний урок. „Человек должен быть сыт, одет...“ Ничего по Нине Ивановне и не угадаешь. Вроде ничего особенного и не произошло. А ведь была она на перемене в учительской, и, наверное, завуч ей наябедничал.

Теперь всему конец. Так и останусь в ее глазах жалким трусом навечно. Сытым, одетым и обутым ничтожеством. И что обидно. Ведь преступление ерундовое. Ни ловкости, ни смелости в нем. Да и журнала этого поганого я не рвал! Вины с себя не снимаю. Вместе делали. Но я все-таки не рвал! А если бы даже и рвал? Глупо и бессмысленно. Не преступление, а так. Комариная гадость.

Я встал неожиданно. Для всех и для себя больше всего. Секундой раньше еще не знал. Вот так, выскочил, как чертик из коробочки.

– Нина Ивановна, – выдавил я из себя, – Нина Ивановна, – повторил я каким-то не своим голосом, – журнал, страницу, где записано было, я выдрал!

– Ну вот, наконец-то! – со вздохом облегчения произнесла Нина Ивановна, и лицо ее стало таким, какое бывало у матери, когда ей удавалось впихнуть в меня ложку касторки или рыбьего жира.

– Я знала, что так и будет. Торопить не хотела. Дело ведь не легкое.

Голос ее был нежен, и он причинял мне боль.

– Спасибо, что не обманул, – продолжала она. – Я всегда думала о тебе хорошо. И Антону Сергеевичу сказала, что не твоя была это затея. Я не ошиблась?

Ты же был не один?

И как же хорошо, что она это сказала. Словно круг бросила утопающему.

– Я называть никого не буду, Нина Ивановна. Я доносчиком никогда не был.

Нина Ивановна улыбнулась. Так улыбаться умела только она одна. На всем свете. Все добро мира умещалось в ее улыбке.

– Да что ты! Разве я хочу, чтобы ты стал доносчиком? Сама таких не выношу. Я просто подумала, что им, – она сделала ударение на этом слове, – теперь будет легче. После тебя.

И тут одновременно грохнули партами Мишка и Ромка.

Вот так закончилось до. Началось после. Что-то перевернулось во мне. И хотя, казалось бы, свободных мест в груди нет, все заполнено разными органами, в ней поселилось нечто новое. Какой-то сгусток не знающих покоя чувств. Тревожных и радостных одновременно. Они рвались наружу и требовали действий, сотворения чего-то огромного, доброго и жертвенного. Кого я хотел одарить, на кого излить свою доброту, ради кого готов приносить жертвы, я не знал. Объект их приложения не существовал, не имел вещественного, очерченного облика. Зато я отчетливо осознал, что все, решительно все потеряет свой смысл и ненужным станут самые благородные мои помыслы и деяния, если не будут они освящены ею. Её улыбкой. Её словом.

Господи, сколько лет прошло с тех пор, а я помню все. И веревочный свитер, и сапоги, и „Пароль“, и ее глаза. Помню и то нестерпимое чувство, захлестнувшее меня, когда я стоял перед ней в тот мучительно-счастливый день. Оно живет во мне и было со мной все долгие годы. И когда случалось мне подчиниться ему, дать волю, друзья вразумляли меня. Убеждали, что я делаю глупости, что так жить нельзя.

А я думал, что „льзя“. И сейчас так думаю.

Я ПИОНЕР

Мы Сеню всерьез не принимали, но встречали его все же со скрытым любопытством. Этот маленький, хорошо упитанный человечек был неистощимым источником удивительнейшей информации. Он прибегал в класс, шумно дыша, бросал на парту свой ранец и жестом подзывал нас к себе. Мы окружали его, переглядываясь с ироническими усмешками.

– Давай, давай, Сенечка, – подбадривали мы его. И Сенечка „давал“.

– Ох, люди, что я сейчас видел! Ужас! – закатывая глаза и глотая слова, начинал он. – Проходили мы с тетей возле Житнего базара – и прямо на нас выбежало два прыгунчика,^{*)} а за ними два чекиста с вот такими маузерами. Все стали разбегаться, а прыгунчики – раз, два и поскакали выше всех людей по Нижнему Валу. И все. Скрылись в одну минуту. Только их видели.

– Ох, Рувинский, и все-то ты врешь, – закричали мальчишки. Прыгунчиков давно уже переловили.

– Я вру? Чтоб мне свою маму никогда не увидеть! Чтоб мне с этого места не сойти! Не верите, спросите у тети! Вот прямо сейчас пойдем к нам и спросите ее, – кричал он, чуть не плача.

Не стану рассказывать о всех чудесах, коим Сеня был свидетелем, а иной раз и участником. Из описанного и так ясно, каков был Сеня. Но сообщение, сделанное им в тот день, было похоже на правду.

Мы возвращались из школы по родной нашей Межигорской. Шли, болтали о том и сем, но вдруг Сеня остановился. Он повернулся ко мне лицом и с внезапно округлившимися глазами, понизив голос, спросил:

^{*)} Прыгунчики - легендарные бандиты, державшие в страхе киевлян в начале двадцатых годов. Говорили, что в каблуки их ботинок вставлены пружины, с помощью которых они совершают длинные прыжки, ускользая от погони. Не исключено, что все это выдумки. Но что-то все же за этими выдумками было.

– А ты знаешь, кто такие пионеры?

Я впервые услышал это слово и честно в этом признался. И тут Сеня напустил на себя просто-таки пугающий, таинственный вид. Глаза его на веснушчатом личике округлились и приобрели зловещее выражение. Он прямо всунул свой рот в мое ухо: „Это члены тайной такой организации. Вроде скаутов. Вот они и называются „пионерами“, – зашептал он, опасливо поглядывая по сторонам. – А со скаутами у них идет постоянная борьба. Скауты ведь буржуйские сынки!“

– А что они делают в этой организации? – спросил я, захваченный Сениным сообщением.

– Ты не знаешь? Походы делают, а в походах жгут костры, пекут картошку, поют ихние пионерские песни, играют в военные игры и обсуждают свои дела.

Какие это дела, он объяснить не сумел. И все же я почувствовал, что на сей раз Сеня не выдумывает. Что-то за его рассказом было настоящее.

– А ты знаешь, как они здороваются? – уже даже не шепотом, а одним лишь движением губ произносит Сеня.

– Откуда могу я это знать, – говорю я, – если и о пионерах слышу впервые.

Сеня доволен моим ответом. Он сгорает от желания выдать тайну, которую держать в себе у него уже нет сил. Но делает это он не сразу. Дается ему это не легко. Он действительно боится. Кривится, горбится, зачем-то поднимает воротник своего пиджачка, зорко всматривается в лица прохожих и прикладывает палец к губам.

– Я бы показал, но это опасно. Увидят и могут арестовать, – говорит он, продолжая косить глазами и водить ими вокруг. – Давай зайдем в парадное, там я покажу.

Мы выбираем самый глухой и пустынный подъезд, поднимаемся на один марш, прислушиваемся. Тихо. Сеня дает мне подержать свой ранец, освобождает руки и вскидывает правую в пионерском салюте. Он проделывает это с такой быстротой, что я едва улавливаю суть жеста. После долгих уговоров он повторяет его. С минутой мы еще стоим прислушиваясь. В подъезде по-преж-

нему тихо, и мы, ссутулясь, на цыпочках пробираемся к выходу.

Вот такими мы были, дети эпохи раннего НЭПа. Вроде бы жили уже спокойно и сытно, но страхи недавнего военного коммунизма с уличной стрельбой и грозным Чека вошли в наше сознание прочно. Слова „арестовать“, „посадить“, „расстрелять“ были в ходу широко и неосознанно определяли наше поведение.

Я взволнован. На сей раз Сенька превзошел самого себя. И где только он все это узнает? В достоверности его сообщения у меня сомнений нет. Правду всегда чувствуешь. Меня лихорадит. Жар любопытства опалает тело и душу. Я должен узнать о пионерах все! И чего доброго, может быть, мне и самому удастся стать пионером. Но где их искать? Кто может мне сказать, где место их сбора? Кого туда принимают? Ничего этого Сенька не знает, а больше спросить не у кого.

Судьба была благосклонна ко мне, и все эти вопросы мучали меня недолго. Не прошло и недели, как столкнулся я с этой „глубоко засекреченной“ организацией лицом к лицу. И произошло это тут же, на родной нашей Межигорской.

Идем мы однажды с Вовкой из школы и вдруг слышим: бьет барабан, и звонкий свист отсчитывает маршевый ритм: фью, фью, фью-фью-фью! Хрипловатый девичий голос подает команду: левой, левой, фью-фью-фью!

Из-за угла появляется колонна. Мальчишки и девчонки – все в белых рубашках и темных штанишках. На шеях – красные галстуки. Впереди рыжий веснушчатый мальчуган на вытянутых руках несет знамя. Рядом со знаменосцем – барабанщик. Командует отрядом полненькая, стриженная девица. Она тоже в красном галстуке вышагивает с колонной и отсчитывает шаг свистком, который держит во рту, не вынимая. На ногах ее коричневые чулки, один из которых сполз до середины икры.

Идут ребята не ахти как. Сбиваются с ноги, наскакивают друг на друга, наступая передним на

пятки. Лица серьезные, гордые, глаза устремлены вперед. Те, что в голове колонны, еще кое-как. Смотрятся. А сзади – одна мелюзга. Совсем кишмандра. Хоть я и не вышел ростом, но с ними готов померяться.

Я немного разочарован. Не такими они, пионеры, мне виделись в Сенькиных рассказах. И все же я бы тоже хотел идти вот так, в галстук, за знаменем с золотыми кистями. Мне ведь никогда еще не приходилось шагать в строю! Очень это должно быть приятно. И все вокруг смотрят с завистью. Ведь пионеры!

Фью, фью, фью-фью-фью, – отсчитывает свисток. Я рассматриваю свистунью. Вот уже чулок у нее сполз совсем и небрежным кольцом лежит на ботинке. Треугольничек галстука, что на спине, задрался и смешно подпирает затылок. Да, не так представлял я себе пионерского командира. И что это вообще за командир, девчонка? Но все сомнения не в силах побороть овладевшего мною желания. Хочу в пионеры! Хочу ходить в строю под барабан и под это неблагозвучное „фью-фью-фью“. Хочу носить галстук с уголочком на спине. Хочу в поход – жечь костры и воевать со скаутами. Хочу!

Конечно, пионеров Сеня не придумал. И про костры, и походы тоже. И все-таки многое он приврал. Приврал самое главное: оказывается, никакой тайны пионерство не содержит. Никто за приветствие, которое мне было показано в подъезде столь секретно, не арестовывает. И проникнуть в эту организацию не так уж и трудно. Пионеры сами вербуют ребят в свои отряды. Сами! И проситься не нужно. Они рады каждому. Тем более, что желающих не так много. Из-за родителей. Сами-то ребята – с дорогой душой! А вот папы и мамы – против. Не все, но большинство все-таки против. И прежде всего потому, что слывут пионеры безбожниками. А в семьях, и еврейских, и нееврейских, традиции сильны. Верят – не верят, а Бога чтут. И вообще вся эта затея кажется им сомнительной. И походы, и шествия с барабанами, и непонятные сборы, где мальчишки с девчонками вместе и неизвестно чем занимаются. Все это родителям не по душе. Даже рабочий люд и тот не очень. Как это без

церкви? Или синагоги? Мой отец тоже колеблется, когда я ему все выкладываю. До Бога ему, конечно, дела нет. И насчет синагоги он не слишком беспокоится. Сам туда не ходит. Но чем занимаются пионеры, ему не ясно. Беспокоит его, не станет ли пионерство помехой школьным занятиям.

И все же согласие получено. Теперь дело за нами.

В общем, мне снова повезло. Был у меня сосед по парте – Витя Соколов. Ничем он особенным не отличался. Такой себе тихий, неприметный мальчуган. И совершенно случайно узнаю я, что Витина сестра – вожатая пионерского отряда. Кто бы мог подумать! У такого тихони и такая сестра!

Казалось бы все устроивается наилучшим образом. Свел меня Витя с сестрой, и учинила она мне настоящий экзамен. Все она у меня выпросила. Ответы мои были сплошь положительные. В Бога не верю. Семечек не лузгаю. Не курю и не собираюсь. Смутил меня лишь один вопрос: не пью ли я? Что я мог сказать? Пью, конечно. А кто не пьет? И почему пионерам нельзя пить? Что им делать, если хочется? Оказалось, что речь шла не о воде, чае и молоке. Все это пионерам пить не запрещалось. А вот чего нельзя, так это вина. Кто пьет вино, тому уже и думать о вступлении в отряд нельзя. Это даже хуже, чем щелкать семечки, курить и ругаться.

Разговор о вине меня очень расстроил. Дело в том, что на пасху к обеду у нас всегда подавалась домашняя наливка. Бабушка ее готовила из вишни или клубники, и была она очень вкусной, и нам с Вовкой тоже давали по рюмке. Но ради вступления в пионеры я, конечно, готов от нее отказаться. Для себя я это решил твердо и потому о пасхальной наливке умолчал. Увы, пользы ложь мне не принесла. После того как выяснилось, что у моих родителей частная практика, что у нас есть прислуга и „фребеличка“ (одни неприятности от нашей фрейлейн!), настроение у Витиной сестры явно переменялось. Она задала еще несколько вопросов, но таким скучным голосом, что я понял: экзамен не получился. Не видать мне красного галстука. Маршировать под барабан тоже не

придется. И такая меня охватила тоска, так тесно стало в груди, что из глаз полились слезы.

Так впервые в своей уютной, беззаботной жизни я столкнулся с непонятной мне несправедливостью и был ею глубоко уязвлен.

Я не могу стать пионером! Почему? Чем я хуже тех сопливых коротышек, что плелись в задних рядах отряда? И кому мешает частная практика моих родителей? Разве от этого я стал глупее или слабее? А мой отец, моя мать? Что они делают плохого? Наоборот. Все их любят и уважают. А как люди с ними здороваются! Всегда улыбаются и кланяются: „Здравствуйте, мадам доктор! Мое почтение, господин доктор!“ В чем же дело?

А Люба – так звали Витину сестру – сказала, что будь мой папа рабочим или хотя бы служащим в учреждении, членом профсоюза, тогда все было бы проще. А мои родители – интеллигенция, а это уже совсем другое дело. Интеллигенция, сказала Люба, ближе к буржуазии, чем к рабочему классу. Это мой отец! Моя мать! Ближе к буржуазии! К таким, как Могилянский или Торлин, у которого вон какой огромный магазин! Так меня еще никто и никогда не обижал. Ну и пусть. Не буду пионером. Как-нибудь проживем с Вовкой без галстука. Подумаешь, счастье какое, галстук! И все же, как ни бушевало в моей душе возмущение, как ни раздирала сердце обида, разрешение посещать отряд меня успокоило.

– Приходите, познакомитесь с ребятами, – сказала Люба, – а там будет видно. Такое предложение было обидным. Нас согласны терпеть, оказывали снисхождение. Я был готов отказаться от всего, но... не отказался. Вовка тоже. И стали мы регулярно посещать отряд.

В те годы до тотальной пионеризации школы еще не додумались. Абсурд этот родился много позже. Отряды тогда создавались завкомами и месткомами профсоюзов при заводах и учреждениях. И в такой постановке был известный смысл. При ней, по крайней мере, сохранялся принцип отбора. По замыслу, в отряд должны были приниматься лучшие. Они торжественно

обещали быть верными ленинским идеалам, не посещать церковь или синагогу, не пить, не курить, не ругаться, не есть семечек. Конечно, пионеры должны были хорошо учиться и выполнять все поручения отряда.

А тут мы как раз перебрались в наш новый дом, покинули Подол и с Любой и ее отрядом больше не встречались.

Добились мы своего. Ходили с Вовкой уже в другой отряд, посещали скучнейшие сборы, которые проводили не слишком образованные и не очень грамотные вожаки, участвовали в бесцельных, незатейливых походах, встречались с шефами: рабочими завода и красноармейцами саперного батальона. Во всех этих действиях не было ни смысла, ни выдумки, ничего привлекательного и занятого. Так все было неинтересно, что даже неприятные детишки из рабочих семей и те томилась от скуки. А что уже говорить о таких, как мы? Но мы выдержали все. Дожили до счастливого дня, когда обрели, наконец, право дать торжественное обещание – кульминационный пункт на пути к великому приобщению. Мы торжественно пообещали все, что требовалось, и на наши шеи прилюдно были повязаны вожделенные галстуки. Повязали... и все. Только для очистки совести мы еще наведались несколько раз в нашу alma mater – отряд при древообделочной фабрике. Совесть мы сохранили, но терпение истощилось. По сей день, вспоминая пионерскую часть своего детства, я испытываю чувство сожаления. О потерянном времени, о несбывшихся мечтах, о болезненно утраченных иллюзиях.



Лето обычно мы проводили на даче, которую снимали родители в окрестностях Киева. Но в том памятном году нас пригласила к себе тетя. Жила моя тетя Сима с дядей Хананом в Кременчуге, но ради укрепления нашего – моего и брата Вовки – здоровья, они сняли хату в деревеньке Потоки, что на чудесной реке Псел. Был это дивный уголок, каких нет уже ныне и в помине. Не

знало то время никаких экологических ужасов: ни смертоносной химии, ни промышленных смогов, ни, конечно, радиации. Природа была чиста и прекрасна, как первый майский ландыш. Речка что горный хрусталь. Взор проникал до самого дна, и все богатство водной жизни было доступно обозрению, как в комнатном аквариуме. А какие луга! Какой сказочный ягодно-грибной лес! Какое пестрое звучание в воздухе от пения птиц и стрекотания кузнечиков, жужжания златок, трепета стрекозьих крылышек!

Мы с Вовкой были страстными рыболовами и не менее горячими собирателями бабочек. Для нас эта Потоко-Пселовая природа была истинным раем.

В раю, как известно, наши предки встретились с коварным змеем-искусителем. В нашем раю меня ждала сходная судьба. С той лишь разницей, что искуситель был добрым. Собственно искусителей было двое. Звали их Ньюма и Берл. Как состоялось знакомство, я уже не помню, но все последующие дни нашего пребывания в Потоках я проводил с ними. Было им, думаю, лет по 15 или, в крайнем случае, 16. Но мне они казались совершенно взрослыми, и то, что мною, мальчишкой, не пренебрегали, было лестно. Оба они учились в ешиве (высшая иудаистская школа по подготовке раввинов) и, естественно, строго блюли все еврейские традиции. Парни были очень симпатичны, и я прилепился к ним всей душой. Понятно, что мне ужасно хотелось быть похожим на них. Вот откуда все и пошло.

С Библией меня познакомил отец. От него и из книг, которые он для нас с братом приносил, я знал все библейские истории. Он был знатоком торы и талмуда, поскольку рос в семье меламеда – учителя местечкового хедера (начальная еврейская школа). Его отец, а мой дед, славился своей ученостью.

Отцовские рассказы передавали нам волнующе-трогательный смысл ветхозаветных преданий, их неповторимые литературную красоту и обаяние. Но Бог в них не присутствовал. Отец был убежденным атеистом.

В наших беседах с Ньюмой и Берлом те же события

приобретали новый неожиданный для меня смысл, неосознаваемую, жутковатую таинственность. В них поселился Бог, и это порождало во мне невольный протест. „Пионер не верит в Бога“ – эта заповедь сидела во мне достаточно прочно. Не есть семечки стоило мне некоторого усилия. Мое неверие никакого усилия не требовало. Я вспоминаю об этом, чтобы стало понятно, сколь значителен был перелом, произведенный в моем сознании новыми друзьями. Но этот перелом произошел. Мне захотелось не только поступать, как поступают они, но и думать, как думали они. И верить в Бога, как верили они. Все это было очень и очень непросто. Я был на распутье в свои девять мальчишеских лет.

Вспоминаю, как во время одной из прогулок, забравшись в кусты, мы справляли свои естественные надобности. Облегчившись, я выбежал на тропинку, намереваясь продолжить наш путь.

– Пойдем к ручью, – остановил меня Ньюма, – надо помыть руки и помолиться. Ручей был неподалеку, и мы отправились к нему. Помывшись, мои наставники стали шептать молитву. Мыть руки после туалета меня учили дома, но эта молитва озадачила.

– Почему надо молиться? О чем вы просите Бога? – спросил я с вполне искренним недоумением.

– Мы ни о чем не просим, – сухо ответил Берл. – Мы благодарим Бога.

– За что? Что он для нас там сделал такого, в кустах? – не без сарказма спросил я.

– Он сделал так, что мы благополучно справили нужду.

– Что же он, попы нам пооткрывал? – не унимался я.

– Ничего смешного здесь нет, – строго взглянул на меня Берл. – Без Бога мы и этого не смогли бы сделать. Не забывай этого никогда.

Мне, конечно, трудно было их понять. В моем воображении мелькали весьма вольные картины участия Бога в отправлении наших низменных надобностей. Но я уважал моих учителей и промолчал.

Однако самый трудный урок, даже не просто урок,

а настоящее испытание, состоялся в одну из суббот. Как было у нас уже заведено, отправились мы на прогулку.

– Ты не забыл, что сегодня суббота? В карманах у тебя нет ничего? – спросил Берл, – сегодня ничего носить нельзя.

Трусишки, которые были на мне, карманов не имели, и я заверил его в своей безгрешности с чистой совестью. Я почувствовал себя великим праведником, и это было сладостное чувство. И в этот миг из ближайшего куста выпорхнула бабочка. Она была белой, и я принял ее за обыкновенную капустницу, которых было здесь великое множество. Бабочка покружилась над кустом и направилась к нам. Теперь, рассмотрев ее лучше, я почувствовал, как вся кровь прилила к моей голове. Я остолбенел, и только сердце заметалось в груди, как муха в паутине. Какая там капустница! То была сама жар-птица, царица из цариц, чудо, которого ждет каждый охотник всю жизнь и не часто дожидается. Это был сам аполлон! Настоящий аполлон, которого я видел только на картинке. Я никогда не расставался с сачком. Куда бы ни шел, он всегда был со мной. Но сегодня была суббота, и сачок остался дома. На мне была кепочка и, не помня себя, я сорвал ее с головы и устремился за моей жар-птицей.

– Донел, надень шапку, – вскричал Нюма, – нельзя без шапки, да еще в субботу! И остановись! Сегодня нельзя охотиться!

Шапку я надел, но остановиться у меня не было сил. Впереди порхал аполлон. Сейчас он снова сядет. Вот, вот, сейчас. И он сел, похлопывая, словно дразня меня, крыльями. Теперь отчетливо были видны красные и синие пятна у их края. Я снова сорвал с головы кепку.

– Донел, в субботу нельзя ничего носить! Надень шапку! – надрывался в крике Нюма.

Но никакая суббота и никто вообще не могли меня остановить. Аполлон был мне дороже всех богов. Я сделал бросок и накрыл его шапкой. Есть! Теперь он мой!

– Ну, а дальше что? Ты будешь его убивать? – тоскливо лепетал Нюма. – Ты смотри, сколько грехов ты

творишь! Ходишь без шапки, носишь ее в руках, а теперь будешь еще убивать живое существо? И это в субботу? Остановись, подумай!

– Только немножечко, – шептал я, задыхаясь от радости и скорби. Только немножечко придавлю грудку, не убивать, только грудку, немножечко...

– А как ты его будешь нести? – отпустив уже мне грех убийства, поинтересовался Берл? Нельзя носить ничего в субботу!

– Я его под шапку. Это же не в кармане и не в руке. На голову и под шапку! – обрадовался я своей придумке.

– Лоз им, ер из э кинд, (оставь его, он же ребенок) – шепнул Ньюма в ухо своему другу. И тот понял его. Они были славными парнями, Ньюма и Берл. Говорят, понедельник – трудный день. Ох, неправда. Самый трудный день – суббота.

Та суббота была поистине для меня нелегким испытанием. И нагрешил я сверх меры. Но, в общем, усилия моих друзей оказались вполне успешными. Исключая молитв, которые я, конечно, не мог выучить в столь короткий срок, жил я в полном соответствии с предписаниями иудаизма. А было это не так уж легко, если учесть, что стол у тети Симы был далеко не безгрешным. Но я боролся изо всех сил и кой-чего достиг. По крайней мере, считал, что получал кошерную пищу. Впоследствии я узнал, что тетя обманывала меня самым бесстыдным образом. Жарила котлеты на коровьем масле и в телячье жаркое клала сметану. Но я, клянусь, этого не знал, и нет тут моего греха. Чиста была моя совесть. И чистота эта была вознаграждена.

В Потоках отдыхало несколько еврейских семей. Но дядя и тетя знакомств здесь не завели. Так что жили мы в относительной изоляции от дачного общества. Пишу я об этом, чтобы стала ясна значимость события, которое является главным в моем рассказе. А событие это... Впрочем, все по порядку.

Помнится, что лежал я еще в постели ранним утром, когда внимание мое привлекло звучание громких голосов, доносившихся с веранды. Голоса были мужские и мне

совершенно незнакомые. Изредка несколько слов попеременно вставляли тетя и дядя. Впечатление было такое, что шел между ними и чужими какой-то спор. Говорили на идыш, который я в то время еще понимал вполне. К стыду своему замечу, что потом я его основательно позабыл. Знание языка, однако, мне тогда не помогло. О чем шел спор, я уловить не мог. Но любопытство мое испытывалось недолго. В комнату вошла тетя и велела мне быстренько одеться. И не в короткие штанишки и рубашонку, а в лучший мой дачный костюм: брючки, курточку и городские ботиночки, вместо сандаликов, в которых я щеголял в Потоках. В полном недоумении натянул я на себя этот строгий наряд. Ничего объяснить мне тетя не пожелала и, окинув довольным взглядом, загадочно усмехнулась. Она довела меня до дверей. Вышел я уже сам. Вышел и замер. Передо мной стояло три бородатых, пожилых еврея, облаченных в черные сюртуки и такие же старомодные шляпы. Я поздоровался, шаркнув ножкой, как меня учили, и замолк. Сказать мне им было нечего, и от смущения, по дурной своей привычке, я ковырял заусеницы на пальцах. Длилось это несколько долгих секунд. Наконец, один из наших гостей заговорил. Говорил он долго, но понимал я его плохо. Смысл речи ускользал от меня. Только постепенно стал я осмысливать ее суть и сразу почувствовал, как охватило жаром мои щеки и уши. Выходило, что эти солидные люди пришли просить меня оказать им честь и принять участие в богослужении. Они собрались на миньян*), и оказалось, что их всего девять человек. Для совершения молитвы необходимо, чтобы участников было десять. Между тем, им известно, что я, хотя и несколько молод, но являюсь человеком, преданным Богу и соблюдающим еврейские традиции. Вот они и пришли просить меня быть десятым в их миньян.

Мне трудно сейчас, почти через 70 лет, воспроизвести

*) Молитва, в которой по ритуалу должны участвовать десять человек.

чувства, охватившие меня в тот момент. Да и слова такие найти не просто. Я был польщен, испуган, смущен. Я боялся, что не смогу повести себя должным образом. Боялся, выражась современным языком, наломать дров. Я не знал, что такое миньян, не знал никаких молитв, не знал, о чем говорить с этими людьми, и многого другого. Я даже не знал, что и как ответить на их просьбу, и только лепетал что-то о своем страхе и сомнениях. Но они отвели все мои сомнения добрыми улыбками и заверили, что все будет хорошо, что мне помогут и подскажут. Только бы я согласился, потому что другого десятого им здесь, в Потоках, не найти.

Я стоял в нерешительности, и могло бы это длиться бесконечно, если бы не тетя Сима. Она подошла ко мне, поцеловала в лоб и подтолкнула в спину, а я молча кивнул своей пылающей головой. Если бы я решился издать звук, то это был бы звук плача. Но этого звука я не издал.

Все прошло как следует. Нас было десять. Девять молящихся и я, десятый, безмолвный, но счастливый и гордый.

Лето кончилось, мы вернулись домой. Мне много пришлось вытерпеть от отца и еще больше от брата. Уж они вдоволь потешились над пионером, поправшим одну из главных заповедей юного ленинца. Но я сопротивлялся долго и упорно. Тем более, что был у меня союзник в лице бабушки.

В отряд я уже не вернулся. Но и евреем не стал. Все смело жестокое время. Я остался атеистом, хотя память о дне, когда удостоился я чести быть десятым, живет во мне. И это не самое худшее из воспоминаний о моем прошлом.

МУЧИТЕЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ

Боюсь, что история с внезапным увлечением религией может быть не понята или понята неверно. Так что вынужден я посвятить моим воззрениям в этой области отдельную главу. Рассказать о том, как форми-

ровалось мое отношение ко всему, что касалось религии и веры. В конечном счете пришел я к убеждению, что верить в Бога, равно как и не верить, дано не всем. Если, конечно, речь идет об истинной вере и столь же истинном неверии. Я отношу себя к последним. Истинно неверующим. Таким сделал меня родительский дом.

Мой отец был убежденным атеистом. Он не только отвергал религию, но и не терпел всего, что было связано с ней. Это удивляло всех знакомых, не говоря уже о близких, знавших его с детских лет.

Вырос отец в семье меламеда, вся жизнь которого протекала в замкнутой системе дом-хедер-синагога-дом. Житейские заботы были полностью предоставлены его бойкой жене, а затем не менее энергичным, работающим дочерям. Он же знал только свой хедер, толстые, лохматые, как телячьи шкуры, священные тома и синагогальных друзей.

Дед был признанным знатоком талмуда, виртуозом во всем, что касалось Ветхого Завета, который хранился в его памяти весь, от корки до корки.

Когда он по субботам читал в синагоге тору с амвона, то глаза его не отрывались от священных строк. Но отец утверждал, что дед делал так по привычке, ни в малейшей степени не испытывая в этом нужды. Когда он благоговейно прикрывал глаза, то подолгу оставался в таком положении, хотя от этого не страдали ни точность, ни выразительность чтения.

В наше время уже не встретишь ничего подобного, да никому бы и не пришло в голову ставить перед собой такую задачу. Но мой дед и, надо полагать, был он не единственным, знал текст Священной Книги так, как не знает текста даже чтец, посвятивший себя чтению произведений одного автора.

Дед, не задумываясь, безошибочно угадывал слово по данным ему координатам, как Жак Паганель*) – географические наименования по ходу любой параллели. Потехи ради деду говорили: страница 51, строка десятая

*) персонаж из романа Жюль Верна „Дети капитана Гранта“

сверху, слово седьмое. И он называл. Называл слово, зачитывал всю строку. И никогда не ошибался. Он мог перечислить без запинки всех детей, всех внуков, жен любого из ветхозаветных персонажей, воспроизвести точное число и размер в локтях всех бревен и других материалов, пошедших на постройку Ноева ковчега и Иерусалимского храма. Непостижимо, но факт. Он все это мог и ничего, ровным счетом, ничего не приобрел из земных благ. Его искусство было поразительно, но, увы, совершенно бесполезно.

И все же самым необыкновенным в моем деде было не это. Самым удивительным было не знание, а отношение его к святой книге.

Отец свидетельствует: дед не только отвергал святость и непогрешимость библейских текстов, но и не верил в самое существование Бога. Конечно, никаких заявлений по этому поводу он не делал. Он не был ни подвижником, ни борцом. Всякий бунт или даже слабый протест были не в его характере. Он продолжал вдалбливать в детские головки все, что положено было в них вдалбливать, продолжал посещать синагогу и охотно участвовал в субботних чтениях торы. Это была его жизнь. Ничего другого он не делал, не мог делать да и не желал делать. Но когда отец однажды, еще будучи ребенком, обратился к нему с вопросом по поводу какого-то противоречия в библейском рассказе, дед грустно улыбнулся и сказал:

– А почему бы им не быть, противоречиям? Что тебя удивляет? Все это „писте майсес“ (пустые сказки), написанные не очень знающими и не очень грамотными людьми. Читай себе и не принимай близко к сердцу. В жизни тебе это, дай Бог, не пригодится.

Несмотря на заточение в провинциальной глуши, живя в тисках „черты“, чутким ухом и зорким оком он уловил дух грядущего времени. А ведь до него было ой как далеко! Спустя много лет я понял, в какую почву уходили корни отцовского атеизма, как смог он так легко и непринужденно воспринять дух нового времени, того времени, наступление которого, быть может, уже

учуял мой дед.

Атеизм отца был безапелляционным, не допускавшим ни малейшего компромисса. Но в таком виде он существовал лишь в нем самом. Когда же дело касалось нас, детей, его уверенность не была столь непоколебима. Он боялся за нас. Боялся навязать нам свою точку зрения. Может быть, страшился конфликта с совестью в будущем. Сокрушать традиции, ломать веками сложившееся – дело не легкое. И не каждому это дано. Мой отец, как и дед, к племени борцов не принадлежал.

И мы, вопреки логике, получили основы религиозного воспитания. По крайней мере, с Ветхим Заветом отец считал нужным нас познакомить, о чем я уже упоминал в предыдущей главе.

Знал он его, если и не так виртуозно, как дед, то все же достаточно основательно. И он, как только выдавался свободный час, усаживал меня на одно, а Вовку на другое колено и начинал рассказ.

Назвать просто пересказом то, что мы слышали, было бы обидной несправедливостью. Сухой библейский текст оживал, поэтизировался, превращался в захватывающую сказку. Казалось, воочию представляли перед нами Ной с его ковчегом, красавец Иосиф и его жестокие братья, несчастный Авраам, уже занесший нож над родным сыном. Трагедия Евфая потрясла нас, и мы долго не могли прийти в себя. Зато исход из Египта наполнял наши сердца торжественной радостью. А история силача и простака Самсона? Его нелепая, но героическая смерть?

Мы слушали жадно, замирая, и слезы то жалости, то восторга застилали наши глаза.

Святости мы в Пятикнижии не обнаружили, да и само это понятие было нам чуждо. Но вся неизъяснимая прелесть библейских сказаний, особый аромат далекой эпохи, героизм и своеобразие характеров, их необычайные поступки будоражили наши сердца и неискушенное воображение.

Были у отца под рукой и наглядные пособия. Прежде всего, великолепное издание „Библии в картинах“ Густава Доре, которое, как я полагаю, отец прихватил в доме

дяди Моти. Красочные литографии захватывали нас, брали за душу, особенно благодаря рассказу и пояснениям отца. До сих пор я сохранил в памяти библейские образы, созданные великим мастером.

И еще одна книга запомнилась мне. Книга, которую я никогда и нигде больше не встречал. Издание было весьма скромным, иллюстрации черно-белые и немногочисленные. На обложке был изображен щит Давида. Называлась она „Нашим детям“ и содержала также библейские сказания в самом доступном изложении. Судя по названию, в ней должен был присутствовать националистический элемент, но мы его, конечно, не улавливали, а отцу всякий национализм был ненавистен в любых его формах и проявлениях. Он был интернационалистом, убежденным и страстным. Отцовский интернационализм глубоко вошел в меня, вошел в мою кровь, и с ним я прошел через всю жизнь, без малейших сомнений, без колебаний, чего не могу сказать о прочих аспектах моего мировоззрения. Не смогли пошатнуть мой интернационализм даже немцы. Я никогда в немцах, как таковых, не видел врагов. Я и теперь принимаю только одно разделение человечества, не претерпевшее никаких изменений со времен раннего детства. Люди для меня делятся на плохих и хороших. И только. Третьего не дано. Ни национальность, ни раса, ни происхождение, ни классовая принадлежность не имеют к моей наивной классификации никакого отношения. Есть плохие и есть хорошие. И этих последних – больше. В это я тоже верю до сих пор.

Должен признать, что такой беспредельный, убежденный интернационализм я встречал не часто. Даже довольно редко, что всегда воспринимал болезненно. Глубоко болезненно. Так воспринимаю я любое проявление расизма, национализма и теперь. Так же болезненно. Так же остро.

Храню в памяти и еще одну весьма характерную деталь отцовской воспитательной системы. В самых небрежных, гротескных тонах отзывался он о религии, религиозных обрядах и обычаях, которые так хорошо и

всесторонне узнал в родном доме. Но все его нападки и сарказм относились лишь к родной вере. Никогда отец не касался других религий. Они оставались вне обсуждения, вне его сарказма.

Как он был в этом тонок, как мудр и дальновиден! Я уверен, что поступал он так лишь из боязни заронить в наши сердца искру шовинизма, бросить хотя бы самую малую, бледную тень на разжигаемое им в нас чувство всечеловеческого братства.

Но вопрос о религии христианской не возникнуть не мог. Мы жили среди христиан. Наша прислуга посещала церковь. Фрейлейн Кейте часто говорила о кирхе и хранила в заветной шкатулке крестик. Звон колоколов был постоянным спутником нашей жизни на протяжении многих лет. Хороших лет. И звон этот мы любили. Бывали мы и в церкви. И не раз. Праздничная, особенно пасхальная служба производила на нас сильное впечатление. Все было красиво, торжественно и окутано тайной. Все привлекало наше любопытство, было загадочным и жутковатым. И запах ладана создавал какой-то незнакомый прежде мистический настрой.

Но уже ничто не могло поколебать нашего неверия. Наш материализм был несокрушим.

Как-то отец, беседуя с прислугой, только что вернувшейся из церкви, упомянул слово „ряса“. Непонятных слов в этом разговоре было немало. Но почему-то именно это слово запало в наши умишки, и мы тотчас же потребовали разъяснения.

Нам объяснили, что ряса – одежда священника, что шьется она из шелковой, расшитой золотом ткани. На свою беду, для большей ясности, отец решил проиллюстрировать свое объяснение. Он обвел глазами комнату, и взгляд его упал на диван. Диван, как и вся мебель в комнате, был семейной гордостью. Ныне место ему было бы в музее. Гарнитур был выполнен в стиле рококо. Все деревянные его части ручной работы были искусно вырезаны, ножки и спинки замысловато изогнуты и состояли сплошь из резвящихся амуров и наяд. Вся мебель была обита чудесным, розовым с

золотыми разводами шелком.

– Вот из подобного материала шьются рясы и другие части одеяния священника, – сказал отец и погладил спинку дивана. Это было одним из рискованнейших заявлений, когда-либо сделанных им.

Оставшись наедине, мы с Вовкой раздули нашу неприязнь к религии и ее атрибутам до той степени, когда уже требуются не слова, а решительные действия. С ожесточением, равным тому, что владело конквистадорами в стране инков, набросились мы на несчастный диван. Мы расширили щель в протершемся по краю сидения шелке и, запустив в нее руки, освободили ткань для последующих действий.

Сначала мы плевали на нее, но вскоре этого нам показалось мало. Каждый из нас норовил изобрести все более изощренную пытку. Вовка стал сморкаться в шелк, прихватив его край пальцами. Я пошел еще дальше и надумал вытирать им уши. Мы трепали ткань злобно и яростно. И этот акт группового насилия мог бы увести нас очень далеко, не загляни вдруг в комнату отец.

Он был потрясен увиденным, но понять происходящего не смог.

– Что вы делаете, негодники, остановитесь! Что вам сделал наш диван? За что вы его так?

Мы молчали. Долго молчали. Наконец, собравшись с силами, хором выкрикнули: „Это ряса, мерзкая ряса! Мы не хотим ее иметь в доме!“

Отец рассмеялся. Он, конечно, жалел диван. Все любили наш гарнитур. И отец тоже. Но нас он любил больше. Наши действия не были шалостью. Зло, совершенное нами, опиралось на твердую идейную основу, и он это понял сразу.

– Эх вы, дурашки, дурашки! – грустно промолвил он. Какая же это ряса? Это же наш диван, хороший и красивый. Неужто вам его не жаль? Стыдно. Мне стыдно за вас.

И мы разревелись. Гнев наш улегся. Мы уже не видели в изуродованной обивке никакой рясы. Был наш диван, и нам тоже его было жаль. И отца было жаль.

И вообще было жалко и скверно. Оттого мы и плакали. Мы еще раз пролили слезы, когда диван увидела мать, но эти слезы были следствием предпринятых ею весьма действенных воспитательных мер.

Вот таким был наш примитивный ребячий атеизм. Бездумный, но насыщенный эмоциями. Атеистом я остался на всю жизнь. Убежденным противником мистицизма и веры, в каких бы формах они мне не встречались.

Я и теперь, вопреки, казалось бы, очевидным фактам, не могу понять, как образованный человек может сохранять веру в существование потусторонних сил. Мне по душе мудрые слова Жана Батиста Ламарка: „Ничто вне природы не подлежит изучению“. Ничто. Коротко и ясно. Есть природа, и мы в ней. Часть ее. И только.

Мы с Вовкой были безбожниками. Это был пока единственный приобретенный нами принцип, и он рвался наружу.

Будучи уже чуть постарше, мы, выбрав удобную позицию, лихо распевали озорные, модные в нашей среде куплеты:

„Долой, долой монахов, раввинов и попов,
Полезем мы на небо, разгоним всех богов!“

Были еще в то время „чудаки“, и в немалом числе, которым не импонировала такая постановка вопроса. И мы не раз бывали биты и основательно драты за уши. Но на наши убеждения это никакого влияния не оказывало, и мы не унимались.

Вскоре выяснилось, что в нашей борьбе с „опиумом для народа“ мы не одиноки. В праздничные, особенно пасхальные дни, молодежь устраивала ставшие уже традиционными антирелигиозные карнавалы.

У церковных площадей выстраивались духовые оркестры с барабанами в качестве ведущих инструментов. Тут же выступали ряженные, одетые в ритуальные платья священнослужителей трех религий. На их головах были уродливые, безобразные маски, а в руках – всем знакомые культовые принадлежности. В таком виде ряженные носились по площади, потешая тех, кто

сочувствовал этому малопривлекательному зрелищу. Однако я полагаю, что большая часть собравшихся смотрела на происходящее с вполне оправданным возмущением.

Теперь я, конечно, понимаю, сколь неумна и недаленовидна была вся затея. Служители культа пользовались еще большим уважением. И не только среди истинно верующих. Слишком глубоко сидели в массах религиозные традиции. Публичное осмеяние могло лишь вызвать симпатии к оскорбленным, вознести их на пьедестал мучеников.

Так оно, видимо, и было. Уже в зрелом возрасте я пришел к выводу, что деятельность русского духовенства, вопреки бытующему мнению, была несомненно полезной, даже необходимой. И не только для стоящих наверху. В стране сплошной неграмотности и нравственной дикости христианские идеи и мораль были единственным объединяющим людей этическим началом. О том, что хорошо и что плохо, темный люд узнавал от священника. Они, священники, были теми многочисленными Моисеями, что несли народу скрижальные истины. Иначе откуда бы он их узнал?

Я отнюдь не оспариваю того, что многократно осуждено, осмеяно и предано проклятию в деятельности служителей церкви. Все это имело место. Бывали и поборы приходских священников, и обжорство, и пьянство, и разврат среди черного духовенства. Все это было. И все это отвратительно. Но была в том и совершенно очевидная логика. В любом ранге и сане человек остается человеком, со всеми присущими человеческой природе слабостями и пороками. Священнослужителей было в стране огромное число, и, естественно, ангелами все они быть не могли. Но я не берусь назвать ни одной сферы общественной деятельности, ни одного самого благородного начинания, которое, рано или поздно, не подверглось бы коррупции, а его участники, так или иначе, не блюли бы своих личных интересов, не искали бы для себя выгоды.

Вместе с тем, среди священников, особенно сель-

ских, было немало преданных делу людей, хорошо сознававших свою роль в общественной жизни, настоящих подвижников. Они были, и о них тепло говорили и Лесков, и Чехов, и многие другие непредвзятые, добросовестные писатели.

Нет, я не стал бы бросать камень, если бы ему предстояло сокрушить все русское духовенство. Были грешники. Было их немало. Но были и праведники. Я бы воздал им по заслугам.

Но тогда, на заре нашей дикой эры, я от души веселился, наблюдая разнузданные пляски под грохот барабанов у церковных ворот.

По сути говоря, религиозность была объявлена вне закона. Если не в юридическом, то в нравственном плане безусловно. Так оно и оставалось на протяжении всех лет господства советской власти. Трудно себе представить в те дни религиозного человека, занимающего более или менее ответственный пост или даже просто занятого интеллектуальным трудом. И я не берусь утверждать, что это несправедливо. Какой из верующего может быть учитель, ученый или врач? Но это моя сугубо личная точка зрения. Повторяю: сугубо личная, и, конечно, я могу заблуждаться. Приведу один сильно озадачивший меня случай.

На одном крупном научном съезде, состоявшемся в нашем городе, довелось мне познакомиться и даже сблизиться, насколько такое возможно за несколько коротких дней, с очень известным венгерским ученым Ференцом Кишем. Это был высоко образованный, много повидавший и очень немолодой человек. Занимал он пост директора Будапештского научно-исследовательского института. Наша близость возникла благодаря тому, что я оказался единственным рядом с ним человеком, владевшим немецким, самым для него удобным языком, не считая, конечно, венгерского.

Очень скоро наши беседы стали весьма доверительными. Трагедия венгерского путча 1956 года была еще свежа и болезненно остра.

Герр Ференц проводил в моей лаборатории долгие

вечера, и наша взаимная симпатия нарастала.

Но вот наступил час расставания. Мы прощались, как родные, с объятиями и поцелуями. И вдруг он уже от самого выхода увлек меня в темный, дальний уголок вестибюля.

– У меня к вам, коллега, один вопрос, – заговорил он, понизив голос до шепота, – я все не решался его задать, но другого случая уже не будет. Могу я это сделать теперь?

Я заверил его, что на любой вопрос он получит самый откровенный ответ, если кроме откровенности от меня ничего не потребуется.

Он с удовлетворением выслушал мои слова и, еще более понизив голос, спросил:

– Скажите честно, что в сердцах вашего народа стоит выше, коммунизм или христианство?

Вопрос был нелепым, но я обещал быть искренним.

– Видите ли, герр Ференц, – осторожно начал я, – мне не хочется вас огорчить и тем более обидеть, но такой вопрос у нас стоять не может. Не берусь судить о приверженности коммунизму. Референдумов у нас не проводится, а система выборов такова, что никаких выводов не сделаешь. Что до христианства, то отвечаю уверенно. Оно не занимает никакого места. Религия у нас удел очень отсталых, как правило, немолодых людей. Никакого влияния на жизнь общества они не оказывают. Прошу меня простить, если мой ответ вас огорчает, но я убежден, что дело обстоит именно так.

Конечно, мой немецкий не оставлял места подтексту, но в общем, смысл был таков.

Мой собеседник помрачнел. У него был растерянный вид.

– Вот, вот, – заговорил он, задумчиво растягивая слова, – я так и предполагал. В этом вся ваша беда. Так оно и должно быть. Что такое современное общество без христианской морали, без веры? Это ужасно!

Мне было совестно перед ним и немного его жаль. Но он с прежней теплотой обнял меня, последний раз пристально заглянул в глаза, и мы расстались.

Был этот человек религиозен? Был ли христианином в прямом значении слова? Кто мог бы ответить на такой вопрос с достаточной уверенностью? Не берусь. Ни в коем случае.

Ученый, профессор анатомии, директор института, эрудит, европеец!

Не верю. Не могу. Не знаю.

С самых ранних лет в семье атеиста, каким был мой отец, я познакомился с Ветхим Заветом. Его необычные по содержанию и стилю сказания увлекали и волновали меня. Жизнь, быт, нравы далеких предков я воспринимал с алчным, трепетным любопытством. Они прочно закрепились в моем детском сознании, запечатлелись в памяти.

Увы, когда моей памяти уже не хватало, а мне захотелось вернуться к настроению ушедших, далеких лет, когда я захотел и своих детей приобщить к чудесному библейскому миру, то это оказалось уже невозможным.

Библия, книга, без которой обходился прежде лишь редкий дом, стала раритетом. Ее нельзя было ни купить, ни получить в библиотеке, ни занять. Она ушла из жизни, и целые поколения не только не знали ее содержания, но даже не знали о ее существовании.

Молодые люди читали классиков, увлекались живописью, благоговели перед полотнами и скульптурой старых мастеров, непрерывно натыкались на библейские образы, сюжеты, употребляли множество крылатых слов, мудрых изречений, не имея понятия ни об их происхождении, ни о подлинном значении. Хуже того. Незнание Библии привело к распространению из уст в уста передаваемых сведений о существовании таинственных древних книг, где были уже мудро предсказаны, и с большой точностью, события наших дней. Об этих книгах якобы знают лишь очень старые люди. От них, от бабушек и дедушек, еще можно узнать то, что неизвестно теперь никому: ни ученым, ни нынешним мудрецам.

Мне не раз приходилось слышать эти бредни от студентов, среди которых, по сути, прошла моя жизнь.

Нелепо, невероятно, но бесспорно. Библейские сказания, легенды, лишенные своей плоти, породили легенды современные и с ними – невежественный, бездумный мистицизм.

В этой связи и в заключение хочу коснуться одного всегда меня волновавшего вопроса – отношения к религиозной литературе, ее роли в общественном сознании.

Я знал об Адаме, Еве и соблазнителе змие, Каине и Авеле, Аврааме и Исааке, Юдифи и Иосифе, Самсоне и Давиде в пятилетнем возрасте. Я читал Библию, и читал с увлечением все юные годы. Юные. После войны уже не читал. Не было у меня Библии. И взять было негде. А если б и было, то все равно ни к чему. Библия не уголовный роман, который проглатывается в трамвае или метро.

Я все читал и все знал, но это не помешало мне стать атеистом. Нисколько. Совсем напротив. Помогло.

Все это было написано мною много лет тому назад. И если бы не тот мрак, в который ныне погрузилась наша родина, я бы сказал: к счастью, теперь многое изменилось. И Библия, Пятикнижие Моисеево, и Евангелие, и вся другая религиозная литература доступны всем. Более того, религия заняла новое положение в стране. Ныне можно наблюдать странное ее сближение с верховной властью. Вот-вот будет, чего доброго, провозглашено пресловутое единство православия, государства и народа. Так что совести моей не хватает произнести это „к счастью“. Тут уж действительно, не было бы счастья, да несчастье помогло. Но так уже произошло, и никуда от этого не деться.

Думал я в этой связи убрать все мои рассуждения о религии. Но передумал. Пусть будут. Они тоже наша история, и к замыслу моей книги имеют самое прямое отношение. И к становлению природы советского человека тоже.

ГЛАВА 3. ПОСЛЕ ШКОЛЫ

Мне было 14 лет, когда я закончил школу. О том, что „перед молодыми открыты все дороги“, стало известно лишь много лет спустя. Тогда, в начале тридцатых, еще никто не говорил о будущем с таким оптимизмом. Да и не о чем было говорить. Не было никаких дорог. И если мои сверстники из рабочих семей еще могли разглядеть какие-то тропинки, то мы, интеллигентские дети, не говоря уже о нэпманских, были и этого лишены. Не только в учебные заведения, но и на заводы, и в советские учреждения путь был заказан. Стояло на нас клеймо, каинова печать, доставшаяся нам от родителей, занимавших столь малопrestiжное место в обществе.

Помнится, что такое положение ни у моих родителей, ни у тех, кто посещал наш дом, не вызывало ни протеста, ни возмущения. Думаю, что причиной тому была их национальная принадлежность. Порядки царского времени еще жили в их сознании, и всяческие ограничения, касавшиеся евреев, воспринимались как естественные, пусть даже дело было не в еврействе. Примерно так относился к этой беде и я. Ничего оскорбительного для себя я не усматривал. Считал вполне оправданной полноправность тех, кто „от сохи“ или „от станка“. Ведь они основа и опора нашей власти! Им одно – нам

другое. Каждому свое. Так рассуждали люди во все времена. Каждый знал свой шесток. Одно дело, к примеру, дворянин, благородный, и совсем другое – крестьянин или мещанин. И евреи так. Знали, что можно „тем“, то нельзя им. И знание это было прирожденным, всасывалось с молоком матери.

Вот и мы тоже. Смиренно, с полным пониманием и без трагедий. Таков уже мир, и как-то надо в нем пристраиваться. Только сумей ухитриться, изыскать возможности. А возможности кой-какие были. Можно было отказаться от родителей. Делалось это просто. Помещалось в газете объявление, что, мол, порывает такой-то и такой-то с отцом-напманом всяческие отношения. Какие-то перспективы такое отступничество открывало, а дальше уже, как говорится, дело техники. Иные, отчаявшись, просто покидали родные края и устремлялись туда, где можно было раствориться, затеряться среди чужого люда, предварительно, конечно, сменив фамилию. Сделать это тоже было легче легкого. Объявления о смене имени или фамилии иной раз выстраивались в целую газетную полосу. Я бы даже сказал, что операция эта стала модой. А какие перлы можно было встретить на такой полосе! Забыть не могу два из них. Одно извещало, что Соломон Дрекслер меняет фамилию на Онегин. А рядом второе: Богдан Соплиненко впредь будет именоваться Хмельницким! Это же надо! По мне, так уже лучше Дрекслер и Соплиненко. И надо же додуматься! Онегин и Хмельницкий. Да еще и Богдан!

Но это были, так сказать, экстремисты. Люди рискованные и бесшабашные. Я не только Дрекслера и Соплиненко имею в виду. Отказаться от родного отца, или начинать новую жизнь там, где уже и земля закругляется, или от имени своего, Богом данного, отречься – не каждому дано. Тут особый склад души нужен и редкостное мужество. Не всякий решится жизнь свою одним махом сокрушить и новой дорогой пойти, не оглядываясь, ни о чем не сожалея и ничего не страшась. Но находились такие, и в немалом числе.

Не могло их не быть. Время было отчаянное. В самый тупик были загнаны люди. Многих таких я не встречал. Только одного пришлось мне узнать. И был он родным мне дядей. Братом отца моего. Знал бы я других, то непременно написал и о них, чтобы не свести *явление* к обыкновенному семейному преданию, со свойственной ему интимностью и неизбежными преувеличениями. Но был у меня один такой. Мой дядя Исаак. Ему я посвящу еще немало страниц. Но не сейчас. Позже. А пока расскажу о том, как, не предпринимая никаких отчаянных шагов и даже без больших усилий, нашел я свое место в тогдашней жизни. Впрочем, нашел его не я. Тем, что мы с братом так благополучно прожили эти годы, мы целиком обязаны нашей матери.

Шел 1931 год. Трагедия голодомора была уже на подступах, и жизнь со всеми ее тяготами неслась в неведомую даль. Понимаю, как мучительны были для родителей мысли о нашем будущем. Что делать с двумя мальчишками, болтавшимися без дела и без надежд на продолжение жалкого семилетнего образования?

Для себя решил я вопрос не раздумывая, как решали его многие вокруг меня. Раз нельзя учиться, буду работать. Стану рабочим. Сама эта мысль была чертовски увлекательна. Я мечтал стать рабочим. Мечтал вытравить позорное интеллигентское клеймо и стать в ряды нашего славного рабочего класса, перестать, наконец, стесняться, отвечая на унижительный вопрос о социальном положении. Он тогда был таким же ранящим, как позднее вопрос о национальности.

Получить работу в те годы можно было только через биржу труда. Для подростков была даже организована особая биржа. У ее здания, в дверях которого было прорезано окошко, собирались несметные толпы мальчишек и девчонок. Собирались еще с ночи, чтобы занять место поближе. Рабочих мест объявлялось не более пяти-шести и, конечно же, доставались они тем, кто оказывался у самой двери. Нескончаемо-изнурительными были долгие ночные часы. Наконец, окошко открывалось, и из него высовывалась лысая, очкастая голова.

– Два места на швейную фабрику! Одно – в кинотеатр помощника механика и три в Конторуч! – выкрикивала голова. Все. Короткая, молчаливая схватка, стремительная бескровная потасовка, и направления – вожделенные белые листки – уже в руках счастливых владельцев.

Искусство захвата такого листка я осваивал долго. Осваивал его технику и учился терпению. Не зря учился. Пришел и мой день. Тот памятный день, когда пересек я классовый рубеж. Я буквально вырвал из рук лысого усача бумажку, которая дала мне гордое право назвать себя рабочим.

Досталось мне направление на чернильную фабрику, где требовался грузчик. Сердце мое трепетало от восторга. Я готов был кричать, скакать, хватать каждого, чтобы поделиться этой прекрасной новостью. Я – рабочий! И не какой-нибудь хлюпик, орудующий напильником у тисочков, а грузчик. Истинный пролетарий! Одного этого слова было достаточно, чтобы понять, с кем имеешь дело. Г р у з ч и к !

Не трудно догадаться, что мои родные этих чувств не разделяли. В происшедшем они видели катастрофу. Их сын – грузчик! Пасть ниже было уже невозможно. Из всех мыслимых профессий это была единственная, которая ничему не учила и ничем не обогащала. Отец тотчас же к слову „пролетарий“ присоединил второе, которого я толком не понимал: „люмпен“! Он же обидно высказался и о моей комплекции, которая не слишком соответствовала будущему занятию. Но я не отступил и уже на следующий день отправился на свою фабрику.

Проработал я там недолго. И не потому, что оказался непригоден. Напротив. Был я крепким пареньком и сразу пришелся по душе двум хмурым, полупьяным мужикам, к которым был приставлен. Заполучив меня, они заметно повеселели. Старался я изо всех сил. Мы перекачивали по двору огромные рулоны оберточной бумаги, таскали рогожные мешки и ящики с бутылками. Я всегда набрасывался на них первым, лез из кожи, рискуя надорваться, и только много позже понял смысл перемигивания, усмешек и нарочитой медлительности моих наставников.

Им здорово повезло, этим забулдыгам. Они частенько прикладывались к бутылке, которую доставали из-за груды битого кирпича, и не переставали нахваливать мои силу и ловкость. Ах, каким же я был дурачком! Но я ни о чем не жалею. Как в свое время от школьных моих учителей, я получил и от этих двух нечто неуловимо-полезное. Ухватил какой-то кусок жизненного опыта. Я и сейчас уверен, что короткий этот эпизод не был лишним на моем пути. Но последующие события круто изменили мою жизнь.

Не знаю, что там „наверху“ произошло. То ли власти спохватились и пожалели нас, непролетарскую молодежь, то ли зануждались в средствах, только вдруг на Виноградской улице открылось новое учебное заведение: Механическая профессиональная школа. Ее спонсором, как я бы сейчас выразился, был Киевский трамвайный трест, и готовила она специалистов для городского транспорта.

Вся прелесть этой школы состояла в том, что была она самоокупаемой. Принимали туда всех, независимо от социального положения и происхождения. Как говорят на Украине: „абы були гроши“. Коротко говоря, „плати и учись!“ Конечно, принимались в школу и пролетарские элементы, для которых она была бесплатной. Сколько нам стоило обучение, не помню, но знаю верно, что слишком обременительной эта плата не была.

Естественно, что в профшколе устемилось немало народу, и преодолеть конкурсный барьер стало уже делом непростым.

Что был в то время дурачком, я уже сообщил. По этой причине я не сумел понять, почему частым гостем у нас стал рыжеватый человек с багровыми мешками под грустными бульдожьими глазами. Он пил у нас чай с домашним печеньем и о чем-то шептался с матерью. Еще более удивило меня, что пришел он однажды со своей дочерью, девчушкой лет пятнадцати, и все они вместе с матерью отправились в город. Оказалось, что ходили они в концессионный австрийский магазин

Альтмана, где для девушки был приобретен роскошный, красно-синих тонов пуловер. А вскоре мать сообщила, что я принят в Профшколу, и на днях, когда все будет оформлено, смогу приступить к занятиям.

Мои представления о жизни в ту пору были на младенческом уровне, и мне потребовалось еще немало времени, чтобы понять: человек с бульдожьими глазами работал в каком-то управлении, что позволило ему оказать матери услугу. Познее я даже сообразил, что альтмановским пуловером дело не ограничилось, и стояла такая услуга не мало.

Так стал я учащимся школы, вскоре переименованной в „Техникум трамвайного хозяйства“.

О том, что в стране совершалась насильственная коллективизация и происходила ожесточенная борьба нашей партии и власти с классовым врагом, я уже был достаточно наслышан и начитан. Но только здесь, в техникуме, я столкнулся с трагическими следствиями этих событий. Среди студентов были сыновья известных в городе врачей, адвокатов и бывших нэпманов. Родители их исправно платили за учение и вообще были вполне благополучны. Однако подавляющее большинство учащихся было парнями из украинских сел и районных городов. Возможно, что часть их прибыла в Киев, чтобы учиться, приобрести специальность. Но только часть и не самая большая. Остальные же бежали из родных мест, спасаясь от голода, охватившего республику. Их без труда можно было узнать по костлявым, темным лицам и вялым движениям. Их не интересовали уроки, они не слушали лекций, а если бы и слушали, то вряд ли что-либо могли понять. Да они и не стремились к этому. Техникум был им нужен лишь для приобретения статуса городских жителей, статуса, который давал право получать хлебные карточки. Выдавали по ним ничтожную порцию. Помнится, 200 или 250 граммов хлеба, но в родных местах не было и этого. Самым для учащихся важным событием учебного дня была большая перемена, к которой были прикованы все их помыслы. И когда, наконец, раздавался звонок,

они бросались к выходу с такой стремительностью, словно под ними горела земля. Из всех классов, сбивая друг друга с ног, мчались толпы парней с дикими, голодными глазами. Они врываются в зал, куда к этому времени уже бывал внесен огромный медно-красный самовар. Тут же на столе выставлялись подносы с крупными ломтями черного хлеба, скудно намазанными яблочным повидлом. Не помню, было это угощение даровым или платным, но все расхватывалось в одно мгновение и столь же стремительно поглощалось. Насытиться этими крохами изголодавшиеся парни, конечно, не могли, но успокаивались. То, чего они так страстно желали, совершилось, и на ближайшее время они обрели покой. Я убежден, что техникум спас немало молодых жизней, потому что голод достиг в это время масштабов всенародного бедствия. Трупы в подъездах, подворотнях и прямо на тротуаре стали привычными и уже никого не пугали. К ним привыкли, как привыкают на войне. Да это и была война. Жестокая война „народной“ власти со своим народом. Горожане в этой битве были наименее страдающей стороной. Все работающие получали по карточкам хлеб на себя и семью, выдавались еще кой-какие продукты, и была открыта торговля так называемым коммерческим хлебом. По высокой, но все равно ничтожной при таких обстоятельствах цене можно было купить кирпич этого хлеба. Очереди за ним, а вернее просто толпы, собирались еще с вечера. Люди выстаивали ночи, дожидаясь открытия магазина. В темноте и тесноте шатался всякий преступный сброд, совершались кражи, ограбления и даже убийства. Отправиться за коммерческим хлебом решались далеко не все. Это было предприятием, требовавшим немалых сил, мужества и смелости. Такими качествами обладали немногие, но голод гнал в ночные очереди тысячи людей, не имевших иного способа сохранить жизнь своим детям да и самим себе. Но способ такой появился. Родная власть „пожалела“ несчастных, и город украсился невиданными доселе изящными вывесками с таинственным на первых порах

словом ТОРГСИН. Никакой тайны оно не содержало. Означало оно, что магазины с этим наименованием открылись для торговли с иностранцами. Иностранцы в них, конечно, и не заглядывали. Их вообще тогда в городе не было или были лишь считанные единицы. Будь они единственными покупателями, заведения эти прогорели бы еще до открытия. Расчет был на самый простой люд.

Магазины эти ломались от товаров, причем самого высокого качества. На прилавках было все: от заграничных тканей и обуви до гастрономических деликатесов, от заурядной бакалеи до кодаковских фотоаппаратов. Было больно смотреть на роскошные витрины, в двух шагах от которых лежали трупы, едва прикрытые грязными лохмотьями.

Все эти столь ослепительно-привлекательные вещи мог приобрести каждый, оплатив их валютой или драгоценным металлом.

Толпы людей устремились в торгсины, отдавая последнее, чем дорожили и что бережно хранили десятилетиями. Снимались с иссохших пальцев обручальные кольца, извлекались из ушей из рода в род переходившие сережки, со слезами отдавались бабушкины броши и съеденные до черенков серебряные ложки. Торгсиновцы были беспощадны, как овладевшие судном пираты, но эти от сердца отрывавшиеся предметы спасали людям жизнь. За бабушкины сережки приобреталась мука, сахар, крупы, и на какое-то время их хватало. Жизнь продолжалась.

Чтобы не показалось, будто чрезмерно сгустил я сумрачные тона, скажу: слезы над фамильными реликвиями проливали не все. Была прослойка советского общества, которая в торгсинах не нуждалась и, если навещала их, то это было забавой, ничем не оправданным излишеством. Всенародное бедствие ни с какой стороны их не задевало. Все блага получали они в изобилии и без всяких хлопот. Такими были работники партийного и советского аппаратов, всякие начальники и руководители крупных предприятий, директора

трестов и им подобные. Всех не перечесть, да и нет в этом нужды. Было их не слишком много, но жили они припеваючи. По стечению обстоятельств бывал я свидетелем, а иной раз и соучастником, их привольной жизни. Случилось это потому, что именно здесь, в техникуме, нашел я свою уже не ребячью, а вполне зрелую любовь.

Звали ее Фаина или просто Фая, и принадлежала ее семья как раз к той прослойке, которая в торгсинах не нуждалась. Связан я был с ними самым тесным образом, поскольку отважился, имея всего шестнадцать лет от роду, сочетаться с Фаей законным браком. Сочетались мы тайно. Ни наши родители, ни широкая общественность об этом событии оповещены не были.

Естественно, может возникнуть вопрос: возможно ли такое? А где же хупа? Где свидетели, поздравления и церемонии с цветами?

На все такие вопросы отвечу я с предельной ясностью и исторической достоверностью. Регистрация брака в те годы совершалась так же просто, как операция в сберегательной кассе или почтовом отделении. Оформлялся брак через окошко в ЗАГСе, вполне сходным с теми, какие имеются в названных учреждениях. Брачащиеся совали в окошко головы и предъявляли студенческие билеты, а оператор производил соответствующую запись и выдавал свидетельство, подобное квитанции ломбарда или химической чистки. Все это скреплялось подписями и сопровождалось невнятным поздравлением. Вот так. Сунули молодожены квитанцию в портфель и отправились по будничным своим делам. Все просто, по-деловому и без всяких сантиментов.

В жизни нашей с Фаей ничто после этой акции не изменилось. Встречались мы обычно в ее доме, ловя счастливые часы, когда оставались наедине. Доставались нам такие часы весьма часто. Фаины родители вели светский образ жизни, едва ли не ежевечерне посещая театры, концерты или своих многочисленных знакомых. Так что формальным брак наш не был. Супружеские обязанности выполняли исправно.

Техникум мы с Фаей закончили благополучно. Оба получили трамвайные специальности, хотя никакого интереса к трамвайной и иной технике не испытывали. Я все же два последующих года проработал в трамвайном депо и был на вполне достойном счету у начальства. Оно, между прочим, очень помогло мне при поступлении в университет. Социальное мое положение было престижным. Считался я ИТРовцем (инженерно-техническим работником), а в эпоху первых пятилеток все относящиеся к этой категории пользовались рядом привилегий. К тому же снабдил меня деповский завод отличными характеристиками, так что главное препятствие на моем пути было устранено.

Давняя страсть к бабочкам, рыбам и природе вообще привела меня на биологический факультет. Фаия же избрала для себя филологию и стала сперва не слишком успешным журналистом, а впоследствии прекрасным школьным учителем. Но все это было потом, после войны, и рассказ об этом был бы тут неуместным.

Со стыдом вспоминаю эти далекие годы. Чудовищно и невероятно, но никаких изменений во мне жуткие тридцатые годы не произвели. Слова Сталина о нарастании классовой борьбы, сопровождающей успехи социализма, не вызывали у меня сомнений. И то, что голод дело рук кулачества, скрывающего и даже злонамеренно уничтожающего хлеб, я тоже принимал на веру.

Все эти сведения черпались из газет, журналов и радио. Других источников информации не существовало. А если они и были, то увы, не вступали в противоречие с официальной точкой зрения. Далеко ходить за примерами мне не нужно.

Фаия и общий наш дружок, комсомольский работник Алеша Гольдентул, лично участвовали в организации колхозов и борьбе с кулаком. Их райком посылал в села, откуда они возвращались с горящими глазами и лицами, гордясь успешно выполненным высоким долгом. Они наперебой рассказывали о том, как злобно сопротивляется классовый враг вступлению в колхоз и как ловко удавалось им разыскивать кулацкие тайники

с зерном. При этом Алеша демонстрировал выданный ему наган, который, по его словам, немало содействовал успеху миссии.

А мы, группа товарищей, слушали их если не с завистью, то с неприкрытым восхищением. Они были героями в наших глазах.

Нет. Не нахожу ответа на проклятый вопрос. Господи, я же не был идиотом! Напротив, слыл парнем развитым и умным. Да и друзья мои были отнюдь не дураками. Как же мы так могли? Ни трупы на улицах, ни гнусная затея с торгсином, ни даже, позднее, дикие судебные процессы, где цвет партии, ее вожди, признавались в шпионаже и предательстве, не отвратили нас от параноической веры.

Этого нельзя понять. Это по ту сторону человеческого разума. И то, что нашлись все-таки люди, которые поняли, ничего, конечно, не меняет. Золотые самородки тоже лежат в окружении никчемной породы.

Очевидно, что ни я, ни мои друзья такими самородками не были. И то, что я хочу рассказать, лишний раз является тому подтверждением. А рассказать я хочу о Фае. С ней мы уже знакомы, и я только напомню, что была она „настоящей комсомолкой“. В самом буквальном значении этого словосочетания. И скроена была из того самого материала, из которого в немалом числе кроились всякие Павлики Морозовы, их поклонники и последователи. Сразу же замечу, что Фая была постарше Павлика. В ту пору, когда совершен был ею подвиг, вступила она в семнадцатый год своей героической жизни. Год этот был не простым для народа, строящего социализм. Год, когда на смертном одре лежало крестьянство, испускавшее дух на „ссылном“ Севере или в голодных муках расстававшееся с жизнью у родных очагов. Те же, кто не лежал, не выпускал и не расставался, с пламенным энтузиазмом трудились на великих стройках, сооружая индустриальные гиганты и каналы.

Прямого отношения ко всем этим событиям Фая не имела. Кошмар Великих Переломов лежал по другую сторону ее вполне благополучного бытия. Росла она в

добропорядочной и даже образцовой советской семье. Правда, главой ее был не родной отец, а отчим. Но это дела не меняет, поскольку и отчим был образцовым. Мы, по крайней мере, оценивали его именно так и даже весьма им восхищались. Нравился нам его неизменно спокойный, добрый настрой, ясная улыбка „своего“ парня, благодушный рокошующий бас и просторная грудь меж могучих плеч. Грудь эту и плечи облекала ловко скроенная, тонкого сукна гимнастерка, украшенная орденом Красного Знамени, самого по тем временам престижного ордена. Других в ту пору еще не было. Не скажу героем, но участником Гражданской войны наш орденосец был, а для нас никого выше уже и быть не могло. Свою красавицу-жену этот герой, или участник, добыл, а вернее, отбил у скромного рыженького бухгалтера из славного города Бердичева. Полагаю, что большого труда для него эта акция не представила. Фигуры были несопоставимые. Тем более, что был бухгалтер хром и ковылял с палочкой. Отбить у такого жену, имея боевые заслуги и должность директора треста с чудовищно-длинным, непроизносимым названием, было что раз плюнуть. К тому же была бухгалтерша довольно пустой бердичевской бабенкой с немалым аппетитом к роскоши. Ей нужно было все: гастрономические деликатесы, парижские духи, криком кричащие наряды и вещи, о которых с детьми до 16 лет говорить не принято. Справедливости ради скажу, что было у нее для героя-завоевателя припасено немало достоинств, которые никакими нарядами скрыть было нельзя, будь это даже монашеское облачение. Плоть ее была обильной, весьма затейливо обустроенной и для мужчин в высшей степени беспокойной.

Что до самой героини повести, то мог бы я о ней рассказывать без конца. Для меня именно она, а не директор-орденосец с его пышной женой главное лицо. Рассказ этот, в отличие от повести о моей „второй“ любви, я не отношу к ностальгической лирике. Напротив, он жесток и полон горечи. Хотелось бы и вовсе позабыть обо всем. А не получается. Я храню

добрую память о Нине и дорожу этой памятью. Но та же память хранит воспоминания, которые беречь мне бы не хотелось. Она удерживает их против моей воли.

Так вот, была Фая комсомолкой. Из тех, которые везде и всегда впереди. Всегда и во всем. Из тех, чьи голоса ведут народ на выполнение исторических задач. Они впереди на стройках, на уборке урожая, на митингах „за“ или „против“. Они громче всех и первыми приветствуют, провозглашают, поздравляют, порицают, клеймят, требуют и осуждают. Приветствуют, конечно же, кого следует, и клеймят, осуждают тоже кого следует. Здесь господствует то, что ныне именуют *беспределом*. Все до упора и на полную катушку. И восторги, и гнев. Все до самоотречения. И все идейно. Высокоидейно. Все по марксуэнгельсу-ленинусталину. И лишь одно было не совсем „по“. Маркс призывал все подвергать сомнению. А здесь – напротив. Ничего не подвергать, ни в чем не сомневаться. Только вперед по призыву Великой и Непогрешимой. Всегда готов, и точка!

Вот такой была и моя Фая. Даже не просто такой, а впереди всех таких. Всегда готовых. У самого переднего края.

О семье Фаиной сказано почти все. Но кое-что все же следует добавить. У директора треста „Главторгсбытцветмет... и т.д.“ нужды не знали ни в чем. Икра, балыки, ветчина, шоколад... ну, все. Все было. И не из Торгсина. Боже упаси, чтобы в такое лихое время да еще уносить добро из дому! Надо вовсе разума лишиться! Или, как говорила в подобных случаях Фаина мать, „надо разбиться о камни!“. Сейчас, когда кругом такое, надо приобретать, а не проедать“, – поучала она своего ответственного мужа. Не знаю, приобретали ли, но что не проедали – это точно. Коммунист, орденоносец, ответственный деятель хозяйственного фронта получал все. Как бы иначе он мог трудиться в полную силу на благо народа и строить грядущую счастливую жизнь?

И он трудился. Очень, видимо, крепко трудился.

Себя не щадил. Но и его не пощадили. Оценили труд по достоинству и, главное, по справедливости. Кончил он жизнь свою в тюрьме. Пострадал, правда, не за идеалы, которые отстаивал в юности. Пострадал за махинации с цветметами, так сказать, классическую, присущую его классу и рангу „левую“ деятельность. В оправдание его могу лишь сказать, что темные дела проворачивал он не один, а вкупе с братьями по классу, такими же орденоносными членами Великого Братства, которое, как известно, „и ум, и совесть“...

Теперь, как сказано классиками, ближе к телу. Был у Фаиноного печальной памяти отчима брат. Старший, если не ошибаюсь. Он никаких революционных заслуг не имел. Просто был служащим в каком-то учреждении, имевшем отношение к парфюмерному делу. Тоже, полагаю, какой-то „Глав“, „Снаб“ или „Торг“. По крайней мере, на всякие семейные торжества он являлся с неведомыми даже самым лихим модницам парфюмерными наборами в крытых шелком сувенирных коробках.

Брат этот со своим многолюдным семейством тоже сидел не на карточном пайке. Один только раз довелось мне побывать в его доме, но воспоминания об этом визите я сохранил навечно. Каждому ясно, что хлеба там на столе было больше чем 250 граммов на едока. И кроме хлеба, было кое-что еще сверх карточек. Так что не стоит об этом. Я только хочу найти отправную точку, постичь непростую логику Фаиных чувств. Ведь никаких сомнений в том, что отчим по праву пользуется всеми благами жизни в столь мрачное, просто-таки кошмарное время, у нее не возникало. Кому же еще, как не борцу за советскую власть, молотобойцу, коммунисту с 1919 года, орденоносцу, командиру производства, получать все лучшее и в первую очередь? За что, как говорится, тогда кровь проливали?

А вот, что касается братца, тут песня уже не та. Тут уже вопросы и вопросы. Откуда у него это все? Чем заслужил такое у родной власти? Откуда панбархаты и коверкоты на всех особах женского пола? А там таких особ пруд пруди: дочери, да теща, да разного уровня

сестры! Откуда эти коньяки, чужеземные деликатесы и шоколадные торты, которые можно увидеть разве что на международных выставках. А всякие браслеты, серьги, ожерелья и часики желтенькие с беленькими камешками? Нет, здесь дело нечисто. Честным трудом такие вещи рядовому советскому служащему не приобрести. На все вопросы ответ только один: вор он, дядя Матвей! Вот откуда все! Расхититель он и, следовательно, враждебный нашему народу элемент. Только так!

И что же делает такая впередсмотрящая, как моя Фая? Да, да. Именно так, как вы думаете, и делает. Долг свой комсомольский выполняет с честью. Выполнять – выполняет, а что при этом думает и чувствует – не знаю. А потому и сказать не могу. Не знаю и все. То есть предположить, догадываться могу. А знать не знаю, поскольку мне она тогда, хоть был я у нее первым из первых и она у меня такой, не сказала ничего. Ведь все мне доверила, все до самого конца, а тут, значит, что-то ей мешало. Не было той непреклонной уверенности, какая сопутствует великим решениям. Значит стеснялась, боялась, что не пойму. Тем более, что не был я „партайгеноссе“. В комсомоле не состоял. В общем, и боялась, и стеснялась, но дело сделала.

В техникуме был в нашей группе парень. Я его хорошо помню. И фамилию и имя в памяти сберег. Секрета тут никакого нет, но называть его мне почему-то не хочется. Впрочем, имя могу и назвать. Володей его звали. А фамилия была на букву „К“. О том, кто он такой, этот Володя К., Фая узнала случайно.

Шла она как-то с ним поздно вечером с комсомольского собрания, и пристал к ней томимый бездельем ночной шатун. Во хмелю, конечно. Володя был парнем самого скромного размера. Чуб, правда, был у него выдающийся, свисал до самого носа. Все же прочее – „смолл“, как значится на заокеанских изделиях для таких персон. Противник, шатун, напротив, верзила самого внушительного вида, по описаниям Фаи. Так что положение сложилось весьма неустойчивое и даже рискованное. Тут Володя и прибег к последнему, так

сказать, аргументу. Фая даже не сразу сообразила, что произошло. Только вдруг, втянув голову в плечи и издавая невнятные звуки, хулиган стал быстро удаляться.

– Что ты ему сказал? – спросила она в недоумении.

– Да ничего я не сказал. Просто показал ему вот это... – и Володя, смутившись, повертел в руке пистолет. Теперь деваться ему было некуда. Пришлось расколоться. Так Фая узнала, что работает Володя в органах. К нему она и обратилась, когда решила выполнить свой гражданский долг.

И вот узнаю я стороной, что дядя Матвей уже ни сюрпризных коробок, ни шоколадных чудес больше не приносит. „Сидит“ дядя, скорбит, и проливает горькие слезы семья о загубленной, такой сладкой жизни.

Что дядя Матвей „сел“, я узнал скоро. А вот кто его „посадил“, мог бы и вовсе не узнать. Но так уже сложились обстоятельства, что вышло все наружу. Правда, и голову пришлось поломать, чтобы до сути добраться.

Среди нас – я ближайших своих друзей имею в виду – были такие, которых томил юношеский писательский зуд. Пописывали. Я, между прочим, тоже чего-то царапал. Путного никто из нас не написал ничего. Но потуги были. Время от времени даже собирались, читали свои опусы и с остервенением „рвали“ других авторов на куски. К слову сказать, свирепствовали преимущественно писавшие. Кто самолично в это дело не встрял, держался корректно. Вставлял иногда словечко, но больше помалкивал. Не считал себя вправе.

Собрались мы однажды, и объявляет председатель наш – а им всегда был Шурка, о котором речь впереди, – что слушаем мы главу из повести Фаины. Я был удивлен до крайности. Про повесть свою она мне – ни-ни.

И вот слушаем мы эту главу. Мне почему-то сразу же показалось, что, кроме этой главы единственной, ничего ею не написано. Ни до, ни после. Все здесь. И идея, и замысел, и главнейшее событие. Именно оно, событие, и вдохновило ее.

А событие такое, что комсомолка, дочь крупного,

ответственного работника, сообщает „куда надо“ о преступной деятельности его ближайшего родственника. И естественно, своего тоже. Изобличает его в деяниях, подрывающих экономику и прочие устои. Патриотический, даже героический ее поступок оценен весьма и весьма и представителями „органов“, и друзьями, столь же горячими, конечно, патриотами. Сомнениям и душевному беспокойству по поводу грозных последствий ее поступка, сожалению о судьбе родных, всему этому отведено несколько сухих и скупых предложений. Как бы приличия ради. Должны же они существовать, всякие сомнения и муки! Иначе какой же это подвиг, если без них? И таким я был болваном, что не усек, кто она, эта комсомолка, и какого такого родственника жертвой подвига своего сделала. Просто счел, что все она сочинила, все – с потолка.

Страшно вспомнить, но никто, повторяю, никто не поставил под сомнение самую идею рассказа, не возмущился, не осудил. Все, все без исключения сочли, что именно так и должна была поступить настоящая комсомолка. Сомнения возникли совсем иного толка: всякий ли мог отважиться на такое? Не перехлестнул ли автор, не идеализирует ли героиню повести? Вот какие были сомнения! Что касается дискуссии, то она носила сугубо филологический характер. Отчаянный спор разгорелся по поводу губ. В тексте стояло: „Она улыбнулась концами губ“. Тут и забушевали страсти. Одни кричат, что не бывает у губ никаких концов, а есть углы. Другие орут: нет и не было у губ никаких углов, а вот концы очень даже бывают – и ссылаются при этом не помню уж на какого классика. Вот такой состоялся литературный диспут. Страшное дело! А вы говорите: „Павлик!“ Тысячи было таких „павликов!“ Если бы затеяли всем по памятнику поставить, то было бы этих памятников больше, чем надгробий на Байковом кладбище*).

Предвижу: если доведется кому-нибудь прочесть мои

*) Знаменитое, самое престижное кладбище в Киеве.

записки, то первым делом спросят: А автор как? За кого стоял, за „углы“ или „концы“?

Увы, ничего утешительного для себя в тогдашнем моем поведении не нахожу. В спор о губах, правда, не вступил, но и против идеи, самого дикого замысла тоже не восстал. Только, помню, поставил под вопрос возможность такую. Чтобы против родного дяди, родных своих и близких... Повторяю: не осудил, а под вопрос поставил. Мол, хватило бы духу?

И все мы так. Что долг каждого советского человека пресечь действия врага, тут и спорить нечего. А вот самому? Да если действия эти близкими совершаются людьми... Нет, такое не всем дано. Тут уже нужен герой, а все героями быть не могут.

Так мы тогда. Больно это сознавать, да деться некуда. Было. Скажу, как модно говорить теперь: время было такое. И измерять содеянное в те годы надо не нынешними, а тогдашними мерками. Из времени и понятий тех исходя. Нельзя иначе, если хотеть по-доброму. Думаю и пишу так не ради оправдания. Хочу, чтобы меня поняли, да и сам хочу понять.

Вот приходит на ум мне притча из „Книги судей“. Преданный женщиной герой израильский Самсон проигрывает в дурацком споре тридцать синдонов. Рубах, попросту говоря. Долг надо отдать. И герой убивает тридцать филистимлян! Содранными с покойников синдонами он расплачивается со своими противниками. Дичь какая-то! Изуверство непостижимое! Но непостижимо оно для нас! Не для них, предков наших древних. Другие у них были мерки, нам уже неведомые и недоступные.

Но ладно. Пусть Самсон уже такой-сякой. Он вообще был хоть и герой, но с придурью. Но вот в том же Ветхом Завете читаю о нескончаемых войнах, поражениях и победах. Читаю и понять не могу. Ну победили. Вторглись и захватили все: жителей, добро, скот крупный и мелкий. Казалось бы, владей и пользуйся на здоровье! Ну, перебили мужчин-воинов. На то и война. Но зачем убивать всех и все подряд? Ведь

истребляли все живое: женщин, детей, скот... Где здравый смысл? Ведь вся-то жизнь у них была вокруг скота! Что толкало их на это разорительное и безжалостное истребление? Что можем мы понять в их поведении?

Не можем мы их понять. Иначе жили они, иначе чувствовали, не по-нашему шевелились их извилины под черепными крышками. Все иначе! И напрасно будем мы пытаться встать на их место, сблизить наши нравственные позиции и образ мышления. Пустой труд.

Вот так и с проклятыми годами этими. Тридцатыми. Не понять нынешнему поколению тогдашних наших воззрений, душ наших изломанных, растоптанных. А понять надо. Понять и простить. Не все и не всем. Понять надо всех, а простить не всем. Тут уже каждому свое. Полного мира и всепрощения нет в моей душе, но мечом карающим следует размахивать с умом. С плеча не рубить, если не хотеть к тем временам, бессудным, диким, вернуться вновь. А суд нужен. Пусть даже строгий, но справедливый.



Все, что рассказал я о Фае и „подвиге“ ее, о синдроме морозовском и чувствах моих к фининспектору не просто исторические этюды, досужие экскурсии во времена ушедшей юности, а нелегкие размышления о природе наших – и моих, конечно же, и моих – нравственных принципов. Как они зарождались? Каким путем проникали в души эти чуждые нормальной человеческой натуре противоестественные чувства? Где источник их изначальный?

Не хочется, ужасно не хочется употребить это, тысячу раз испоганенное слово. Но ему здесь место. Сознаю: я рос в мещанской среде. Грустно, конечно, но что поделаешь? Родители мои были людьми хорошими. Интеллигентными, порядочными, милосердными, и все же были они мещанами. Имею в виду не то значение этого слова, что стояло в графе „сословие“ их царских

паспортов, а образ мышления и жизни. Быть может, виной тому трудность и неустойчивость бытия. Ведь время какое было! Но так или иначе, духовное их хозяйство было как бы натуральным. Все сосредоточивалось и замыкалось на семье. На неустанной борьбе за ее жизнь и благополучие. Интерес к событиям за ее пределами имел ту же „внутреннюю“ направленность. Все оценивалось с тех же семейных позиций. Любые общественные события рассматривались, прежде всего, как благоприятные или, наоборот, идущие во вред интересам семьи, а потом уже и всему народу. И нравственные основы закладывались здесь. Собственно говоря, нечего было и закладывать. Они существовали издавна, были чем-то естественным, как элементарные гигиенические правила. Никаких существенных изменений они не претерпевали. Кочевали из поколения в поколение с библейских времен.

Вот и ломаю себе голову: кто и как сумел поселить в наших душах эти новые, уродующие здравый смысл „добродетели“?

Проще всего, что и делается в наши дни, свалить все на Сталина и сталинщину, эту религию советской жизни. А я так не думаю. Не зря рассказал я о том, как и когда впервые услышал о „главном“ секретаре. Переворот во мне произошел задолго до того. Быть может, даже в тот день, когда привел в наш дом свой отряд пулеметчик Басыгин. С того дня уже возникло во мне еще неосознанное чувство противостояния, антагонистической разделенности мира. Потому и песни я тогда пел такие: „Вихри враждебные“, или про мир насилия, который мы разрушим до основания. С особым чувством скандировал я мужественные слова: „к счастью свободы дорогу грудью проложим себе“. А тут еще и красноармейцы, приглашавшие меня отправиться в их компании бить „беляков“. Так что уже тогда в моей надраенной керосином головенке сформировалось хоть и смутное, но вполне устойчивое чувство: идет борьба с враждебными силами, и вихри такие враждебные веют. Что это за силы, было мне не понять. Ни беляков, ни настоящих буржуев, ни иных представителей этих сил

мне близко узнать не пришлось. Они все вместе сливались в один бестелесный, но устрашающий образ. В общем, ясности не было, но это несколько не мешало главному. А главное состояло в том, что все человечество представляло в моем сознании разделенным. На своих и чужих. Друзей и врагов. Но мучительным для меня было не такое, а совсем иное раздвоение. Порвать с от сердца идущей классификацией людей на хороших и плохих я был не в силах. Пусть веют все злые вихри, все равно люди могут быть либо хорошими, либо дурными. И самое ужасное для меня было в том, что встречал я плохих среди „своих“ и хороших среди „чужих“. И далеко ходить за примерами не надо.

Взять хотя бы отца незабвенной моей Фобы-Дюймовочки, господина Дуба. Такая была у него неудобная фамилия. Очень он был добрым этот господин, толстенький и постоянно улыбающийся. Без подарков он не приходил никогда. Непременно нам с Вовкой хоть что-нибудь да принесет. Или игрушку, или пряников, но принесет обязательно. И вообще, когда он усаживался за стол и с милой улыбкой изящно, мелкими глоточками прихлебывал чай, в доме становилось особенно уютно. Нравилось мне, что о ком бы ни заходила речь, он всегда употреблял самые лестные выражения. Все у него были добрыми, умными и приятными. С Маниловым я еще в ту пору познакомиться не успел, и никаких аналогий у меня не возникало. В искренности господина Дуба я не сомневался ничуть. И вот при всех его очевидных достоинствах был он самым настоящим буржуем. Я сам, когда случалось бывать на Константиновской, видел вывеску: „Платки и ткани. Е.И.Дубь“. Инициалы я взял с потолка, потому что, как звали господина Дуба, позабыл. Но твердый знак помню. Платки в магазине продавались красоты сказочной, и дело процветало. Я не раз слышал, что господин Дуб человек весьма состоятельный. Как быть с таким хорошим буржуем? Кому какое он делал зло, не говоря уже о том, что был он Фофочкиным папой?

Короче говоря, классовый подход оказался несостоя-

тельным, когда речь шла о конкретных личностях. Он заводил в тупик, извращал картину таких простых и ясных человеческих отношений. Во всяком случае, для меня такие противоречия были непреодолимы. Для этого, видимо, следовало основательно зачерстветь душой, утратить изначальную ее незамутненную чистоту, преодолеть врожденную благорасположенность к миру и людям. Такое преодоление наступило под растлевающим влиянием учения, победившего в жестокой борьбе против извечных ценностей. Иного объяснения я не нахожу.

Печальным следствием этой победы была та нравственная опустошенность, тот моральный распад, которые преследовали человека на протяжении всей его жизни.

С огромным интересом изучал я, а началось это в возрасте 15-16 лет, произведения Маркса, Энгельса и других выдающихся теоретиков-социологов. „Капитал“ приводил меня в восторг. „Коммунистический манифест“ доставил мне такую же радость, как „Граф Монте-Кристо“ или „Робинзон Крузо“. Марксистские догмы сопровождали меня всю последующую жизнь, и законы развития общества, данные классиками, я никогда не подвергал сомнению. Никогда! Я руководствовался ими в педагогике, науке, верно и неотступно служил им. И главное, что они удовлетворяли меня. Всегда и во всем... кроме повседневной, реальной жизни. В теории я был диалектиком и марксистом. На практике – оппортунистом и гнилым либералом. Ничего, ни крошечки марксистской в жизни нашей не было, если не считать повсюду и на каждом шагу назойливо гремевшей пропаганды. Во всем же прочем действовали другие законы. Простые и открытые всем и каждому. Они полностью соответствовали моим ребячьим представлениям о людях, которые бывают или хорошими или плохими и никакими другими. Конфликта при этом не возникало, царил мир и лад. С совестью и чувствами.

Я, конечно, говорю о себе, своем осмыслении жизни, но думаю, что такими были мы все. Мои сверстники и

близкие да и вообще все, с кем мне доводилось сталкиваться.

Условия, в которых мы росли, были нелегкими. Родная власть нас не щадила. Но мы притерпелись. Ведь другой жизни не знали, были убеждены, что лучше нас не живет никто.

ГЛАВА 4. КОЕ-ЧТО О МОЕЙ РОДНЕ

Теперь пришло время выполнить свое обещание. Когда писал я о людях, доведенных до отчаяния, решившихся сломать свою жизнь и начать ее сызнова, упомянул я дядю своего. О нем теперь я и хочу рассказать. О дяде моем Исааке.

МОЙ ДЯДЯ ИСААК

По тем временам и понятиям, да глядя со стороны, жизнь у дяди сложилась на редкость удачно. Приехал он в Киев из самой глубинки, из непроглядной тьмы российской „черты оседлости“. Как удалось ему при всей его провинциальной темноте выйти в люди, сказать затрудняюсь. Но вышел, если место управляющего смолокуренным предприятием в джунглях Полесья можно расценивать таким образом. Само по себе место это больших перспектив не сулило, хотя для дяди и такое означало, что попал он из грязи в князи. Суть дела и последующего дядиного успеха состояла в том, что смолокуренный промысел со всем антуражем был в руках киевского богача Паина.

Сам босс со своим семейством проживал, конечно, не среди полесских топей и комарно-тропической непроходимости лесов, а жил в собственном доме не то на

Большой Васильковской, не то на Марино-Благовещенской. Теперь уже и не вспомню. Однако летние месяцы, если не затевалась поездка в чужие края, и чаще всего в Германию, Паины проводили на лоне полесской природы. Был у них отлично обустроенный хутор, со всем, что ему полагается. Были и коровы, и лошадки, и всякая прочая живность для нужд немногочисленного семейства.

Вот тут-то и произошла историческая встреча дяди Исаака с дочерью магната.

Молодые поладили между собой без проволочек. Я бы даже сказал, стремительно. Но что до всего последующего, у меня есть все основания считать: далось это дяде непросто. Иначе трудно себе и представить. Не мог же, не брыкаясь и не упираясь, первой гильдии купец отдать дочь какому-то дикарю из белорусской глуши! Впрочем это всего лишь мои предположения. Короче, совладал дядя Исаак и с дочкой Розой, и с первогильдейным папашей. Бракосочетание состоялось, хоть самому невооруженному и даже ущербному глазу было видно, что не пара Роза дяде моему Исааку. Сказать, что была хозяйская дочка первостатейной красавицей, я бы не посмел. Красавицей не была, но все, что молодой на выданье особе положено, было при ней. Очень недурное, румяной гладкости кукольное личико, нежный голосок, и, как говорится, что надо имелось спереди и сзади. Я познакомился с ней, будучи в том возрасте, когда такие достоинства должным образом не оцениваются или оцениваются весьма непрофессионально, так что мы с братом Вовкой Розочкин экстерьер охарактеризовали кратко и выразительно: тетя наша — пузатая. Но тетя Роза, конечно, пузатой не была. А кроме того, будь это даже так, все ее грехи искупались с лихвой. Она ловко справлялась с самыми заковыристыми твореньями Шопена, Листа и Меербера на беккеровском рояле и столь же лихо стрекотала на немецком и французском языках. К тому же творила она в кухне чудеса, которые оставили неизгладимый след в моей памяти.

Какими достоинствами обладал дядя Исаак, сказать затрудняюсь. Наверно, какие-то были, и с их помощью ему удалось уравновесить и Шопена с Листом, и европейские диалекты, и кулинарные тетины шедевры. Факт. Он, дядя, пришел, увидел и победил.

Поселились молодые в папашин дом, и стал дядя Исаак из местечка Рогачева жителем древнего града Киева. Полагаю, что жилось ему у тестя так, как жилось соловью в золотой клетке. Не мог он себя чувствовать там по-иному. И только этим, видимо, объясняется скорый его переезд в места, где нес он свою службу. Хоть и стал дядя паиновским зятем, обязанностей смолокурных с себя не сложил. Управлял и промыслом, и хуторком семейным со всей произраставшей там живностью. Трудился в полную силу и, думаю, даже более того, поскольку стал как бы пайщиком, совладельцем предприятия.

Он, конечно, наезжал в Киев к своей Розочке, и Розочка проводила в бунгало под Олевском весенне-летние месяцы. Но чем дальше, тем наезды и приезды совершались с убывающей продолжительностью и частотой. Здесь уместны самые разные домыслы: может быть, все дело было в золотой клетке, томившей дядю трудным для него и чуждым жизненным укладом; а может быть, виной тому беккеровский рояль и заграничные языки, которые лишний раз напоминали маламедовому сыну, кто он есть таков. И еще я допускаю, что жизнь на лоне природы меж простых людей была ему ближе и привольнее. Тут он чувствовал себя увереннее и как бы среди своих, тем более, что был дядя весьма неглуп, открыт душой и отличался умением, легко входя в любой круг, сразу же занять в нем не последнее место.

Так или иначе, каковы бы ни были причины, а разделение семьи совершилось. Розочка с дочкой Лидочкой стали не более чем гостями в дядиной резиденции. И не слишком частыми. А сам дядя и вовсе обосновался при хозяйской смолокурне. Даже гостем в доме тестя его нельзя было назвать. Перестал посещать и, видимо,

весьма мало был этим обеспокоен.

И все бы ничего, не прибеишься к полесскому хутору обиженная судьбой в жизни своей короткой, но не обиженная при рождении девчушка. Создал Творец это существо по самому высокому образцу. Все ей дал. Свет источавшие, махрово-опушённые глаза, ротик-вишенку и диановскую статью. Все дал и тут же вверг свое творение в пучину неотвязно преследующих бедствий. Поначалу лишил родителей, и осталась Шурочка сиротой круглой и беззащитной. Как-то перебивалась она при поддержке родни, маялась, голодала и холодала, пока не созрела и в возраст опасный не вошла. А как вошла, переступив черту восемнадцатого своего летоисчисления, подхватил ее проезжий офицер. История эта столь тривиальна, что в описании не нуждается. Все пошло по классическому сценарию. Завез, пообещал, конечно, освятить любовь церемониалом в храме Божьем и бросил. Оказался негодяем и весьма недалёковидным, потому что лучше Шурочки вряд ли удалось бы ему кого-нибудь найти. Даже горе красу ее пощадило, и вскоре, на зло обидчику, расцвела она, как лотос на волжской дельте. Глаз не отведешь. Просто принцесса из андерсеновской сказки.

Опять же, какие я могу привести подробности? Нет их. Ни у меня, ни у кого другого. Один я остался из всех, кто был или мог быть свидетелем.

Обойдусь без подробностей. Да и не очень они важны. Важно только, что прижилась Шурочка у дяди Исаака и уже не оставляла до конца дней. Зажили они на славу. Рассказы Александры Терентьевны об их бытие я слушал, как тот шах – сказки Шехерезады. Слушал и верил с трудом, хотя понимал, что все сущая правда. А сомневался – нет, не так – дивился потому, что вообразить себе не мог сына рогачевского меламеда впереди отряда на волчьей охоте, или объезжающим жеребца (причем своего собственного!), или судьей при разборе деревенских тяжб и семейных распрей, или мастером ставить на ноги опоенного коня или объевшуюся какой-то ядовитой дрянью корову.

Грешным делом, как и недруги наши, считал я втайне, что все это нееврейские дела. Это не в шахматы играть или, к примеру, на скрипке пикировать, в чем нация наша сильно преуспела. Но волки! Жеребцы и коровы! Откуда это к нему? Где мой дядюшка такого понабрался? К тому еще Шурочка клялась, сверкая восхищенными пушистыми глазами, что перепить Исаака в деревне не мог никто. Даже забулдыга Якимка, не вылезавший из шинка.

Вот такой был у меня дядя. Так что нетрудно уразуметь: тесно было ему в доме на Васильковской или Благовещенской. И так же легко понять, что не Розочка с ее фортепианами и немецкофранцузским, а именно Шурочка и хуторок под Олевском были для него избраны Богом, как была им избрана земля Хананская для народа израильского.

А потом была война и за ней революция. За революцией НЭП, а что за ним, все мы знаем. Слишком хорошо знаем. Пришли те, что распяли на смертном ложе победившего социализма горемычный народ наш. Наступила эра Великого Сокрушения.

И лишь теперь начинается мой рассказ. Ведь начал я с того, какими путями пытались люди выбраться из тупика. На что пускались, чтобы как-то к жизни новой пристроиться. Еще признался я, что не встречался с теми, кто посмел и сумел одним ударом переполовинить жизнь свою, ни от чего не отрекаясь, никого не предавая, имя родовое и совесть сберегая. Не знал я таких, как уже сказал, не попадались они мне, кроме брата отца моего, дяди Исаака.

К тому времени был дядя по всем экономическим, политическим и прочим параметрам кулак кулаком. Как полладили тогда между собой тесть с зятем, не скажу. Бросил ли хозяин свое добро ради обретения более удобного при новой власти социального статуса – так многие поступали – или на каких-то законных началах передал его зятю, не знаю. Известно мне лишь, что владел дядя хутором безраздельно, неуклонно приумножая добро. Трудились они с Шурочкой нещадно и,

конечно же, помощью наемной силы пользовались. Иначе и быть не могло. Ведь были у них и кони, и коровки европейской породы, и свиней йоркширских косячок, не считая всякой пернатой твари. В общем, доброе было хозяйство.

И вот на этом сладком, так сказать, месте и грянуло. Год подступил тот самый. Исторический. Добрались строители „светлого завтра“ и до Полесской глухомани. Запылало лютое пламя всеобщей коллективизации в условиях ожесточающейся классовой борьбы. Поднялся власть имущий класс на класс, ее, власти, не имущий, на простой народ, иначе говоря. И пошло все прахом. Словно все казни египетские разом на страну обрушились. Не было пощады никому. Жизни не стало.

Не обошла беда всенародная и полюбившийся дяде Полесский край. Как на кегельбане, одно за другим сшибала народная власть хозяйства, нелюдским трудом созданные в короткие нэповские годы. Разоряла родовые гнезда, сгоняя с отчей земли цвет российского крестьянства. Но так велико было уважение, так высоко ценил народ дядины достоинства, что двор его продолжал стоять нетронутым. Даже та ни добра, ни совести не имевшая сельсоветская шваль, вершившая расправу над своими односельчанами, не решалась поднять на него нечестивую руку.

Трудно сказать, как расценивался дядей такой ход событий, как осмысливал он свое положение. Может быть, надеялся на свою особость. Кроме почета, коим был окружен, мог он рассчитывать и на добрую память об услугах, которые годами им оказывались всем, в том числе и тем пьяницам, что теперь вершили суд. Шурочка любила рассказывать, как выручал дядя всех, попадавших в беду, не говоря уже о том, что добрую чарку казенной получал каждый переступавший порог дядино дома. Может быть. Вместе с тем, не хочется думать, что был мой мудрый дядя столь недалек. Так что душевное его состояние остается для меня вечной загадкой. Что до всего прочего, то никаких

видимых изменений в жизни обитателей хутора не происходило. Все шло своим чередом. Доились крутобокие коровки, похрюкивали коротконогие йоркширы, хрупали овес кони и вышагивали, вздымая уродливые головы, индийские петухи. Радовал глаз этот мирный и сытый пейзаж. Радовал до того самого дня.

А начался тот день обыкновенно. Разве только что поднялся дядя ранее обычного. Но удивляться этому не приходится. Он нередко так вставал, когда что-то затевал. И вот вывели они с батрачком Авдейкой дядиного любимчика, серенького в яблочках жеребчика Бегунка, и запрягли его в бричку. Навалил Авдейка сенца, мешочек с овсом к ногам пристроил, и покатались они по мягкой дорожке. Благо погода стояла ласковая и верная. Поездку дядя, конечно, затеял не ради прогулки. Было у него в городе дело. Два даже было дела. Первое и главное — исполнить давнишнее Шурочкино желание. Любила она, когда на хуторской огонек и даровую чарку с приданым сходились соседи, порадовать их сочным своим, призывным голоском. Чарка и все прочее само собой. Какое без этого гостевание? Но приходили люди не за чаркой. Приходили, думаю, чтобы с дядей жизнь текущую обсудить, совет дельный услышать ну и просто души поразмять. Вроде как в клуб свой мужицкий. Вот на этом последнем, так сказать, этапе, главным лицом становилась Шурочка. Голосок у нее был небольшой, но слезу вышибал с ходу, с первых из нежного ротика вырывавшихся трепетных звуков. Да и песни она подбирала такие, слезогонные. И только одного не хватало ей уже для полной над сердцами людскими победы: не было поддерживающего ее голосок струнного звучания. Все казалось, что зависнет голосок, собьется с пути в одиночестве своем. Была, правда, какая-то невесть откуда взявшаяся, полуживая мандолинка. Но ветхость ее и струн недобор делали инструмент почти бесполезным. Да и по природе своей не годился он. Что может мандолина там, где бьется и рвется наружу из груди печаль? Одно только треньканье и никакого утешения. Так что мечтала Александра Терентьевна о гитаре,

семиструнной и в полный рост. Добыть такую в то время да в таком месте было не проще, чем воду в каракумских песках. Негде ее было взять.

И вот доходит до дяди весть, что продает некто в городе гитару. И не просто себе рядовую гитару, а какую-то особенную, с длинной романтической биографией, завезенную из далеких краев. Понятно, что отмахнуться от такой вести дяде было совершенно невозможно. Да он и не хотел отмахиваться. Рад был всей душой подруге своей такой сюрприз приготовить. В том и состояла главная цель дядюшкиного вояжа.

Может, кто-нибудь и усомнится. В этакое смутное и тяжкое время и, вот тебе, гитара у человека на уме! Но сомневаться может лишь тот, кто дядю не знал. Только так он и мог поступить. Уж если на душе тревожно и неуютно, то пусть хоть какая, но все же радость любимой достанется! Да тут и предмета нет для обсуждения, поскольку поездка в город состоялась именно с этой целью. Правда, речь шла о двух делах, но второе дело от первого было неотделимо. Чтобы никаких помех при покупке инструмента не возникло, решил дядя свезти на базар мешок муки-крупчатки. Выручка уже совершенно исключала какие-либо неожиданности. Хоть тройную с него запросили бы цену.

Оба дела, впрочем, были не так уж и просты, как может показаться. Гитару еще предстояло разыскать и сторговать. На этом пути можно не раз было и споткнуться. И муку продать в то время, да так, чтобы потом слез не лить, в историю попав, тоже было не просто.

Но дядя, мы знаем, был счастливчиком, и все удалось ему провернуть наилучшим образом. Муку, как ныне говорят, толкнул весьма выгодно и на гитару вышел по известному ему азимуту сверх ожидания легко. Купил не торгуясь, потому что цену за нее спросили такую, что дядя уже и в достоинствах ее усомнился. Просто смехотворную цену. А что дешево, то, как известно, гнило. Но дядя в гитарах толк знал и сразу смекнул, что вещь первостатейная. Вид у нее

был царский, и звучала гитара, как орган в кафедральном соборе. Так что отбросил дядя свои никчемные сомнения и в самом именинном настроении, опрокинув с Авдейкой по стаканчику из припасенной в дорогу бутылочки, двинулся в обратный путь.

Бегунок, основательно подкрепившийся овсом во время вынужденного простоя, резво катил бричку, роняя на дорогу блестящие и дымящиеся яблоки.

Вот уже миновали они деревню, последнюю вежу перед родным хутором. Крестом выстрелила в небо колоколенка, что уже верстах в двух от дома скрывалась меж деревьев. Еще чуток и конец пути-дороге.

И ведь как благодно должно было быть на душе у дяди! Радостное нетерпение переполняет грудь, просто стискивает сердце. Вот-вот выбежит навстречу ему Шурочка и плеснет светом звездных глаз. Ну, конечно, торжества своего задешево он не уступит. Поиграет сперва, как кот с мышонком. Попугает, тумана на лик свой напустит, мол, не сбылись мечты... А уж потом, когда досыта натешится...

Про все эти дядины затаенные чувства я, понятно, не от него узнал. Сам придумал. Рассказ об этом дне в его изложении был лаконичен и протокольно сух. Но обстоятельства только так мне его состояние рисуют. Только так могло все быть в тот последний беспечальный день его жизни. И в этот день, а вернее час, а еще вернее, последний миг этого часа, слышит дядя жутковато-спокойный, какой-то отрешенный Авдюшкин голос. Авдей всегда был таким, заторможенным и бесстрастным, хоть гори все вокруг.

— Га, Исаевич, гляди, твою ить Звездушку сельсоветские гонють. Не? Вона, вона. Бачиш?

Сомневаться не приходилось. Парень знал в лицо всю живность родного села. Навстречу им вели любимую дядюшкину корову. Она брела, понутив крутолобую, с короткими острыми рожками голову. Брела не сопротивляясь, покорно и смиренно. Такая ее безропотность была особенно обидна, хотя чего было ждать? Корова, она и есть корова.

– Вот оно! Добрались до меня! – холодом наполнилась грудь. На миг замерло сердце. Теперь все решали мгновения.

Пишу и думаю, что неправ был я насчет дядиной недальновидности. Все он видел и видел далеко. И на популярность свою, на щедрость и на чарки с приданным не слишком рассчитывал. Все видел и все понимал. Внутренне уже созрел и готов был ко всему. Иначе не смог бы он так поступить и решение принять безоглядно, стремительно.

– Поворачивай коня, Авдей, – ледовитым, до шепота приглушенным, но каменным голосом скомандовал дядя. – Поворачивай и гони!

Авдей понял его вполне. Он рванул вожжи, и конь, чуть не вскинувшись на дыбы, сверкнув белками разгневанных глаз, вывернулся и, вздрогнув крутым задом от удара кнутовищем, понесся вскачь.

– Гони на шоссе, – бросил дядя, – гони во всю мочь!

И понеслась бричка, как тачанка на поле сражения. Авдей встал во весь рост и все хлестал, хлестал коня, обезумевшего от непривычной этой скачки. Так домчались они до города. Замыленный Бегунок, тяжело подрагивая блестящими боками, вынес их к вокзалу. Дядя вылез из брички и стал неторопливо, привычными руками привязывать коня к привокзальному палисаду.

– Слушай меня внимательно, Авдей, – тихо наставлял парня дядя. – Дай коню отдохнуть, постой, потом напои. Дай овса, а тогда – домой. Первым делом ко мне. Поставишь коня в денник. Инструмент отдашь Александре и расскажешь все, как было. Передай, чтоб ждала от меня вестей. Сколько ждать – не знаю. Я теперь ничего наперед не знаю. Надо ей ждать. Так и скажешь. И еще. Будут добро отбирать, чтоб не воевала, а отдала. Все равно отберут. Вот так и перескажи. Крыша у нее будет, вот пусть и ждет. Себе возьмешь борова, что с черным ухом. Его уже и колоть пора. Будет тебе память от меня. А там пусть уже Александра распоря-

дится, как сможет. Все запомнил?

Дядя прошелся рукой по конской морде, похлопал по шее, призадумался на минуту и пошел к вокзалу. В чем стоял. С пустыми руками.

Следующий день застал его уже в Харькове. Здесь начал он свою новую жизнь.

Не могу сказать, как и сколько для этого потребовалось сил и времени, но удалось ему в конце концов устроиться. И вот парадокс какой! Ведь где устроился? Я бы тысячу лет мог думать и до такого бы не додумался. Поступил дядя в строительный отдел НКВД! Расскажи мне кто-нибудь подобное, я бы не то что не поверил, я в глаза бы ему плюнул! Кулак, владелец хутора, смолокурни и немалого числа рогатой и безрогой скотины подается в такое учреждение, и его принимают! Не сажают, а делают сотрудником! Пусть даже и по строительной части. Ведь чушь какая-то! Но мне плевать не в кого. Все так и было. Опять же, детали этой фантастической истории мне неизвестны. Надо полагать, что дядя об этом впоследствии рассказывал и, при его словоохотливости, рассказывал много и подробно. Но в ту пору я его рассказами не интересовался, да и оценить их достойным образом не умел. Что мог тогда понять такой мальчишка, каким был я? Это теперь, вспоминая, я с ужасом и восхищением пытаюсь поставить себя на дядино место, осмыслить трагизм его положения и непостижимую уму отважность его поступка. Вспоминаю и не могу уложить его в своем сознании. Как он смог так? Какие силы нашел в себе, чтобы так, одним махом, перевернуть, сломать свою жизнь? И потом как? Сожалел, раскаивался, скорбел? Ведь остался гол как сокол! Ни кола ни двора в самом прямом значении слова! Были и кол и двор и многое другое, а что унес? С чего начинать пришлось?

Говорил он, что ни о чем не жалел. Видел в бегстве своем спасение. Как потерпевший кораблекрушение. Рад был, что жив остался. Вычеркнул, стер из памяти половину жизни своей. Лучшую, конечно, половину. Но

я пытаюсь влезть в его шкуру, и нет веры его словам. Я бы так не смог. Да и мало, думаю, таких, которые бы смогли. Иначе не были бы усеяны костями мужицкими дальние края необъятной и злой нашей родины. А они усеяны. Да еще и как усеяны! Значит не часто такие, как мой дядя, попадались.

А в 1934, если не ошибаюсь, году, сложил с себя Харьков высокое звание, и стал столицей родной наш Киев. И началось великое переселение. Хлынула и дикой ордой навалилась на город тьма-тьмушая всяческих наркоматов, ведомств со всем обозом и многолюдством. И дядин департамент, — ИСО НКВД — в первых рядах, конечно. Даже впереди первого ряда, поскольку именно он, инженеро-строительный отдел Богом проклятого учреждения, должен был место подготовить, соломку постелить тем, кому предстояло творить важнейшие дела внутренние.

Великое переселение повлекло за собой не менее великое выселение, выдворение и уплотнение.

Конечно, стать столицей было большой честью для нашего города. Лестно было, и киевляне очень гордились новым своим положением. Но чувство это оказалось коротким, как арктическое лето. Словно мухи на падаль, стало слетаться в столицу чиновное воронье, и всем потребовалось место. И для жилья и для размещения бессчетного числа учреждений, управлений и всяких присутственных мест. Однако наибольшую кроважидность пришельцы проявили при захвате жилья. Захватывали они не просто квартиры, а только лучшие в лучших домах и лучших местах. И работать, и жить им хотелось только в центре города или в самых престижных его районах.

Не стану описывать все муки киевских жителей. „Наши“ и без того поймут все. А „ненашим“ объяснять бесполезно. Не то у них воображение, чтобы умишком своим такое объять. Скажу только, что те, которые ютились в одной клетушке, или гнили в подвалах, или владели жильем, подобным собачьей конуре, ни забот ни хлопот не имели. Жили в свое удовольствие и

радовались неожиданной чести называться столичными жителями. Что до прочих..., воздадим им хвалу за терпение и страдания великие.

А вот нашей семье на сей раз повезло. Уж каким лакомым кусочком была наша квартира! И комнат аж четыре со всякими удобствами, и дом в таком месте стоял, что лучше и не придумаешь, а пронесло. Все получилось как нельзя лучше, поскольку уплотнились мы по собственному желанию и даже не без удовольствия. Не скажу, что в своем ИСО вошел дядя Исаак в большую силу, но корочки с апокалиптическими знаками „НКВД“ при себе имел. И было этого довольно, чтобы, заняв одну из наших комнат, оградить остальные от всех возможных посягательств.

И поселился дядя со своей Шурочкой в бывшей нашей детской, так что самыми пострадавшими оказались мы с Вовкой. Не стало у нас своего угла. О себе не говорю, а у Вовки был он последним в короткой, горестной его жизни.

Понимаю, что к делу это не относится, но полноты ради скажу. Умер дядя незадолго перед войной. Я еще успел с ним свидеться, в 1939-м. Свел его в могилу вдруг обнаружившийся при полном, казалось, здоровье запущенный рак. За день до смерти навестил я его в больницу, где провел у постели мучительных полчаса. Больше я бы не выдержал, и дядя это понимал. Был он при полном и ясном сознании. Выждав, сколько требовали приличия, он бессильно сжал мою руку и, не глядя в глаза, тяжело выдавливая слова, произнес:

– Ты можешь идти. Что тебе здесь делать возле меня? Иди. Прощай и будь счастлив. Наклонись ко мне. Нет, нет, целоваться не будем. Болезнь такая, что кто его знает... Сказать тебе кое-что хочу. На миг глаза его оживились: – Ты думаешь, что мы идем к социализму и впереди что-то хорошее? Не верь. Ничему не верь. Все ложь, одна только ложь. Весь этот балаган стоит на лжи. Все сплошь снизу доверху ложь и очковтирательство! Ты понял? Оч-ко-вти-ра-тельство. Только! И ничего больше. Ложь и очковтира-

тельство. — Он закрыл глаза и долго молчал. Потом, уже не открывая их, прошептал: „Ну теперь можешь идти. Прощай. Будь здоров. Шуру не оставляйте. И помни, что сказал“.

Хоронили дядю сослуживцы. В синих фуражках. И оркестр такой же, синеголовый. Сам дядя никогда формы не носил. Видимо, брезгал. Тихие были похороны, если бы не Шура. Боже, что с ней творилось! Оторвать ее от гроба было невозможно. Слышать ее стенания — нестерпимо. Не плач, а вой звериный и храп предсмертный. И таяла на глазах. Словно со слезами уходила из нее живая плоть. Утешить ее было нечем. Любила она дядю. Да и не было у нее никого, кроме него. Одна во всем мире. Мы, конечно, не в счет. Что мы ей? Даже родство какое-то сомнительное, поскольку существовали тетя Роза и Лидочка, хотя от моих родных Шура могла ждать только добра. Перешла она фактически на их иждивение, и все мы старались относиться к ней, как к члену семьи. Но было это не просто. Ни нам, ни ей.

А вся семья Паиных, Розочка, ее родители и сестры, погибла в Бабьем Яре. Они были так онемечены, так верили в немецкую порядочность, что все ужасы, о которых писалось и говорилось, считали злостной клеветой. Привыкли, что одна ложь вокруг, и правду за нее приняли. Как в басне крыловской с озорником, пугавшим народ волками, когда их и в помине не было. За это неверие и сложили безвинные головы. Зато онемечение спасло дядину Лидочку, кузину мою. Пристроили ее немцы к какому-то ведомству, без колебаний сочтя ее за свою соплеменницу. Очень уж бойко она на их языке изъяснялась. К тому же и замуж вышла, сменив фамилию свою на украинскую. Но к рассказу моему это имеет самое отдаленное отношение. Я ведь все ради дяди Исаака и жизни его необыкновенной затеял. Остальное — так, между прочим.



Глава о дяде Исааке занимает в моих записках особое место. Хочу обратить внимание читателя на то, что за все двадцать лет, которые охватывает книга, никто из участников описываемых событий ни разу не выступил с осуждением советской *системы*. Не отдельных промахов и просчетов в деятельности партии и государства, а системы в целом. Из всех, кто меня окружал, лишь ему одному, дяде Исааку, виделась она лживой. Снизу доверху. И в будущее её он не верил, во всем видя лишь всеохватный обман, очковтирательство и ложь.

Не хочу, чтобы у читателя сложилось впечатление, что у меня и моих сверстников, да и у взрослых, с которыми мы общались, никогда не возникало никаких сомнений, что все виделось в одном лишь розовом свете. Было всякое. И сомнения, и несогласие, и болезненные вопросы. Не могло их не быть в столь жуткое время. Но никогда, даже в пору столь мучительных колебаний, никто не ставил под сомнение самое систему, идею социализма, правоту классиков „великого учения“. И ничего удивительного в этом нет. Осмыслить порочность самой идеи, теории, значило сделать *открытие*, совершить переворот в умах, в сознании людей. Такое дано не каждому.

Ясности ради, обращусь к аналогии. Возьму в качестве примера переворот, совершенный Дарвином. Ведь все до него и рядом с ним видели, не могли не видеть сходства между собакой и волком, свиньей и вепрем, дикими и многочисленными породами домашних голубей. Разве не очевидным является их родство? Казалось бы, чего проще понять, что домашние животные выведены человеком. Ведь они отличаются от диких именно теми признаками, которые интересуют человека. Однако никто, кроме Дарвина, такого вывода сделать не сумел. Более того, когда уже была им создана теория отбора, пришлось ей пробивать себе дорогу в жесточайшей борьбе.

Так и с нами. Ведь видели, многое, вроде бы, понимали, но проникнуть в суть, сделать открытие не умели. Потому и сформировались как *гомо советикусы*. Тем более, что всё вокруг способствовало тому. Хочу думать, что в моей книге я рассказал об этом с достаточной полнотой и ясностью.

Не исключено, что недоброжелательные критики мои не преминут заметить: автор де пребывал в благополучном окружении привилегированного семейства с орденоносным молотобойцем во главе и нечистым на руку его братцем. Менее всего мог он прочувствовать весь кошмар тоталитарной сталинской системы. Вот если бы не его друзья-комсомольцы шарили по крестьянским сусекам, а был бы он сам в числе раскулачиваемых, ограбленных и загоняемых в колхоз, прозрение пришло бы к нему скорее и без мучительных сомнений.

Меня такая критика никак не задевает. Забегая вперед, скажу: ни я, потерявший брата в Колымских лагерях, ни все окружавшие меня в жутких застенках НКВД никаких решающих выводов для себя не сделали. Вошли в них, в застенки, *гомо советикусами* и вышли такими же. Если, конечно, вышли. А те, что не вышли, сложили головы, сохранив верноподданнические свои заблуждения до последнего вздоха.

Должен упомянуть и еще об одном весьма важном обстоятельстве, немало способствовавшем нашей приверженности советскому строю. Обстоятельство это цепко держало наши сердца в сладком плену. Под нашими я понимаю еврейские сердца.

В последние годы появилось множество материалов, осуждающих прошлое. Справедливо осуждающих. Страшными были все годы большевистского правления. Но когда эти материалы касаются еврейского вопроса, когда выдвигаются обвинения в государственном антисемитизме, все во мне протестует. Не было этого! Мы, молодежь двадцатых и тридцатых годов, жили в атмосфере полного национального равенства. При поступлении во все учебные заведения и на работу вопрос о

национальности никогда не поднимался. В нашем Киевском университете на историческом, юридическом и математическом факультетах большая часть студентов были евреями.

Я поступал в университет в 1935 году и утверждаю, что и со стороны экзаменаторов, и администрации встречал самое благожелательное отношение. И не я один. Не говоря уже о том, что среди экзаменаторов были евреи, и в немалом числе.

Не могу отказать себе в удовольствии и привести один весьма характерный эпизод. Его вполне достаточно, чтобы охарактеризовать атмосферу, в которой протекали наши юные годы.

Все мои товарищи в то время были студентами строительного техникума. Помещался он на бывшей Фундуклеевской улице и имел два отделения: русское и еврейское. Еврейское занимало верхние, а русское – нижние этажи. Друзья мои учились здесь, внизу. И вот один из них, Боря Фарбер, еврей, конечно, повадился ходить в гости к коллегам верхних этажей. Что его там привлекало, не скажу. Может быть, приглянулась какая-нибудь идишговорящая девчонка. Только однажды он был вызван на комсомольское бюро, где ему предъявили обвинение в антисемитизме. Основанием к тому была жалоба со стороны студентов еврейского отделения. Борис, оказывается, оскорблял их, передразнивая язык и еврейские манеры.

Члены бюро вознегодовали. Было решено устроить показательный процесс над антисемитом Фарбером. И процесс состоялся. Судьей на нем выступал наш товарищ Юра Максимов, а обвинителем был Алеша Малиновский. Они были русскими, все другие члены суда – евреями.

Я уже не помню, каким был приговор. Да и не в нем дело. Я только хочу, чтобы читатель осознал, какие чувства должны были владеть нашими душами. Что может быть слаще для еврейского сердца, чем сознание такой его защищенности и равноправности? Мы и наслаждались им. Оно, это сознание, искупало

многое. И прощать заставляло тоже многое. Так что я бы рискнул сделать и такой нелегкий вывод: *у евреев было больше оснований оставаться „советикусами“*. Вопреки всему. Быть может, они даже переставали быть таковыми, когда ко всем порокам сталинского тоталитаризма прибавился и этот. Государственный антисемитизм. Самый для евреев обидный и опасный.

Нет. Время для прозрения тогда еще не наступило. И было оно далеко впереди. Очень и очень далеко.

МОЙ ДЯДЯ НАФТЛ ВИЛЬНЕР

В бесконечно далекие и давние времена был у меня двоюродный братик. Я говорю „был“, потому что ничего о нем не знаю уже много лет. Может быть, он еще где-то и есть. Вот я же есть! Почему не быть и ему, если он по крайней мере на десять лет моложе меня? Звали его Алеша, и был это мальчуган совершенно невообразимого очарования. Если каждый, взглянувший на голову Горгоны, окаменевал, то всякий при виде Алешиного личика оживал, светлел и, будь он каменным, наверняка вернулся бы к жизни. Вот такая была у мальчугана сияющая мордашка, с неотразимой плутоватой улыбочкой, черненькими лукавыми глазенками и ямочками на округлых смуглых щечках.

Сейчас я вспомнил о нем по пустяковому поводу. Вообще же место в моем рассказе история отвела ему хоть и скромное, но вполне определенное. Каждому ясно, что если приходился мне Алеша двоюродным братом, то отец его – мой дядя. А я как раз и хочу рассказать о нем, о дяде.

Между прочим, только таким красавчиком Алеша и мог быть, потому что таким же был его отец. А кроме того, текла в Алешиных еврейских сосудах самая что ни на есть нееврейская и даже голубая кровь. Княжеская, а может быть, и великокняжеская. Но об этом потом. На своем месте.

Так вот, Алеша очень любил рисовать. Разлепит мохнатые свои реснички поутру и сразу же ко мне за

бумагой и карандашом. Усядется в кресло у стола, изогнется винтом, в нарушение всех гигиенических правил, заломит набок головенку с высунутым острым язычком и трудится. Пыхтит, шумно вздыхает, и через четверть часа весь лист уже испещрен неряшливыми рядами закорючек, каракулей и иероглифов.

– Что это у тебя здесь? – спрашиваю, указывая на одну из закорючек.

– Это папа, – отвечает и усмехается, прищурив хитрые глазенки.

– А это что такое? – Это кошка. – А это? Это наш дворник, дядя Сильвестр.

– Алешенька, говорю, они же у тебя все одинаковые! Почему этот крючок папа, а этот – кошка?

– А вот и нет, – хмурится Алеша. – Совсем они не одинаковые. Видишь, это папа, вот он какой. А тут – кошка. Смотри, какой у нее хвост.

– Ну, а здесь что же такое? – уже раздражаясь, указываю я на совершенно такой же кошачий иероглиф.

– Это у меня не вышло, – насупливается Алеша и с ожесточением замарывает карандашом свое неудавшееся произведение. – Не получилось. Сюда не надо смотреть.

Вспоминаю эту чудом уцелевшую в памяти сцену и смутно улавливаю в ней грустную аналогию.

У меня ведь тоже так. Кучу всяких закорючек нацарапал. И вроде бы ничего. Похоже на что-то. А вот эта не получилась. Не вышла. Так, казалось, ясен был замысел, так все продумал, а глянешь – каракули и закорючки. Не вышло – и все. Ведь совсем иной виделась мне книга моя будущая. Большие возлагал на нее надежды. Казалось, открою я глаза читателю на нечто никогда им не виданное и не слышанное. Но оказалось все не так. Нет в этом моей вины. Грянула новая эра. Навалились на нас гласность, перестройка, демократия и свобода слова такой мощи, что рухнули все замыслы мои, надежды и планы. В необъятном многообразии хлынул на страницы печати безбрежный поток неожиданных исповедей, безжалостных разобла-

чений, докуменально-жутких рассказов о пережитом и переосмысленном в страшные годы. Узнал мир такое, что содрогнулся от ужаса, проникшего в каждое сердце. И такими бледными увиделись мне мои маленькие переживания, такими мелкими показались суждения, что продолжать начатое я уже был не в силах.

Но вдруг, словно высвеченная фотовспышкой, возникла передо мной спасительная мысль. Нет! Ничего не обесценилось, и закорючки мои не утратили смысла. Бог с ними, с умозаключениями и суждениями. Не в них суть. Жизнь человека, каким бы он ни был, это маленький, но всегда весомый кусочек человеческой истории. Все может устареть, потерять остроту, но никогда не могут устареть факты. Они, именно они, и есть история.

Вот я и решил дать еще кусочек истории.

Ведь дядя Исаак был не один у меня. Были еще и дяди, и тети, и среди них такие, что вполне могут потеснить и самого дядю Исаака. И рассказать о них очень даже стоит. А уже Алешин отец и жена его весьма и весьма этого заслуживают. О них и пойдет речь в последней главе моей книги.



БЛДТ – это Большой Ленинградский Драматический Театр, а артист А.Треплев – это тот самый дядя, который Алешин отец. Рассказать о нем – задача очень и очень непростая. Натура дядина была сложной и весьма противоречивой. И жизнь его была такой же. Сплошь одни зигзаги. Многие в его биографии просто скрыты от меня, и в этих случаях рассказ мой будет не столько историей, сколько легендой. Но тут уже помочь ничем нельзя. Живых свидетелей почти не осталось, поскольку родился будущий артист где-то в последнем десятилетии прошлого века.

Дядя Исаак был братом моего отца и сыном рогачевского меламеда. Кроме них, детей в семье была еще куча. Так что детские годы их прошли в нищете и глухой замкнутости белорусской „черты“. Дядя же Толя,

он же А. Треплев, был „мизинчиком“ в семье моей матери и рос, надо полагать, если не в богатстве, то несомненно в изрядном достатке. Отец его, а мой дед, был не то подрядчиком, не то управляющим в каком-то лесном деле. По тогдашним понятиям, на общественной лестнице занимал он вполне достойное место.

Семья в то время проживала, как ныне говорят, в глубинке, местечке Жлобин, той же Могилевской губернии, что и Рогачев, родина дяди Исаака и, понятно, моего отца. Но уже в начале нашего столетия семья перебралась в Кременчуг, город многолюдный и торговый. Здесь было где развернуться и высунуть на простор голову из трясины российского гетто.

И надо отдать должное всем членам семьи. Один за другим „высовывались“. Рассказать о каждом, куда и как высунулся, чего достиг, даже очень небезынтересно. Но не могу. Может быть, потом. В другой раз. Сейчас у меня лишь одно на уме: дядя Толя.

Каким он был, я уже вскользь упомянул. Теперь повторюсь. Нельзя мне иначе. Так вот, был он на удивление хорош собой. Просто таки картинного облика. Когда, бывало, приезжал дядя в Киев и шли мы с ним по нашему Крещатику, народ совершенно беззастенчиво пялился на него. Многие останавливались и остолбенело провожали его взглядом. И не только женщины. Идти с ним рядом было волнующе-лестно и до изнеможения хорошо.

Я не зря уделяю дядиной внешности столько внимания. Полагаю, что именно она определила весь жизненный путь этого неудачливого и несчастного человека. Он, конечно же, был красив. Но какую пользу мог извлечь провинциальный еврейский юноша из ниспосланного ему Божьего дара? Сделать хорошую партию? Заполонить богатую невесту и отхватить изрядный куш в приданое? А что еще? Института манекенщиков – не знаю, есть ли такое слово – в те времена не существовало, кино еще лежало в пеленках. Короче, дядина красота в условиях сумеречной провинциальной жизни была что мешок золота на необитаемом острове. Только

и радости, что блеск да звон. И все же...

Тут возникает вопрос, на который у меня не было да и не будет ответа. Было ли дело только в счастливой внешности дяди, или он действительно ощутил свое призвание и уверовал в высокое назначение, только финал был такой, что прибился мой дядя к театру и прибился накрепко. Стал он в театре дневать и ночевать, пропадал там безвыходно. Что он делал на первых порах, не скажу. Но ясно, что делал не зря. Заслуги его были признаны и соответственно вознаграждены. И стал мой дядя Толя артистом. Думается мне, что никаких особых заслуг у него не было. Скорее всего, полагаю, глянувшись он режиссеру, или антрепренеру, или еще кому-то, чему удивляться не приходится. Золото, оно все же золото. И вскоре на афишах гастролирующего в Кременчуге театра появилось имя нашего дяди Толи. Нет, нет, не его Богом данное. Ни с какой стороны не годилось имя Нафтл Вильнер для такого дела. Ни для театра, ни для семьи, считавшей театр вообще местом неблагоприятным, и тем более для парня из порядочного еврейского дома. Так что было им, а может быть, и не им, выбрано другое более подходящее имя. И стал Нафтл Лейвик Вильнер Анатолием Львовичем Трепелевым, хотя не думаю, что успел он уже в ту пору познакомиться с Чеховым и его героем. А может быть, я его, дядю, и недооцениваю. Ведь овладел же он русским языком, хотя отродясь его в родном доме не слышал.

Конечно, все это далось дяде не легко. Мальчишкой же еще был! Не знаю даже, стукнуло ли ему уже семнадцать. Не просто это было в то время и в его годы порвать с семьей. Шутка ли, на такое отважиться! Ведь не только имя свое презрел, но тфилн да прочие подобные священные снасти забросил! Не исключено, что уже не делал разницы между „кошер“ и „трейф“! Чего доброго, с театральной братией стал он и вино попивать и, даже страшно сказать, потреблять такое, от чего у порядочных людей, выражаясь научно, возникает в кишечнике обратная перистальтика с весьма

некрасивыми последствиями. Но отступить дядя уже не стал даже тогда, когда встало перед ним самое тяжелое испытание.

Театр, между тем, несомненно преуспевал. И надо полагать, свою, хоть и малую, лепту в успех этот дядя вкладывал. Представления шли с аншлагами, и имя артиста Треплева неотступно ползло вверх от нижнего края афиш, и буквы, коими оно было набрано, неизменно увеличивались. Дядя, конечно же, был счастлив, и уж теперь оторвать его от театра не смогла бы не только семья, но и сам Всевышний.

Успехи театра были замечены. И не только простым людом. Были они, видимо, столь значительны, что получила труппа приглашение показать свое искусство на столичной сцене. Большого нельзя было и пожелать. Театр стал готовиться к вояжу в столицу. В самый Санкт-Петербург.

Нетрудно себе представить, сколько головокружительных надежд возлагал дядя на поездку. Только и жил этой мечтой. Сомнений в том, что он будет приглашен на гастроли, у него не было. Место его в театре было достаточно прочным, и исполнял артист Треплев если не первые, то уже вполне достойные роли. Так что, когда узнал он стороной, что в готовящиеся афиши имя его не включено, то был этим известием сражен, как воин на бранном поле.

Дрожа всем телом от возмущения и отчаяния, явился дядя к директору. Он уже собрал в уме смертельный заряд горьких и гневных слов для предстоящего объяснения. Сознание своей правоты и незаслуженности обиды наполняли все его существо дерзостью и отвагой. Был он готов ко всему и на все. Но ничего этого не потребовалось. Заряд остался при нем, и дерзкие слова оказались ни к чему. Был он встречен милостиво, даже любезно, и разговор вышел такой, что ни самолюбию, ни достоинству дяди никакого урона не нанес. Зато честолюбивые его мечты и замыслы были сокрушены и разбиты вдребезги. Удар нанесен был с самой непредвиденной и непредсказуемой сторо-

ны. После всех лестных слов и заверений о сожалении и искреннем сочувствии произнесен был приговор. Неотвратимым препятствием к поездке в столицу являются дядины происхождение и вероисповедание. И более второе, чем первое. Пятая графа в то время изобретена еще не была.

В самой корректной форме был при этом сделан намек. Мол, будь вероисповедание иным или пожелай дядя изменить его, все препятствия были бы тем самым устранены, хотя очевидно, что дело это весьма не простое. И не только по самой нравственной своей сути. Даже прими дядя такое нелегкое решение, времени для его исполнения уже нет. До дня отъезда театра остаются считанные дни.

Описать дядины чувства, то адское смятение, которое он должен был по логике вещей ощутить, я не берусь. Будь он сыном меламеда, как дядя Исаак, я мог бы вполне себе представить, какие штормы должны были бушевать в его организме. Но дядя Толя был сыном дельца, который, по рассказам, и сам не слишком был привержен древнему закону. Так что есть у меня основания полагать: страшился он не разрыва с отцовской верой. Куда более беспокоила его, так сказать, техническая сторона предстоящей операции. Ведь что мог знать жлобинский паренек о церковных таинствах и обо всем прочем, касавшемся чуждой веры? Даже я, признаться, встречая священника в полном облачении, с большим крестом на груди, испытываю необъяснимый жутковатый трепет.

В общем, после состоявшегося знаменательного разговора и, надо думать, нелегких размышлений, решение дядей было принято. Иначе и быть не могло. Без театра для него уже жизни не было.

До невозможности хотелось бы знать, что чувствовал, думал и делал дядя в этот стремительно-короткий период своей жизни. Но, увы, узнать это так же невозможно, как предугадать судьбу. Известно мне лишь, что на неверных ногах направился он в церковь и столь же неверным голосом вступил в переговоры со священ-

ником. Был, как говорится, выслушан с пониманием. Еще знаю, что предложил ему священник протрудировать Евангелие и глубоко продумать предстоящий шаг. Все это дядя обещал проделать самым добросовестным образом и, главное, в самое короткое время. Священник, конечно, истинного дядиного намерения не знал, и торопливость, проявленная дядей, сильно его обеспокоила. В какой-то момент он и вовсе заколебался. Особенно, когда предложено было совершить таинство через пять дней. Однако – это я помню твердо из собственного дядиного рассказа – смущение служителя Бога удалось преодолеть с помощью четвертной, попросту говоря, двадцатипятирублевого казначейского билета. И день крещения был назначен. Какой это был год, день и месяц, не скажу, зато время, и совершенно точное, мне известно: шесть часов утра. Определил его сам дядя, полагая, что в такую рань можно не опасаться случайных встреч. Тем более, что и церковь была им выбрана в той части города, которую никто из близких и знакомых никогда не посещал.

Накануне рокового дня занялся он необходимыми, по его расчетам, приготовлениями. Хотя и не был он знатком православной обрядности, но что предстоит ему какие-то водные процедуры, знал достоверно. А поскольку всякое погружение в воду прежде всего ассоциировалось у него с баней, то и экипировку он заготовил соответствующую. Из вафельного полотенца, мочалки и куска мраморного мыла соорудил он тугой сверток. Прихватил еще и простынку, затолкав все в наволочку. Туда же засунул и пару чистого белья. Оберточные средства в те времена не валялись повсюду, и ограничился дядя тем, что увязал все косматой конопляной бечевкой.

На цыпочках, затаив дыхание, выбрался он из дому и, сопровождаемый густым воробьиным чириканьем, зашагал по улицам еще сонного города. Все, казалось бы, предусмотрел. И время выбрал самое тихое, и место, которое, надеялся, будет безопасным, так что шел дядя со спокойным сердцем. Но, как известно, что бы ни

предполагал человек, а будущее все-таки в руке Божьей. Не помогли ни время, ни место. Считанные шаги оставалось пройти, была уже и церковь на виду, когда столкнулся дядя носом к носу с родной сестричкой своей, а моей тетей Симой.

– Нафтл, куда ты собрался в такую рань? И что это у тебя? – в изумлении всплеснув руками, накинулась на него тетя Сима, беззастенчиво ощупывая сверток. – Ты что, в баню собрался, так ты же мылся в пятницу! И зачем ты забрался в такую глушь, когда у нас такая хорошая баня и стоит всего пять копеек?

Как уже там выкручивался и что при этом чувствовал бедняга Нафтеле, можно только гадать. Во всяком случае, отвязаться от Симы ему удалось, тем более, что она жутко торопилась, выполняя какое-то отцовское поручение. Именно оно и привело ее в недоброе это место в недобрый час.

Не знаю, пришлось ли дяде воспользоваться своими банными принадлежностями, но так или иначе, обряд был совершен, и Нафтл Вильнер, отныне уже раб Божий Анатолий, стал полноправным и равным среди равных подданным Российской империи.

Осуществились ли в Санкт-Петербурге мечты артиста Треплева? Боюсь, что нет. По крайней мере, ни от него самого, ни от родных я об этом ничего не слышал. Петербургский период его жизни вообще не нашел отражения в семейных преданиях. Тем более, что конец его пришелся на самый смутный период уже не семейной, а российской истории. Все пошло прахом, и было уже не до театров. Находились дела поважнее. Дела, к которым дядя никакого интереса не испытывал и не проявлял, о чем впоследствии жестоко сожалел. Сожаления эти пришли уже потом, в эпоху социализма, а до „потом“ занесла его судьба на Юг. На тот самый Юг, где еще бурлили страсти, где, отчаянно цепляясь за остатки уходящего в небытие прошлого, металась в муках белого движения дворянская и недворянская воинственная молодежь.

Я еще не отряхнул от своих ног прах прошлого.

Нет, нет, я всё понимаю. Все наши заблуждения, винные и безвинные идейные грехи. Понимаю и принимаю. Но, вопреки всему, как рубцы на теле, сохраняется то, что всосано с молоком, выжжено навеки в глубинах сознания, чего я отринуть не в силах. Ни от тела, ни от души. Белые для меня – белые, а красные – красные. Белые – те, что в погонах, с аксельбантами, георгиевскими крестами и трехцветными кокардами. В общем, чужие. Враги.

Нет у меня права, да я и не хочу думать, что мой дядя Толя был с ними и, тем более, одним из них. И если иной раз думаю, то лишь потому, что на всех сохранившихся сценических фотографиях он именно такой. В погонах и с аксельбантами. Повторяю, не вообще, а только на открытках, с неизменной подписью: арт. А. Треплев, а за нею – название пьесы. Запомнилась „Корона и плащ“. И еще – „Царь Федор“, но было и немало других. Нет у меня этих открыток, кроме как в невнятной памяти. Я видел их в детские и юные годы у матери и в дядином доме. Но все эти воспоминания и образы лежат в одном месте, сплетенные воедино и навсегда: дядя в белой косматой папахе и черкеске с газырями на груди. Рядом с ним еще двое в таком же облачении на фотографии, несомненно любительской и к театру непричастной. В такой же связке – трудно-объяснимый факт: от российских бурь укрывается дядя на Юге, новоявленной Вандее, очаге сопротивления Великой Революции. И, наконец, главное. Именно эти годы стали апогеем славы, стремительным взлетом его сценического успеха. Это уже то, что рассказывал мне он сам. Рассказывал отрывочно, ввиду моей юности и невинности. Но я умел все понять. И то, что говорилось и о чем умалчивалось. Сумел из самих слов, но еще более из многозначительного блеска глаз и самодовольной улыбки понять, чем были для него эти короткие кавказские годы. Сцена – сценой. О ней он упоминал редко и скуп. Зато остальное, что, видимо, составляло главную часть тогдашней дядиной жизни, он описывал с упоением и ностальгической болью.

Мое воображение без труда восстанавливало все. И шумное общество поклонников, и полупьяную гурьбу офицеров, выносивших дядю на руках прямо со сцены, и, конечно же, несчетное число обожательниц. О них дядя рассказывал со сладкой затаенной тоской в голосе и погрузневшим, опечаленным взглядом. Зато ночные походы на базар с оравой восторженных театралов дядя живописал со всеми подробностями, большим подъемом и без всякой печали. По-ребячьи оживляясь и захлебываясь смехом, изображал он предрассветные атаки на винные бочки, откуда через просверленные отверстия, с помощью резиновых трубок, насасывалась вся компания до одурения. В общем, разгульный тот дух и весь восхитительно-лестный для дяди настрой его окружения был мне ясен до самой полной полноты. И насчет обожательниц тоже всё мог я себе представить с меньшей ясностью. Здесь состоялся самый высочайший дядин триумф. Неимоверный, почти фантастический. Вздуроражил и покорял он не только гимназисток, юных и не юных мешаночек. Они, что мелкая рыбешка, неизменно сверкающая в петлях выброшенного на берег невода. Попала в дядину сеть такая рыба, такой крупноты, что и выговорить неловко. Ведь не поверят же! Кто за правду примет? Здесь доказательства нужны. И не простые, а неопровержимые, железные!

Так вот, дело в том, что есть такие доказательства. Да и сама рыба налицо. Даже имя ее мне известно. А вот отчество, как на грех, позабыл. Звали ее Людмилой, и была она, Господи, это же надо такое, княгиней она была! Даже, вроде, не простой, а Великой, и к царскому дому принадлежала. Вот такой у дяди был взлет, у Нафтеле. Мне познакомиться с ней не довелось, но родные мои ее знали и очень о ней хорошо отзывались. Что же до доказательств, – ведь в таком деле и прилгнуть можно, – так оно налицо: Алеша. Он и есть доказательство, кузенчик мой смугленький. Какие же нужны еще?

Как и почему оказалась такая особа в Абастумане, где выступал дядин театр, можно только гадать. Но

оказалась, и невеселым получился, в общем, финал этого ее кавказского пребывания. Невеселым потому, что был уже в ту пору дядя женат, и ни жене, ни всей родне эта история удовольствия не доставила. Вообще же, пусть был дядя уже и Анатолием Треплевым, но мы то знали, кем он был, если по большому счету! А тут княгиня. Великая, к тому же! Господи, как-то даже перед царствовавшим домом совестно! Такого, думаю, за всю его историю не было!

Что же касается дядиной законной жены, а моей, естественно, родной тетушки, то она не менее его заслуживает самого высокого внимания. Личностью она была необыкновенной, духа удивительнейшего и дарований разностороннейших. Имя носила звонкое и для наших ушей неожиданное. Значилась она по документам Надеждой Николаевной Янко, а уже по мужу – Янко-Треплевой. Не знаю, как оно было до великокняжеской авантюры, но во все последующие годы называл ее дядя Надеждой Николавной, она его – Анатолием Львовичем. И неизменно на „вы“. Так уже повелось, хотя порой, будучи в особо добром расположении, прорывалось у дяди, по старой памяти, другое имя – Куколка.

Тут же, во избежание недоразумений и кривотолков, должен внести ясность. Мы, всяческая родня, никакой Надежды Николаевны не признавали. Была она для нас просто Диной, Динкой или даже Динеле. Так ее звала моя бабушка, дядина мать. Динеле она была по происхождению. Глаза ее и особенно нос подтверждали это со всей очевидностью. На Надежду, да еще Николаевну, органы эти никак не тянули.

Должен заметить, что, в отличие от дяди, получила Дина новое имя не в церкви и без водных процедур. Пристало оно к ней вместе с чужим паспортом в пору нелегального ее существования, поскольку была она членом социал-демократической партии. Той самой, которая в дальнейшем провозгласила себя нашей родной, и которую мы с нескрываемым удовлетворением ныне предали анафеме. Не дожила Дина до этого времени, но пока жила, была партии своей предана до

последней жилочки. Вера ее была несокрушимой, а убеждения непреклонными и, я бы даже сказал, наступательными.

А наступать тетя Дина умела. Свидетельством тому – должность, которую она исполняла. Была моя тетя комиссаром боевой воинской части. Помню еще и фотографию, где снята она с группой красноармейцев, впечатлявших меня своими дикими, первобытными лицами и напряженно-вытаращенными глазами. В центре группы – тетя Дина. В буденовке, шинели с „разговорами“ и при маузере, но с тем же вызывающим носиком и печальными библейскими глазами. На обороте фотографии – наименование части и дата – 1921 год.

И какая же вечная загадка человеческая натура. Ведь ни о каких маузерах и прочем подобном в предшествующие годы Дина и не помышляла. И должность при муже исполняла вполне мирную. Именно тогда объявился самый по тому времени нужный ее талант. Стала она дядиным костюмером. Отважусь даже употребить такое непомерное определение – гениальным костюмером. Потому что не только ухитрялась и умудрялась сотворять самые разнородные одеяния к ролям, но и делать их из ничего в немыслимо сжатые сроки. Для утреннего, к примеру, спектакля – облачение царское, а к вечернему – камзол испанского гранда или генеральский мундир, а не то – плащ разбойника со шляпой и лихим пером в придачу. И все это перекраивалось, перешивалось, лепилось из всякого тряпья и подножной дребедени. Какие в суматошные военные годы можно было раздобыть материалы? Между тем, дядин гардероб был предметом всеобщей зависти. Очень все было ловко задумано и исполнено с удивительным изяществом.

А когда уже наступили мирные годы и приезжали они, дядя с тетей, к нам в гости, будоражили и потрясали таланты ее весь дом. На час, другой уединится тетя в кухне и таких нарожает там пирожков, тортов или неведомых нам кавказских блюд, что и измыслить никто не в силах. А то по просьбе детей, дочки Галоч-

ки и Алеши, из сургуча, гаруса и пестрых лоскутков сотворит целые полчища потешнейших куколок, зверьков и сказочных персонажей. И тут же, собираясь в театр или просто на прогулку, поколдовав с ножницами, иглой и утюгом, явится вдруг в таком наряде и шляпе, коим позавидуют не только крещатикские щеголихи, но и парижанки где-нибудь на Елисейских полях. И все это делается с улыбочкой, без лишних слов и суеты. Вроде ничего особенного не происходит, все как бы само собой.

Самым поразительным и трудно доступным моему пониманию был характер дядитетиных взаимоотношений. Казалось бы, ведь изменщик дядя! Бросил свою Дину, прижил Алешку, дочь законную Галочку презрев, где-то шатался, пьянствовал, любился со своей княгиней. И что? А ничего. Ласкала, холила, растила тетя и Галочку свою, и Алешку, никакой разницы между ними не делая, никакого недовольства не высказывая. И с дядей так. Вот только на „вы“ и „Анатолий Львович“. Только и всего. Да и он так. То „Надежда Николаевна“, то „Куколка“, и с неизменной искусно состроенной улыбочкой жениха или ухажера.

Но я несколько отвлекся, хоть и не совсем попусту. Нельзя мне было о дяде рассказывать, словно висел он в безвоздушном пространстве, оторвав его от неизбежного окружения и тети Дины в особенности.

Как урегулировал дядя отношения в его треугольнике, не знаю. Известно мне только, что после кавказских скитаний обосновались Янко-Треплевы в Ленинграде, и стал он артистом упомянутого БЛДТ. Вот только каким он был артистом, какого уровня и масштаба, сказать затрудняюсь.

Время от времени получали мы от него письма с открытками, где был он представлен в разных ролях, иной раз в нелепейших позах с гримасами, до неузнаваемости искажавшими его лицо. Были и обыкновенные фотографии, изображавшие дядю в спокойной и неизменно изящной, исполненной достоинства позы. Он был по-прежнему красив, хотя след прошедшие годы вы-

чертили на его лице и особенно на волосах. Все мы, конечно, восхищались нашим дядей, и я с наслаждением показывал открытки своим друзьям, ревниво следя за их взглядом. Не мог я допустить, чтобы подпись – арт. БЛДТ А. Треплев – осталась без внимания.

И, конечно же, и я и все, кому показывались открытки, не сомневались в том, что артист Треплев – первая фигура в этом самом БЛДТ. Достаточно было взглянуть на его лицо и ловкую позу, чтобы увериться в том вполне.

А где-то в двадцать пятом или в двадцать шестом году прибыл к нам в Киев театр на гастроли и с ним же, конечно, наш дядя Толя.

Господи, с каким восторгом и гордостью выводил я дядю на прогулку. Именно выводил, потому что при других обстоятельствах, кроме отвращения, чинный променад никаких иных чувств у меня бы не вызвал. Но я водил дядю напоказ, как того слона, стараясь держаться к нему поближе, чтобы, не дай Бог, никаких сомнений в том, что этот шикарный красавец идет именно со мной, а не сам по себе, ни у кого не оставалось. Помню, что одет он был в песочного цвета бриджи, заправленные в серые гетры, и бледно-розовую рубашку *a la* Байрон с черным бантом. На голове была у него кипенно-белая фуражка с черным околышком и лакированным козырьком. Конечно же, простые смертные вообще и в нашем переулке, в частности, так не наряжались, и я с пристрастием ловил и оценивал взгляды окружающих. Боюсь ошибиться, но мне кажется, что то же делал и сам дядя. И ему, видимо, было далеко не безразлично, какое впечатление производил он на провинциалов.

Много позже, став старше и умудреннее, я уразумел, что весь „столичный“ дядин наряд являлся плодом тех же творческих усилий тети Дины. И, как в ушедшие времена, был он создан из ничего. Все грошовое, кроме Дининого искусства. И еще я помню, как застал дядю, обнимавшего мою маму и неистово целовавшего ее руку, державшую плоский пакет, который он

затем сунул в задний карман. Были и другие симптомы далеко не блестящего финансового положения моего блестящего дяди. Но я никакого значения этим, как мне тогда казалось, пустякам не придавал. Известно, что наличие пятен никак не снижает ослепительного сияния небесного светила.

На спектакль мы отправились всем семейством. Я мечтал и надеялся, что впустят нас по контрамарке. Как же иначе, если наш дядя – главное лицо в этом заведении? Но никакого особого внимания нам оказано не было, и вошли мы по билетам, купленным отцом в кассе, как делал весь простой народ. И билеты были не самые лучшие. Точно уже не помню, но сидели мы где-то во втором ярусе. Все это были пустяки, хотя они и уязвляли мою гордость. Давали в тот день „Слугу двух господ“, и мать сообщила всем, что играет дядя в пьесе главную роль – отца Панталоне. И, конечно же, я ожидал, что появится он на сцене первым и не сойдет с нее уже до конца спектакля. Но все было совсем наоборот. Появился он не то во втором, а может быть, даже в третьем акте и находился на сцене весьма недолго. Роль была короткой и невыразительной. Я все дергал мать, прося показать, который же там в толпе мой дядя. Она тоже, видимо, была в затруднении. И когда, наконец, узнала его, то толкнула меня локтем и принялась кричать пронзительным, незнакомым мне голосом: „Треплев, Треплев! Браво, Треплев!“ На нее оглядывались, и мне было совестно смотреть на ее раскрасневшееся, ставшее чужим лицо. Тогда же, восстанавливая в памяти обрывки прежних ее рассказов, я сообразил, что и этот голос, и такой ее вид пришли из времен юности, когда гимназистка Рохеле Вильнер надсадными выкриками взывала к своим любимцам. Их фотографии, между прочим, хранились у нее долгие годы, и были на иных весьма интригующие надписи. К сожалению, имена этих давних кумиров и содержание надписей память моя не сохранила. Мерещится мне одно только имя артиста Орленева и, кажется, стоял на открытке фирменный знак фото-

графии города Николаева.

В общем, из упомянутых и многих других деталей я, не желая себе признаться, все же сообразил, что не только финансовое, но и вообще положение дяди было более чем скромным. Тогда, по молодости лет, я еще пожалеть его не умел. Это пришло потом, с годами. Пришло поздно, когда разбудил во мне дядя иные, далеко не добросердечные чувства.

Из Ленинградского театра дядя ушел. Есть у меня две версии по поводу его ухода. Одна из них принадлежит ему самому и широко пропагандировалась моей матерью. Замечу, что открытым текстом из дядиных уст она не исходила. От него я слышал лишь невнятные намеки. Версия была проста и достаточно тривиальна. Из театра его выжили. И выжил артиста Треплева народный, помнится, артист Монахов. Сделал он это по самой недостойной, но весьма распространенной в артистических кругах причине – из зависти. Матери такое объяснение казалось бесспорным и вполне естественным. Ведь очевидно, что братец ее, конечно, был самым талантливым среди актеров, да, к тому же, и неотразимым красавцем. Как же ему не позавидовать? Тем более, что был артист Монахов уже не молод и ни в какое сравнение с обворожительным и молодым Треплевым идти не мог. Такая оценка событий имела много достоинств. Она была одновременно правдоподобной, лестной и утешительной.

Как ни грустно, но мне виделось все совершенно в ином свете. Я, конечно же, не ставил под сомнение дядины красоту и обаяние. Все так. Но при всем том, на мой взгляд, был он лишен главного – таланта. Этого Бог ему не дал, как не дал мужества, чтобы понять и признать свою беду. А мужество требовалось недюжинное. Ведь всю жизнь отдал сцене. С самых юных лет. Ничего другого не видел и не знал. От родни своей отбился. А артист из него не получился. И как же он, бедный, должен был страдать! Какие адские муки испытывал! Ведь вся жизнь прахом, и молодость прошла мимо, как те острова. А

жить-то как дальше?

Дядя навестил нас в страшный 1936 год. Трудно было выбрать для визита столь неподходящее время. Но так уже получилось на общую нашу беду. Месяца не прошло, как забрали Вовку. Мы еще и опомниться не успели, а тут и дядя пожаловал. Приехал погостить и пришлось, вместо стола праздничного, принимать его за столом поминальным.

Встретили мы его, и тут же, в дверях, кинулась к брату своему любимому мать. Кинулась, прильнула к его груди в жажде услышать добрые слова, найти утешение. Ведь самым близким был ей он, Нафтеле, из всех членов большой семьи.

А дядя сам не свой. Конечно же, обнял, конечно же что-то доброе лепетал. На первых порах. А уже потом, когда отхлынула взрывная волна, когда уселись мы за стол и все, чему на нем положено быть, затеял дядя серьезный разговор и, так сказать, обмен мнениями. Тут-то мы его, дядино, мнение и слышали.

Прежде всего заверил он нас в том, что зря у нас никого не сажают. Раз посадили Вову, значит, было за что. А в том, что было, у него нет ни малейшего сомнения. Стал он нас отчитывать, стал припоминать, какие вольности позволяли себе мы с братом и сам отец, какие недопустимые высказывали суждения. Так говорить могут только враги. Враги нашей партии, нашего государства. И, конечно же, если таков дух в семье, то рано или поздно должно было что-нибудь и выплеснуться за ее пределы. Так что, резюмировал дядя, очень все, конечно, неприятно и обидно, но вина лежит на нас самих. А отчаиваться не следует. Не в царскую охранку попал Вова, а в нашу, советскую... и т.д. Не хочу пересказывать. Оно и тогда было омерзительно, а уж в наше время...

И кто же это говорил? Тот самый Толя, который, как рассказывала мать, отказался играть после установления советской власти? Тот самый, который тогда же говорил, что нынешняя публика вызывает у него отвращение? „Как я могу играть, – вопрошал он, – перед

этими тупыми рожами, перед солдатней, которая во время спектакля харкает на пол, щупает девок и лушит семечки! Да будь оно все проклято! Лучше уж в дворники податься! – Боже, – театрально вскидывал он руки, – как вспомню прежний партер! Эти декольтированные дамы, увешанные звездами генералы, холеные господа во фраках... Вот это была публика! Вот когда рождалось вдохновение и истинное искусство!”

И вот этот самый дядя Толя смел бичевать нас за „кухонные“ вольности, осуждать, винить, да еще в такой страшный час!

Визит дяди был коротким, и причина такой его краткости была мне более чем ясна. В московском театре, кроме актерской своей должности, занимал он и другую: секретаря партийной организации. Да, да. Тот самый дядя, тосковавший по партеру былых времен. Теперь он, конечно, подобных вольностей себе не позволяет. Не знаю, что на уме, но на языке было у него совсем другое. И звучало оно, другое, так, словно шло от самого сердца. На это его сценического таланта хватало.

Последний раз виделся я с дядей в победном сорок пятом. Была весна, и салюты уже отгрохотали. Батальон, в котором я служил, перебросили в Москву. Слушок был, что готовят нас на японский фронт. Но пока до этого не дошло, болтались мы, фактически, без дела. Имея родню в Москве, без больших трудностей получил я увольнительную аж на двое суток.

Хотя рана, нанесенная последним дядиным визитом, зажила, но шрам от нее прощупывался ощутимо. И все же поехал я к Треплевым. Принят был сердечно, но о судьбе брата дядя не спросил. Он за эти годы порядочно изменился, но ни благородства черт и осанки, ни своего обаяния не утратил. Сразу видно, что артист.

Узнал я, что получил дядя звание „заслуженного“ и по-прежнему является секретарем парткома. Правильнее было бы, думаю, сказать, что, оставаясь секретарем парткома, получил он своего „заслуженного“. Понял я еще, что районный и даже городской комитеты пар-

тии посещал он весьма часто, поскольку являлся членом одного из них, а может быть, и обоих, я как-то не уловил. Обо всем он рассказывал с явным удовлетворением и с трудом подавляемой гордостью. Слушать его было мне тягостно, тем более, что о театре, работе на сцене, ролях и пьесах не было сказано ни слова. Дикая мысль мелькнула у меня: не является ли он освобожденным секретарем? Даже вопрос такой успел приготовить. Но, к счастью, вовремя сообразил, сколь он нелеп. Освобожденный секретарь – шахтер, слесарь или даже педагог – это еще можно понять. Но что такое артист в такой роли? Не только спросить, но и подумать об этом жутко!

И еще ужаснуло меня, что именно во время нашего разговора, без заметной связи, заявляет вдруг дядя такое: „Эх, племянничек мой дорогой, какого же я дал маху. Ведь мог же еще в царское время и даже в революционные годы примкнуть к организации! Дурнем был, черт знает на что себя растрачивал. Вспомнить совестно. А ведь была рядом и Надежда Николаевна. Она уже тогда поняла, что к чему. Он досадливо цыкнул и погладил свою изрядно заметную лысину.

Почему в этот миг всплыли в его уме такие мысли, догадаться было нетрудно. Значит, он все понимал, все осознавал. Не тот был им избран путь. Медные трубы отзвучали свое тогда. В Батуме, Абастумане, Тифлисе... А до них, и уж наверняка после, были только огонь да вода. Теперь пришло прозрение. Слишком поздно. Ведь и „заслуженного“ выслужил не на сцене, а в другом месте. И в этом увидел я не просто судьбу моего дяди. Тут была закономерность, типичность судеб не одной личности и не только артиста. То же видел я и повсюду. Не вышло ученого, педагога, писателя, но „заслуженные“ получались из них. Только уже иным, „левым“ путем. Через партком, райком, горком... Бедный, бедный мой дядя.

Зато тетя Дина бедной не была. Путь ее был прям. Без разочарований и сомнений. Была боевым комиссаром, потом – Институт Красной профессуры, а как

его закончила – лектором там же. И все выше, выше... Никаких шатаний, колебаний.

Дома я ее тогда не застал. Незадолго до моего прихода положили ее в госпиталь. Случилась у нее беда с позвоночником после давнего ранения. Замуровали нашу Дину в гипс по самое горло, так что была она полностью обездвижена и прикована к постели. Но в личности ее никаких изменений не произошло. Энергия по-прежнему бушевала в этом замурованном теле. При мне получено было от нее письмо. С восторгом писала она, что организовала в палате семинар, читает какой-то курс, не то марксизма, не то ленинизма, что собираются на ее лекции не только больные и раненые, но и персонал. Все идет как следует, вот только книг кой-каких ей не достает. Хорошо бы раздобыть их... О своем позвоночнике, самочувствии, лечении – ни слова. С Диной все было ясно и просто, как телеграфный столб. И это тоже было типично.

Увидеть Треплевых больше мне не довелось. Нет их. Ни дяди, ни тети. А память жива. До сих пор. И будет жить. Пока я есть.



Думал я, думал, где поместить рассказ о дяде моем Нафтеле и, наконец, придумал. Здесь ему место. Здесь, в конце моей книги. И он, и тетушка Дина – самые что ни на есть типичные „советикусы“, как, впрочем, и все герои моих записок. Люди они, конечно, очень разные. Каждый на свой лад. Но это естественно. Обществу, как и природе, однообразие не свойственно. У каждого из моих героев своя суть и свой особый путь становления. Это только связаны они одной цепью и общим наименованием. Все – советикусы, все жертвы одной порочной, губительной идеи, вопреки логике вдруг воплотившейся в жизнь. В страшную, невообразимо страшную жизнь.

Слава Богу! Сокрушена эта идея. И жизни этой страшной конец пришел. Хотел сказать: так тому и

должно было быть. В том смысле, что добро, мол, должно было победить зло. Но как такое скажешь? Как назвать то, что происходит ныне на земле советской бывшей? Добро ли там верх одержало? Да и сокрушено ли зло? Не знаю. Одно лишь знаю твердо. Мы, прожившие там наши жизни, – последние представители вымирающего племени. Как последние могикане. И жалеть об этом не стоит. Вот исчезли некогда динозавры и мамонты. Их жаль. Славные были зверушки. А „советикусов“ не жаль.

Однако наука есть наука, и ученые из всех сил трудятся, желая дознаться, почему исчезли динозавры и мамонты. Пусть они теперь копаются и в нашей истории. Какой бы скверной она ни была.

И думаю я, что рассказы мои о дяде Исааке, Нафтле и тетушке Дине очень даже могут им пригодиться. Ведь каждый из них шел своим путем. Этакую, к примеру, тетю Дину поймешь сходу. Тут образец классический. Несгибаемый, до мозга костей идейный представитель своего племени. Замечу: счастливый представитель. Всем довольный и своей судьбой тоже. Даже лежа в гипсе на больничной койке, была она счастлива, хоть уложила ее на койку пуля, полученная в борьбе за это счастье.

А вот о дяде Исааке сказать так не решусь. Он то уже точно попал в это племя поневоле. И не прижился в нем. Только лишь смирился по неизбежности обстоятельств.

Что до дяди моего Нафтля, то я и вовсе предоставлю читателю самому разобраться, к какой его категории отнести. Непростая это задача. Я и без того, полагаю, дело свое сделал. Что обещал – сделал. Начертал пути, коими шло формирование человека советского. Трудные и разные пути. А в общем-то, наши пути.

ОГЛАВЛЕНИЕ

От автора	5
Глава 1. Раннее детство	7
Немцы	10
Красные	12
Вовка	28
Поляки	30
Опять красные	44
В дом входят новые люди	47
У нас новая власть	60
Глава 2. Школьные годы	72
Новая экономическая	72
Бывшая 3-я гимназия	92
Вольница	99
Мы в новом доме	107
Моя вторая любовь	120
Бывшее 3-е реальное	168
Я пионер	184
Мучительные проблемы	196
Глава 3. После школы	209
Глава 4. Кое-что о моей родне	232
Мой дядя Исаак	232
Мой дядя Нафтал Вильнер	249

ДОН ИЛЫЧ ГЕНИН родился в 1915 году в Киеве и прожил там всю жизнь. В 1934 году закончил Киевский электромеханический техникум. Работал в трамвайных депо техником ночного ремонта. В 1935 году поступил на биологический факультет Киевского университета.

В 1936 году родной брат автора был арестован органами НКВД, осужден по ст. 58, п. 10 УК и вскоре погиб в магаданском лагере. Вслед за братом был арестован и автор этой книги, а родители их высланы из Киева и лишены права проживания в крупных городах Советского Союза. Автору «повезло». Он «досиделся» до падения Н. Ежова, в 1939 году вышел на свободу и в 1940 году закончил университет.

Будучи невоеннообязанным по состоянию здоровья, Д. Генин в 1941 году оказался на Урале, где работал в Магнитогорской фельдшерско-акушерской школе преподавателем и завучем.

В 1944 году, движимый патриотическими чувствами, Дон Генин добился зачисления в армию. Он попал в Отдельный батальон собак-миноискателей, где служил рядовым минером, выполняя задания по разминированию освобожденных районов.

Демобилизовавшись, Дон Генин поступил на работу в Киевский медицинский институт, где вначале исполнял обязанности лаборанта, затем ассистента, доцента и, наконец, занял профессорскую должность — руководителя учебного процесса кафедры биологии и медицинской генетики.

На протяжении многих лет автор публиковал свои статьи, рассказы, очерки в республиканских и всесоюзных периодических изданиях: «Комсомольской правде», «Советской России», «Радянській Україні», «Науке и жизни», «Природе» и других.

С 1991 года Д. Генин живет в Филадельфии. Фрагменты его книги публиковались на страницах журнала «Шофар». Голос автора можно услышать в еженедельной филадельфийской радиопрограмме «Меридиан».

